

РУФЬ ЗЕРНОВА

НА МОРЕ И ОБРАТНО



Руфь Зернова
НА МОРЕ И ОБРАТНО



РУФЬ ЗЕРНОВА

НА МОРЕ
И ОБРАТНО

ИЕРУСАЛИМ 1998

Ruth Zernova

TO THE SEE AND BACK

© 1998 by the author

The author expresses his gratitude
to the President Foundation
of Israel for its generous support
in publishing this book

For orders please contact:
Ruth Zernova, P.O.Box 23118
91725 Jerusalem, Phone: 02-5861570

ISBN 965-424-030-0

URA Publishers
P.O.Box 6356, Jerusalem

Printed in Israel

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	7
На море и обратно. <i>Повесть</i>	
Одесса пела	11
Родители	16
До Ляли	30
Соборная площадь	47
Моя сестра и дача	61
Одесса танцевала	74
Скользкая тропа	114
Два дня в Восточных Пиренеях	145
Ах, Самара-городок... ..	171
Иная реальность	187
Дачные соседи	216
Париж сквозь столетия	234
Попутчики	240

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1989 году мне исполнилось семьдесят лет. Произошло это в волшебном замке. Его выстроил для себя римский консул, императорский легат, оратор и философ Плиний Младший. Девятнадцать столетий он переходил из рук в руки, разрушался, горел и опять отстраивался, пока наконец, отстроенный итальянской графиней американского происхождения, перешел к Рокфеллеру. И Рокфеллер не стал там жить, а оборудовал его как дом творчества, примерно, наше Комарово или, скажем, Малеевка, но с рокфеллеровским размахом. Огромное имение поднимается (на 320 ступенек) над слиянием двух озер – Комо и Лекко. Замок стоит в парке – цветы, деревья, мраморные статуи – в общем, итальянский стиль. Статуя Плиния тоже есть; он сидит на самом верху, и обитатели замка ходят к нему пожелать доброго утра. Кроме замка есть еще и башня – там происходят конференции.

Винный погреб. Первокласные повара на кухне. Меню на столах. Столовое белье (как и постельное) меняют каждый день. Завтрак, ланч, полдник, обед. Вина на столе. Бесплатный бар – и чего там только нет!..

В столовой на мольберте подлинник Кранаха. Мебель старинная – и в кельях постояльцев тоже. Кельи совершенно отдельные, со всеми удобствами и с видом на Италию, на Альпы, на слияние озер...

Ну как? Вдохнули на минутку воздух альпийских вершин?

Попала я туда благодаря моей переводчице, Анн Харлеман, американке, славистке, писательнице, красавице и умнице, которая купила мою первую заграничную книжку, привлеченная названием "Женские рассказы". И прочла ее,

и решила перевести, и раздобыла у Игоря Ефимова мой адрес, и подала заявление в Рокфеллеровский фонд, что нам с ней необходимы условия для работы. В результате мы получили бесплатно этот самый Дом творчества на пять недель (январь – февраль). Но – слушайте, слушайте! – мы обе должны были захватить с собой своих мужей! Это там так полагается, чтобы творческие личности не отдыхали от семейных уз, а вкалывали.

И – вкалывали. И в конце срока полагалось показать – предъявить, продемонстрировать сделанное.

В большой и удобной гостиной при немалом стечении народа мы с Анн выступили с чтением моего рассказа "Элизабет Арден". Анн читала, а я отвечала на вопросы. Вопросов было много, после обязательных "а над чем вы сейчас работаете?", пошли вопросы по делу: о тюрьмах, о лагерях, об ожидании ареста, о встречах на пересылке. Я говорила, что это был целый огромный мир, величиной в среднее европейское государство, и что мы жили изо дня в день, и не имели ничего, кроме прошлого, из которого вдруг выныривали на поверхность то старые друзья, то рассказы о них: я, например, в сорок девятом году, в пересыльной тюрьме, узнала от Людмилы Павловны Эйзенгардт, сидевшей с тридцать седьмого года, о том, как и где умер отец моей одноклассницы Дуси Бугми де Кацман.

К началу пятидесятых годов лагеря – это был образ жизни, и казалось, что так будет всегда, и Сталин будет всегда, и советская власть, и ночные вторжения, и обыски, и...

Потом, глубоким вечером, один из наших слушателей, адвокат, постучался к нам и вручил мне коробку шоколаду.

– Это чтобы вы знали, что после десяти часов стук в дверь может означать кое-что хорошее.

Я была растрогана.

А на следующий день ко мне подошел молодой американец венгерского происхождения и сказал:

– Для меня главное воспоминание – венгерские события пятьдесят шестого года. Для вас, как я думаю, вот эти пять лет – арест, лагерь и все это. Но как же вы могли говорить об этом им? Что они об этом знают? Как вы могли?

Он был ребенком тогда, в Будапеште, и несколько дней

видел революцию. В страшном ее аспекте. Для каждого, видевшего революцию в детстве, какая-то одна картина становится ее символом. Для моей приятельницы, которой в семнадцатом году было десять лет, это была толстая баба, которая у них под окном лежала на тротуаре и лакала водку прямо из лужи (рядом был разграблен винный магазин, и петербургская земля потекла не молоком и медом, а чистой водочкой). А для этого венгра... Я имела глупость поздравить его с посмертной реабилитацией Имре Надя. Он сказал сквозь зубы:

– Я их всех одинаково ненавижу. Всех!

И уже потом объяснил:

– Вы не видели, что это такое. Вы не видели, как людей выбрасывают из окон... – и остановился. Он многое мог бы добавить, вероятно, но именно это воспоминание детства было его образом той, раздавленной танками революции.

А я была взрослой женщиной, у которой муж был на Колыме, дети разлучены друг с другом, и вокруг меня были все такие же, как я, хоть и самые разные, и все мы в этом жили. Много лет. Некоторые – более десяти. Таков был образ жизни нашего поколения. Надпись на тюремной стене: "кто не был, тот будет, кто был, не забудет!" И на вольняшек мои подруги смотрели, как на "следственных": они думают – они вольные, а они – все следственные!

Я не стала объяснять венгру все это. У нас была разная жизненная подготовка.

И сейчас я думаю: а ведь это же можно сказать о будущих читателях этой моей книги. До двадцать первого века осталось – смешно говорить! – три года. А век, по всем посулам и признакам, должен быть такой лучезарный... Межпланетные путешествия, братство землян, всемирная рыночная экономика. Кому охота будет оглядываться назад?

Вот для тех, у кого есть и будет такая охота, я и пишу. Пишу эти страшные сказки, у которых все-таки бывают хорошие концы.

А название книги?

Это – загадочная одесская поговорка. Я так ее и не разгадала. И, помещая ее в виде заглавия, плачу таким образом свой долг удивительному городу, которому я обязана всем.



НА МОРЕ И ОБРАТНО

*Ноеми Александровне Зевиной –
моей сестре Лялечке*

Одесса пела

Это было всегда, это было до нас, и до нас это вошло в поговорку. Потому что песенки включились в понятие "Одесса" несколько раньше, чем Большая Музыка.

Это самое "всегда" не покрывает вечности. Это означает – до нашего – до моего – рождения. То есть – в незапамятные для *меня* времена. Это у всех так – и у детей, и у взрослых. Шестилетняя Лора Найдич спросила маму:

– А Петр Великий был, когда я родилась?

И услышав осторожно-отрицательный ответ, вздохнула:

– А я так давно уже есть!

Все мы так давно уже есть, и все, что было до нас, короче того, что произошло потом, в дни, часы, минуты нашего такого долгого и подробного существования.

Думаю, понятие "Одесса" сложилось не при Пушкине, а в первые десятилетия нашего, идущего к финишу, века. Через Аверченко – помните, "Одесситы в Петрограде"? Пятнадцатый год, вероятно. Уже тогда слово "Одесса" было не просто название, но определение. Характеристика. Иногда жестокая, как одесский ветер с моря, который не приносит ни смягчения, ни утешения. Иногда нежная. Все тут зависит от интонации, мимики и телодвижений. Восторженно-патриотическая (поднятые плечи и самодовольная усмешка); смущенно-снисходительная, дескать, "ну что вы от нее хотите?" (чуть-чуть разведенные руки); пренебрежительная: глаза-щелочки, брови скорбно подняты, губы сжаты в през-

гливую ниточку или скривлены на сторону. Все проделывается одновременно, и человек сразу становится вам ненавистен.

Похоже, я сразу даю вам понять, каково мое к ней, к Одессе, отношение. Это не совсем так. Моя позиция – чисто литературная. С музыкально-фольклорным оттенком.

Я росла под частушки и песенки нэпа, они появлялись чуть не каждый день. Ну например:

Вышла Зина из Музина
И стоит у магазина.
Колбаса так хороша,
А в кармане ни гроша.

Похоже, правда?

Музин – потом он стал называться Муздрамин – это Одесская консерватория. Еще не прославленная, но мы, дети, уже знали Столярского – он проезжал по нашей улице на дрожках: старичок с развевающимися желто-белыми волосами. С ним всегда был маленький мальчик со скрипкой – Миша Фихтенгольд, будущий лауреат первого Всесоюзного конкурса.

Еще одна частушка:

Говорят, из Ленинграда
На Москву трамвай идет,
За японского микадо
Троцкий дочку выдает.

Еще одна, тоже с тогдашними именами:

В красоте-то я своей
Очень уверена,
Если Троцкий не возьмет,
Выйду за Чичерина.

И припев:

Эх, эх, здорово,
Да эх, эх, ловко!
Да эх, эх, здорово,
Да ловко все ведь там!

А где это – там? Никто не мог мне это объяснить. Только рукой махали куда-то в сторону.

Эти частушки во дворе у нас не пели. Не думайте, что это было народное творчество – они исполнялись с эстрады, и их напевала моя мама и ее приятельницы. А позже были те песенки, которые еще и сейчас не забыты. Ну например, "С одесского кичмана – канали два уркана". Утесовская песня. Знаменитейшая его песня, изруганная, запрещенная, и все-таки однажды им исполненная, как рассказывают, в Кремле, по личному требованию товарища Сталина. Кто написал слова, кто – музыку? Не знаю. Помню только, кто спел эту песню первый раз у нас. Конечно же – отчаянная, веселая и ни на кого не похожая Берталазаревна. Это имя стало у нас нарицательным – из-за няни. Она Берту Лазаревну не любила. Когда я вела себя слишком громко, няня говорила укоризненно: настоящая берталазаревна! Я не возражала – мне-то Берта Лазаревна очень нравилась, хотя она и дразнила меня. Но – веселая и поет.

А эту песню вы слышали?

Служил на заводе
Сергей-пролетарий,
Был в доску сознательный марксист,
Был членом Моссовета,
Был членом татсовета –
Ну словом, безусловный активист.
Жена же его, Манька,
Страдала уклоном,
Плохой между ними был контакт:
Накрашенные губки,
Коленки ниже юбки,
А это безусловно вредный факт.

И так далее.

Потом долго ничего такого не пели – до самой "Мурки", до "У самовара я и моя Маша". Тридцать третий год. А дальше – все спускалось с киноэкранов. Никакой самодеятельности. Только в пятьдесят четвертом расхрабрились и запели про то, что "цветет в Тбилиси алыча – не для Лаврентий Палыча, а для Климент Ефремыча и Вячеслав Ми-

халыча". Пели лирично, протяжно... Через два года прорвалась частушка:

Огурчики, помидорчики,
Сталин Кирова убил в коридорчике.

Но еще до этого позвонила по телефону Ольга Берггольц и не спела – сказала: "О Сталине мудром, родном и любимом, закрытые письма народу поют".

Это было лучше всякой песни.

А потом пришли барды.

А теперь не поют ни про политику, ни про политиков. Даже про Чубайса не поют.

Право же, в нэп было веселее.

Но мы, младшее поколение, через несколько лет вспоминали нэп гастрономически.

– Мама, – спрашивала Полину Львовну маленькая Оличка, – а где теперь айсы?

– Айсы? Аисты? Они теперь...

– Не аисты – айсы. Такие белые, теплые...

– Боже мой! – рассказывала Полина Львовна. – Я только тогда догадалась: она подразумевала сайки! Ребенок даже не помнит, как они назывались.

Такой был в Одессе хлеб в годы нэпа: по пять больших саяк в два ряда, выпеченных вместе. И покрытых семитатую.

Что такое семитать – объяснять не буду, а то заплачу.

Была еще длинная и интересная баллада – ее, кажется, и сейчас иногда вспоминают: "Ужасно шумно в доме Шнерзона, сацитахойших прямо дым идет..." До сих пор не знаю точно, что такое сацитахойших, хотя мне это не раз объясняли, подкрепляя слабое объяснение усиленной жестикой. Но когда я ее слышала, она была уже старая, старше меня. Как "Алеша-ша", как "Мама, мама, что мы будем делать?" Похоже, тех времен, когда в Одессе каждую неделю менялись власти. Во всяком случае, я эту песню помню столько же, сколько себя. Некоторые ее слова отозвались в дальнейшей моей жизни – например, про невесту, которая "фату мешковую одела и деревяшки на ногах". Фату я видала – на невесте, в церкви, мешковую –

значит, из мешка, ну а деревяшки на ногах? Мама, объясняя мне, что это туфли на деревянной подошве, которые носили в голодное время (так в Одессе называли военный коммунизм), заканчивала: "...и они стучали. Ты представляешь, как они стучали? Нет, это надо слышать!"

И я услышала это лет через двадцать, в Ташкенте, где художник Ленфильма стал обувать эвакуированных актрис и не-актрис. Его обувь стала модной – называлась – "туфли на платформе". Ух, как они стучали! Наверное, они были из саксаула – откуда взяться дереву в Ташкенте? Красавица Галя Григорьева – может, кто из моих современников вспомнит Машеньку в фильме "Дубровский"? Так вот, в Ташкенте, на втором году войны, только Галя Григорьева умудрялась почти не стучать.

Дом наш был поющим. На втором этаже, над нами, очень сильное сопрано исполняло каждый вечер романс про "Маленького Джонни" (слова Веры Инбер). Под нами, в подвале, где жила моя подруга Тата Попова (ее мама была учительница, читала газеты, курила и часто меняла мужей), по праздникам пели хором "Гайда тройка, снег пушистый". "Опять у Смирновых гуляют", – радостно говорила няня. Сама она, когда рубила котлеты, пела "Полюбил всей душой я девицу". У мамы были свои песни. Например – "Я знаю солнце". Или: "Ах, не забыть мне вас, черные очи..."

А папа пел с утра, пел все и про все, что ему было нужно. Например: "Ната-а-ша, где мои шпро-о-ончаки?" Опять непонятное слово? Наверное, тоже еврейского происхождения. Имелись в виду то ли запонки, то ли штучка, которой пристегивался крахмальный воротничок к рубашке.

За обедом, после второго блюда, он напевал из оперетты: "Ах, сколько в этом есть приманки... Ах, как приятно парижанке Индуса сердце покорить". Тут он уже не разливался на гласных, а пел точно – как я потом узнала.

С улицы шли "Кирпичики", "Я беспризорная, как травка сорная...", "О баядера, тарарам-тарарам..."

А революционные песни? Только одну помню. Ее орал Ейна-сумасшедший, который жил напротив нас. Он выстраивал маленьких мальчиков, они маршировали, а он шел сбоку и выкрикивал:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов,
И как один умрем
В борьбе за это.

Ему было, наверное, лет шестнадцать, или больше.

Еще была "Марсельеза" – но в каком-то странном, иронически-местечковом изводе: "Нох а муль, нох а муль – отречемся! Таки отречемся!"

Был "Интернационал". Но он действительно был всегда – и не был песней. Меня однажды повели в клуб Троцкого (потом Дом Красной Армии), и там это пели, очень громко, все вместе – но я уже знала мотив... Еще был "Цыпленок жареный", – но можно ли назвать его революционной песней? Об этом, кажется, еще спорят.

Родители

У Толстого в "Детстве" есть глава "Что за человек был мой отец".

И вот, когда я задаюсь этим же вопросом, то ответить мне на него оказывается трудно.

На него похож мой сын. Похож с самого рождения – так сказала моя подруга, которая через три года на суде докладывала о моих антисоветских высказываниях. Она посмотрела на закрученную в пеленки куколку (эпоха свивальников отошла в мое с Лялей прошлое), на маленькое лицо под платочком и сказала с удивлением: "Он похож на твоего папу!" Тут и я увидела сходство.

На суде адвокат – красивый, с переливчатым голосом – спрашивал ее:

– Она вам показывала своего ребенка. Гордилась своим ребенком. И тогда же вела антисоветские разговоры?

Он обращался к эмоциям, к сентименту. Не тут-то было! Мы были люди ироничные. По-моему, она чуть-чуть усмехнулась, да и мне это показалось смешным.

– Да, именно тогда, – отвечала моя подруга.

Я ее простила потом. И правильно сделала.

Наша Симоновна, нянчившая детей, принося маленького Бубика с прогулки, говорила:

– Он счастливый мальчик будет. Его все дети любят.

И про моего отца его брат, с которым я познакомилась в Израиле, говорил:

– Он был красивый такой... Его все любили...

Последний раз они видели друг друга в 1904 году. Тогда мой дед, нежинский мещанин, сын управляющего имениями барона Гинзбурга, казенный раввин в местечке Калараш Бессарабской губернии, отдал старшего сына Несанеля, моего отца, "в люди": отвез его в Одессу и определил в аптеку Колпакчи аптекарским учеником. Младшего сына, Ноаха, он через несколько лет отвез в Палестину, где тот со временем стал учителем иврита и автором детских книжек.

Несколько слов об этом моем любимом деде, которого я так и не увидела, поскольку Бессарабия внезапно оказалась Заграницей. Он писал мне длинные письма на прекрасной, незнакомой на вид бумаге – какой-то шершавой, плотной, снежно-белой. Писал восхитительным, изящным, но разборчивым почерком, настолько разборчивым, что я их прочитывала, когда еще сама не умела писать. "Каждая буквочка отдельно!" – умилялась мама, которая, как бывает с невестками, любила свекра и не слишком жаловала свекровь. "Дорогая Руфочка!" – писал он, и это имя мне нравилось, не то, что это ужасное "Руня". К тому же он писал его через фиту, что еще прибавляло ему красоты. Он был абсолютно грамотным по-русски – без этого он не мог бы стать казенным раввином. Казенный раввин в еврейской общине вел все записи гражданского состояния, то есть был в одном лице целым учреждением, которое в Советском Союзе называлось ЗАГС. Его любили в Калараше, и когда, незадолго до прихода туда советской власти, он умер, все евреи закрыли свои лавочки в знак траура. Много позже я увидела его фотографию (у папы ее не было). И узнала на ней глаза моего отца и моего сына, его правнука.

Мой отец о себе рассказывал мало, – да я и мало расспрашивала. Но о брате Ноахе он говорил:

– Он всегда любил учиться. У нас были коровы... Так Ноах учился, а я бегал смотреть коров...

Я думаю – мой отец был по природе своей самоучка. Как и я, как и мой сын, его внук. Кажется, он сдал гимназический курс экстерном, но и в этом я не уверена. Мы, и я, и мой сын, окончили университет, – время предлагало нам свои жесткие рамки – но и тут мы как-то ухитрились кончить его не сразу. Аспирантуры мне не предлагали – прямо скажем, не тот был воздух в 1947 году, чтобы брать евреек в аспирантуру. А сын, получив диплом об окончании бирманского отделения Ленинградского филфака, на другой день пошел наниматься в осветители на Ленфильм. Его взяли – и полюбили, и он сделал карьеру: за семь лет поднялся до помощника главного оператора. Без всякого специального образования. И когда его, за родителей, уезжавших в Израиль, захотели уволить с Ленфильма, то – слушайте, слушайте, бывали, значит, такие истории в советские времена! – друзья-работяги, из среды которых он вышел, не позволили его уволить. Стали грудью на защиту. Вот так. На профсоюзном собрании.

Отца моего тоже любили сослуживцы. Это были люди из вполне ассимилированных семейств, родившиеся в Одессе, окончившие там гимназии; некоторые даже получили высшее образование за границей. А про моего ничего не кончавшего отца кто-то из начальства сказал: это бриллиант в короне Вукопспилки. Все они служили в этой Вукопспилке, в мясном отделе, и их интеллигентные жены негодовали, что на вечеринках они разговаривают между собой только о сале и мясе.

Между этими одесскими аристократами он не был чужим. Они его любили и, вероятно, почитали его за самородка. Помню домашнее "пти-жё" – игру в слова. У него всегда бывало больше слов. Иногда он удивлял: написал слово "клиппа".

– Да что это значит?

– А это значит по-еврейски "ведьма", так я свою жену называю!

Все хохотали, хотя на идиш мало кто из них умел говорить.

Они часто бывали друг у друга, не только по праздникам. И угощение ставилось самое скромное: хлеб с чайной

колбасой – ах, до чего же я ее любила! – но считалось, что маленьким детям нельзя колбасы, – и чай с вареньем. Они организовывали даже – вот что бывало при нэпе! – кружок обучения фокстроту. Тут мой папа, кажется, оказался самым неспособным. Он был маленький (все наши знакомые мужчины были выше его ростом), толстый, с большим животом – тогда таких было много. Ели много, о диете не думали, стройность теряли уже на втором десятке. А когда папу сажали, в двадцать седьмом и в тридцатом, – никто не отступился, все приходили, звонили, совали деньги. Правда, это был не тридцать седьмой год. Тридцать седьмой всех нас миновал.

Странно, тогда не было у нас в ходу слово "друзья". Конечно же, те, о которых я рассказываю, были настоящие друзья, – но они так не назывались. Наши знакомые – и все. И роман Юрия Германа тридцать шестого года назывался "Наши знакомые", и название это звучало по-домашнему интимно, привычно.

Мне кажется, что слово "друзья" пошло в ход только в шестидесятые годы. Означает ли это, что прежде, до шестидесятых, слово "друг" ценилось выше? Еще выше? У американцев слово "друг" не несет романтической немецкой нагрузки и не означает ровно ничего. Любой знакомый – это друг, "френд". А дальше идет шкала – "бест френд", даже, кажется, "секонд бест". А как с этим сейчас в России? Не знаю.

Разговоров о литературе за семейным столом, с гостями или без, я не припомню. Только один раз, – когда я уже была в седьмом классе, – милые Гандельманы увидели на столе кем-то мне данный "Парнас дыбом". И посыпались воспоминания. Имена серебряного века, мне совершенно незнакомые, стихотворные строчки, литературные сплетни той поры, доплывавшие до Одессы:

– У Вячеслава Иванова, да? Вышла худенькая женщина в черном платье и стала читать стихи... – Она любила Блока... – А Гумилев? – Гумилев был ее мужем. – Гм. Ну-ка, ну-ка: "Пестрый сеттер быстр как ветер"... Узнаешь размер? – А как же! "Милый мальчик, ты так весел"... – А этот, Городецкий, "стоны звоны перезвоны" – он потом их

всех предал, кажется? – Ну, почему предал? Просто...

И вот тогда в первый раз, среди этих имен, слышала я имя "Альталена"...

Книги в нашем доме, в эпоху первоначального накопления, приобретались папой. И Брокгаузовский Пушкин, и Энциклопедия и все прочее. В тяжелые времена продавали ковры; в Торгсин пошли (на вес) серебряные ложки и обручальные кольца. Книг не продавали никогда. Книг было, по моим понятиям, много. Да еще после каждой командировки прибавлялся кто-нибудь из юмористов – Аверченко, Тэффи, Вера Инбер... Но мой отец юмор читал в поезде, а постоянно читал и перечитывал двух авторов: Толстого и Чехова. Во время войны, в эвакуации, купил в дешевеньком издании "Войну и мир" и читал ее снова. Тогда многие так делали. Когда мы с Лялей стали болтать по-французски, он стал читать за каждым обедом французскую книжку в красном с золотом переплете: "L'Histoire d'un âne" графини Сегюр. "Где-е-е мой осел?" – раздавалось по всему дому. Папа всегда искал шумно, а иногда и нараспев.

Откуда у него был французский язык – не знаю. Самоучка он и есть самоучка.

Но нас родители языкам учили. Вообще, учили всему, что полагалось знать барышням из хорошего дома. Как говорила моя приятельница, "Клавир шпилен, францезиш шпрехен"... Про "францезиш" я уже писала – это милая мадмазель Жанн. В одну какую-то зиму – в предшкольный год, кажется, – с ней не успели договориться, и она вместо себя прислала мадмазель Жозефин, тоже хорошую мадмазель: она приносила мне книжки от другой своей ученицы – Сарры Фудим. Однажды она принесла толстую красно-золотую книгу и сказала:

"Sara a demandé: Est-elle une petite fille sérieuse, cette Rounia? Je lui dis: Oui, c'est une petite fille sérieuse. – Alors je vais lui donner ce livre".

Книга называлась "Жанна д'Арк", издание Гранстрем, даже не знаю, кто был автор. Боже мой, сколько переживаний! Сколько прекрасных слез! До сих пор какие-то строчки помню наизусть. Даже Шиллер с Жуковским их не вышибли, хотя огромную благодарность им за улуч-

шенный конец я сохраняю до сих пор. Эта книжка стала для меня первым учебником всемирной – то есть европейской – истории, которая тогда ощущалась как всемирная.

Да, французский язык. В семь лет я его бросила, мало чему научившись, из какого-то внутреннего сопротивления. Меня отдали в немецкую группу, кстати, очень хорошую. И там училась лучшая подруга по двору – Ната Попова. Та самая, чья мама была учительницей. В этой группе было интересно, и немецкий у меня пошел довольно быстро. А когда на Пасху мы поехали в Тирасполь, я сделала замечательное открытие: оказалось, я понимаю по-еврейски!

Музыка тоже мне не давалась долго – а когда стала даваться, то прекратились мои занятия. Дело, думаю, было в том, что наша Анна Ноевна, тетка моего "жениха" Володи, мне не нравилась: у нее был громадный, все заслонявший нос, и я слышала и чувствовала, как она дышит. И, конечно, она не была профессиональной учительницей музыки – просто у них в семье все играли, а она даже пела – ночью сквозь их пол и наш потолок до меня доплывало:

Джонни! Та-ра-ра-там тарарам!

А у Ляли с ней сразу пошло. Ляля стала подбирать по слуху, когда ей было года четыре – причем сразу двумя руками. Первая мелодия у нее была "Яблочко". Да-да, то самое яблочко, которое котится невесть куда... И вот ее, Лялю, стоило учить – это и мне стало ясно.

То же произошло и с французским. Уже в шестом классе я опять стала заниматься французским с мадмазель Жанн – за те же десять рублей в месяц. Ляля брала свою скамеечку и садилась у наших ног. Через месяц наших занятий (а говорили мы только по-французски, такой это был метод) мадмазель сказала (по-русски; она говорила по-русски прекрасно, без всякого акцента):

– Лялечка, вот ты сидишь смирно, слушаешь, слушаешь... Разве тебе интересно? Ты ведь не понимаешь...

– Понимаю, – тихо сказала Лялечка.

– Понимаешь? Тогда расскажи, о чем мы говорили.

И она рассказала. После этого за нее тоже стали платить десять рублей в месяц, и скоро мы с ней разговаривали на равных.

Она донашивала мои обноски, которых было немного. Я донашивала то, что мне перешивали из маминого гардероба. Носки я носила папины, подворачивая след в длину, – чулок у меня не было, и я ходила в носках даже зимой 31-32-го года, которая выдалась довольно-таки лютая. Но хождение в носках зимой – в этом было даже некое молодечество. Все, ну буквально все изумлялись. Это разогрело мое самолюбие, и я почти не замечала мороза.

Но вот туфли мои, а ходила я в маминых туфлях с полуспиленными каблуками, вызывали у одноклассников некоторое недоумение. Это было то время, когда папа был в ссылке, мама пошла служить, и мы жили на ее жалованье (тогда еще не говорили "зарплата")...

За много лет – пожалуй, до самого моего возвращения из Испании – я не помню у мамы ни одного нового платья. У папы оставался знаменитый синий шевиотовый костюм, единственный раз извлеченный из нафталина на встречу тридцать третьего года. Мы с Жоржиком сочинили по этому поводу частушку:

После долгих тяжких дум
Вынул синий он костюм,
Что берег на свадьбу дочки
Он!

А мое зимнее пальто, которое я носила с первого класса до пятого, – нет, о "польтах" наших вообще лучше не будем... Ух, и далеко же меня завел французский язык.

Но все это я рассказываю не зря. Языки, музыка, книжные шкафы – это все моя Одесса, моя голодная франтиха в перелицованном ситце... Моя еврейская ново-одесская семья, только что выбившаяся из гетто в российскую – нет, русскую! – культуру. И семьи наших знакомых, наших друзей, не уступавшие ни пяди из завоеванного уже их родителями плацдарма: образование! книги! языки и музыка для детей.

Те десятирублевки, которые платили мадмуазель Жанн, – они сэкономились от расходов на чайную колбасу, по уверениям мамы, вредную для детей. Копейки, на которые мама покупала для меня на базаре потрепанные книги Чар-

ской и Диккенса (да-да, этих авторов она приносила с базара), сэкономились на курице для семьи: покупалась четверть курицы на четверых. Правда, чаще всего мы ели "фальшивое жаркое" – картошку в луковом соусе. Это было мое любимое блюдо, его давали, можно сказать, почти достаточно.

Я не думаю, что мама делала это сознательно. Просто – нельзя было иначе, Жоржик учится французскому и музыке, – значит, и я должна. И мадамзель, которая три раза в неделю приходила за эти деньги, – у своих учеников с Обсерватории она получала больше, но вот – ходила к нам. И думаете, я это ценила? Да ничего подобного. Мне хотелось читать книжки, а не играть гаммы и разговаривать по-французски.

Но поневоле все это как-то влезало в мои дни, в мою голову, в мои самые еще детские мечтания... Однако я мечтала не о будущем, которое виделось только как настоящее, как завтрашний день, точь-в-точь похожий на сегодняшний, а о недостижимом прошлом.

– Мама, расскажи мне про гимназию!

И она рассказывала. Не так интересно, как это рассказывалось у Чарской, но все-таки интересно. Формы, классные дамы, сочинения... За какое-то сочинение, которое для мамы написал знакомый гимназист, учитель, мгновенно разобравший, в чем дело, поставил небывалую отметку:

– Пять – автору сочинения.

Мама смеялась, когда это рассказывала. А мне было обидно, хотелось, чтобы это она и была – тот автор.

Она была старшей дочерью в семье, где кроме нее было еще пятеро, то есть пятеро осталось в живых, а еще пятеро умерло... Всего бабушка моя рожала одиннадцать раз и умерла в возрасте девяносто восьми лет. Когда мы с мужем в 1949 году получили наши срока, я – десять, он – двадцать пять, бабушка сказала:

– Я его дождусь!

И дождалась. Правда, он вернулся не через двадцать пять, а через пять лет, и ей тогда было только девяносто четыре года. Она мне пожаловалась на то, что моя дочь, ее правнучка, плохо обращалась со своим младшим братом:

– Она все время была его на голова (т.е. по голове).

Бабушка и дедушка говорили по-русски свободно, но плохого, падежи их не интересовали. Дед кое-как умел писать по-русски, а бабушка, как и полагается хорошей еврейской женщине, была почти неграмотна. Моя мама сдавала экзамен в гимназию (сразу в пятый класс!) три года подряд. Наконец ее приняли. Ей было тогда лет шестнадцать, вероятно, и все-таки она окончила гимназию, и даже окончила восьмой педагогический класс, что давало ей право стать учительницей.

И она стала зарабатывать. Ездил на кондичии – это значило, на лето в семью ученика. Преподавала в русской школе. Встречалась с молодыми людьми, зачастую не евреями. Про некоего Сережу Федорова, революционера из хорошей семьи, который был повешен, я знала с детства. Знала, что бабушка как-то поймала одну его записку и сумела разобрать его подпись: твой Сережа. И негодовала, и повторяла:

– Твой Тирожа! Ты подумай: твой Тирожа!

В шестнадцатом году мой отец – тогда молодой вольноопределяющийся – после ранения (в ногу) попал в Тирасполь. Там он познакомился с моей мамой. Произошла эта судьбоносная встреча в доме у Надежды Евлампиевны Бутурлинской, – мама в то время готовила дочь Бутурлинских в гимназию.

Я ее хорошо знала, Надежду Евлампиевну (мама называла ее "Лампочка"); когда я появилась на свет, они с мужем уже жили в Одессе и бывали у нас. И дочь ее Тамару я знала тоже.

Папа, как человек с серьезными намерениями, стал бывать у мамы дома. Младшая сестра – моя тетя Лиза – сразу учуяла, что это значит, и кричала маме:

– Иди, жених пришел.

Однако у мамы были другие планы. Она уехала в Екатеринослав и поступила на медицинский факультет. Но в семнадцатом году весной "жених" туда за ней приехал – и с медициной было покончено.

Они поженились 22 июня 1917 года.

Потом я говорила маме:

– В семнадцатом году! Такое страшное время! Революция!

Она качала головой, улыбалась:

– Что ты! Замечательное время! Столько надежд!

Они были ровесниками – им было уже под тридцать.

И началась новая жизнь. Полная надежд. В Одессе. Новое время – новые песни.

Папа вообще любил петь, и, кажется, у него даже был голос: во всяком случае, его брат Ноах – тот, что так любил учиться, – спросил меня, когда мы в первый раз в жизни встретились:

– А что, он еще поет? У него был такой голос...

По-русски мой дядя Ноах почти не говорил. Может быть, он и до того, как попал в Израиль, не слишком часто говорил на этом языке, но в Израиле окончательно его забыл, да и кроткой жене своей велел забыть. Жена, хоть и кроткая, все-таки ничего не забыла, хотя спорить не стала.

С этим я сталкиваюсь уже не впервые. Не только здесь, в Израиле, но и в Америке. Вполне ассими... нет, неверно! – не ассимилированная, а смешанная, смешанная семья, по здешнему злорадному определению: еврей-муж, русская жена и очень славянские по виду девочки-близнецы. Так вот, этих близнецов воспитали в полном отторжении от русского языка – пусть его не знают! Не нужен он им! Таковы были речи мужа. Жена не возражала – тоже, наверное, была кроткая.

Муж не мог простить советскому государству вечных унижений его достоинства как ученого. Еврейской мотивации тут не было. В Америке он сразу стал делать завидную карьеру. И принял решение: он американец и дети его американцы. И все. Кранты. Капец.

И, признаться ли? – что-то в этом роде происходило в еврейских семьях первого поколения ассимилянтов, которые напрочь отказались от родного идиша. Везде – и в России, и в Европе, и в Америке, и в Эрец Исраэль. Дядя мой велел жене забыть не только русский язык, но и идиш. Рвать, рвать, рвать все связи с ненавистным некультурным местечковым прошлым! Этого языка стыдились, как стыдились манер и привычек. И так, вероятно, тонули древние

и не очень древние языки в оккупациях, в эвакуациях, в эмиграциях, на реках Вавилонских и европейских... Много ли русских сохранили во Франции язык исхода?

Впрочем, бывает и по-другому, без эвакуаций и оккупаций. Помните: "Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды"... Начало XIX века, свидетельствует Толстой Лев Николаевич. Или Татьяна Ларина, которая по-русски плохо знала и изъяснялась с трудом на языке своем родном. Или... да примеров тут без числа. И тут было то же самое: рвали с затхлым, некультурным, допетровским прошлым, которого стыдились... И тут одного Карамзина оказалось недостаточно. Понадобилось пришествие Пушкина, который понял, что "все надо творить в этом русском языке". И сотворил. И стал русский язык сладчайшим для губ и слуха, и великим, и могучим, и – словом, тем, чем он стал. И как ни портят его – поскольку нельзя человеку не портить то, что ему принадлежит, и как ни обогащают его с помощью Даля и американских бизнесменов, остается он... в общем, остается, и все тут. А все ваучеры и пневести высыпятся из него со временем. Ну, не все, так хоть часть.

– Девочка, ты из Москвы? – спрашивали меня на нашей Спиридоновской улице.

Я еще и слова "Москва" тогда не знала. – Потому что у тебя такой акцент... Ты, наверное, была в Москве.

В первый раз в Москву я попала зимой тридцать седьмого года, по дороге из Одессы в Ленинград, возвращаясь с зимних каникул. Мой отец попал туда впервые в начале тридцатых годов, сорокалетним человеком. Мать еще позже. А между тем так называемый "московский акцент" у меня был от них, от выходцев из еврейских гетто. Немало труда им, наверное, это стоило – но добились.

Хотя, конечно, этот "московский акцент" был окрашен нашим югом – мы говорили "лЯгушка", "предстаВЬ" (а не "предстафь"), "любоВЬ" (а не "любоффь"), "Бог", а не "Бох", – ничего не редуцировали, все произносили чеканно... Наша гордость и любовь – наш русский язык... В Израиле Саша Бенинсон, умный и едкий, говорил про несимпатичного дантиста из Кишинева:

– Он там был первым человеком... Он там лучше всех по-русски говорил!

В Америке Марина Ледковская обо мне говорила:

– Но она говорит, как мы!

Понимай как комплимент – видимо, русский язык поколения шестидесятников, прибывающего в эмиграцию, был ей чужд, – более, впрочем, по лексике, нежели по орфоэпике. Мой язык, как и ее, был более книжный – более литературный и, если хотите, более чистый... Язык людей, которые не знают – или не хотят знать – языка постреволюционного, ни уличного, ни газетного. Тоже – бегство в иной мир, самый непростительный грех с точки зрения прагматиков-американцев, словом – эскейпизм. Ну вот, только что осудила "ваучер" – а сама? Русской интеллигентной современности вечно не хватает собственного языка. Вечные мадамы Курдюковы, в брюках и в ученых степенях.

А как перевести это слово? Бегство? Но слово "бегство" непременно требует дополнения. А эскейпизм – ничего не требует, и так понятно.

Но вот этот самый мой уж очень литературный язык порождал забавные недоразумения. Мне то и дело примысливают некое "высокое происхождение". Думают, что я "из бывших". Даже Довлатов так думал или распускал такой слух. А я – до чего же мне хотелось, чтобы так оно и было. Но – нет. Хотя к легенде о "высоком происхождении" обещаю вернуться.

Кроме высокого происхождения я мечтала еще, чтобы у меня открылся голос. Как у Аверченко в "Развороченном муравейнике": "У Вареньки вчера в половине пятого голос открылся!" Но у меня так никогда и не открылся. Не унаследовала я голоса от моего отца.

Голос моего отца – не певческий, а разговорный – я через много лет услышала у Жана Габена. Тот же, иногда чуть рокочущий, баритон. Мне казалось даже, что он и лицом на него похож – но, думаю, это мне мерещилось из-за голоса. Голос, манера говорить для меня и посейчас определяет привлекательность – или непривлекательность человека.

Хотя есть исключения. И тут – хоть это и не к детству вовсе даже – не могу не вспомнить.

Тридцатые годы в Одессе – а может, и не только в Одессе – отличались текучестью учительских кадров. За два года у нас сменилось три физика, три немки, две литераторши... А уж историчек просто никто не считал. Все они, как одна, не сговорившись, посвящали первый урок Морозовской забастовке, а потом исчезали. Однажды произошло нарушение традиции: мы ждали новую историчку, а вместо женщины пришел очень маленький мужчина в неразвязанном кашне, посмотрел в очки на класс, тихонько сказал, что его зовут Семен Абрамович и монотонно зажужжал, как средней величины муха. На каждой парте занялись своими делами, – кто списывал алгебру, кто читал "Десять лет спустя", кто играл в "Морской бой"... Было, в общем, тихо. Потом стало еще тише – монотонное жужжанье пробило какой-то барьер и стало доходить до нашего слуха. К концу урока мы сидели не дыша.

Картавя, без голоса, почти без интонаций Семен Абрамович рассказывал нам – что? Морозовскую забастовку. С картиной времени, с беглыми портретами руководителей, участников, неучастников, с цифрами, с последствиями.

После этого урока мальчики говорили: это да! Не забудем, что это были одесситы, не просто одесситы – подростки-одесситы... Ну, и мы тоже, конечно, восторженно кудачтали.

Семен Абрамович продержался у нас до конца триместра – потом и он исчез. Но и после исчезновения сумел удивить нас.

Нина Сигал (впоследствии по мужу Жирмунская), наша красавица и отличница, подошла к опустевшему столу, за которым опять не было историка, и возгласила с немного таинственной улыбкой:

– Семен Абрамович передал нам всем привет. Он поставил нам очень хорошие отметки.

И стала читать по алфавиту. Это были отметки за триместр – и в самом деле очень хорошие. И, главное, заслуженные.

Все это отступление к вопросу о голосе и манере гово-

рять, которые иной раз и не главное.

Но исключение – оно и есть исключение. А в моих ушах до сих пор звучит голос моего отца:

– Мир спасет Советская Россия.

(Пауза.)

– Как это ни странно.

Это – май 1940 года, когда немцы вошли в Париж.

Через несколько месяцев:

– Национальная идея сильнее интернациональной.

(Пауза.)

– К сожалению.

Это – август 1940 года. День вторжения в Польшу.

Мы проснулись от землетрясения – слабого, но страшного. Стояли в столовой под лампой, она уже не качалась.

– Бог не на шутку рассердился на большевиков, – сказал папа очень серьезно.

Кроме всего прочего, во время летней кампании 1942 года он сказал, что немцев остановят у Моздока. Так оно и произошло. Один из моих тогдашних приятелей увидел с улицы (мы жили на первом этаже), что папа надел на свою лысую голову ватный колпак от чайника. И сразу все понял:

– Вот, значит, как в его голове вызревают политические предсказания!

Мой отец умер в Одесской больнице. Я стояла на коленях у его постели. Мне показалось, что он потерял сознание; я громко заплакала. И он положил руку мне на голову, успокаивая или, как мне хочется думать, благословляя.

Это было 22 декабря 1956 года. Трех недель он не дожил до шестидесяти восьми лет.

Пять лет жили они с мамой и с моим маленьким сыном в узкой и темноватой двенадцатиметровой комнатке, и ночью их будило рычание львов. Их комнатка была в доме, где цирк. В прежнюю квартиру, в которой они прожили двадцать лет, вернее, в их последние две комнаты, их по возвращении из эвакуации так и не пустили – придрались к тому, что они не платили за квартиру, находясь в эвакуации. Пять лет они посылали мне посылки в лагерь. Потом я вернулась, забрала мальчика, – и у них поселилась

моя сестра с двумя детьми. Львы рычали. В сентябре пятьдесят шестого я приехала в Одессу в командировку от журнала "Юность". Это был как бы наш общий реванш за страшные пять лет – а папа был доволен и втайне гордился таким поворотом моей судьбы, мама подсмеивалась над ним, но тоже была довольна... А через три месяца я приехала снова – чтобы проститься.

В ту последнюю ночь, которую я провела около папы, я все время слышала предсмертные хрипы из соседней палаты. В конце концов я спросила медсестру: что это?

Она ответила:

– Старушка одна умирает, Бугурлинская Надежда...

– Евлампиевна?

– Вы ее знаете?

Это была та самая "Лампочка", у которой сорок лет тому назад познакомились мои родители.

До Ляли

Мама часто рассказывала, как в детстве на вопрос "где твой папа?" – я твердо отвечала:

– Папочка в Чека.

Щелканье этих двух слов, которые я помнила с маминского голоса, мне долго нравилось. Было мне года два, вероятно, когда папу в первый раз увели. Может быть, в День мирного восстания. Тоже очень красиво мне звучало – "День мирного восстания". Об этом мне часто вспоминали няня и мама. Ходили по квартирам (кто ходил? Сколько их было? Мне мерещатся какие-то чужие-чужие, развязные молодые люди. Воображение это или смутное воспоминание?); так вот, ходили по квартирам и производили изъятие излишков (эти два слова были не красивыми, а страшноватыми, – из-за двойного, злого, свистящего "иззз")...

– Изъятие – это когда забирают, – объясняет мне няня.

– У кого забирают?

– У кого! У кого хотят, у того и забирают. Вон, у Германских все простыни забрали. А у них такие хорошие простыни были!

Вздых.

Германские – родственники с папиной стороны – уже давно уехали в Берлин, и я их помнила только словами-именами: тетечка Лизочка, Манечка, Буська... С Манечкой я через пятьдесят с лишним лет встретилась в Израиле. Она рассказала, что ей написали: Рунечка стоит у дверей твоей комнатки, зовет тебя и плачет. Я этого не помню – может, выдуманно? Но значит, она когда-то жила "у комнатке"... Одна жила – потому что ее родители и брат Буська жили в квартире напротив.

Помню зрительно: я стою в чужой, не нашей кухне, парной от стирки, с маленькой синей мисочкой в руках и заученно говорю женщине, что стирает в корыте: "Тетечка Лизочка, дай паек!" Пак – значит макароны, но этого слова я не знала. И тетечка Лизочка накладывает в мою мисочку макароны распаренными от стирки розовыми руками.

Я долго думала, что эти длинные и не очень вкусные теплые трубки называются "пак". И правда, когда мы в начале тридцатых годов стали получать пак, то макароны составляли его главную и самую тяжелую часть. Манечку родители вспоминали редко, а вот ее брата Буську, которого было не отогнать от пианино, – очень часто, особенно, когда я начала учиться музыке.

– Вот, Буську не отогнать было от рояля, по шесть часов играл, и теперь в Берлинской консерватории учится. А ты?

Так меня попрекали этим Буськой, пока я не ответила, что не собираюсь ни в какую консерваторию вообще. Консерваторию окончила моя сестра Ляля – она была одаренная.

У Германских были излишки. У моих родителей тоже были излишки, может быть, даже золото: они только что купили квартиру, где я выросла: полтора этажа, наверху кухня, кладовка, ванная и комната для прислуги; внизу, в бельэтаже, две больших комнаты, две поменьше и одна совсем маленькая, возле черного хода, та самая, которая называлась "у комнатке" (няня вместо "в" говорила "у", зато вместо "у" – "в": "у комнатке", но "в Эймонтов тоже

хорошая квартира"). В двух комнатах, что поменьше, сначала жили Ефимовы – Анна Гавриловна и Генъиванч (Евгений Иванович). У него были усы и бородка, но я почему-то помню, как он направлял бритву на кожаном поясе – опасную бритву, конечно, безопасных тогда еще не было. А Анна Гавриловна – белая, рыхлая, добрая, – осталась в памяти главным образом потому, что еще много лет спустя, если я просила лишнюю чашку чая, няня говорила: ну, настоящая Анна Гавриловна! Видно, та большая была любительница. Чай тогда – и еще долго потом – пили из самовара, который няня ставила на кухне и тащила за ручки в столовую – десять ступенек вниз!

Но Ефимовы рано исчезли – задолго до появления моей сестры Ляли. При них мы с няней жили "у комнатке", а потом у нас появилась детская, а у родителей рядом – спальня... А "у комнатке" поселился студент по фамилии Христино, у него была синяя фуражка и к нему ходила Марусичка, а потом мама радостно объявила: "студент с Марусичкой обвенчались". Там у них я читала чудный журнал "Вокруг света" с романами Беляева. В конце двадцатых годов они съехали – интересно, куда? – а с тридцатого года наша квартира превратилась в шагреневую кожу: комнат у нас осталось только две. Зато население квартиры стало бурно расти. Перед войной в комнате для прислуги жила семья Маламуд из пяти взрослых и одного младенца, "у комнатке" жил одинокий, широко посещаемый приятельницами Валентин, в детской – слепые супруги, родившие совершенно зрячую дочку, а в родительской спальне размножалась молодая студенческая семья Кагановичей. Нам пятерым остались гостиная и столовая. Чудесная наша угловая гостиная, с пятью окнами, с пианино, с диванчиками, креслами, коврами и картинами была перегорожена буфетом и вешалкой и превратилась в дортуар: по обе стороны перегородки стояли кровати, с одной стороны огромные никелированные родительские, которыми когда-то гордилась мама, с другой – железные крашенные койки, которыми никто никогда не гордился: на них спали няня и Ляля. Я же, когда приезжала, спала в бывшей столовой на продавленном диване. И пианино наше загадочной немецкой

фирмы "Клингман", и вся мебель из бывшей гостиной – все переехало сюда. Мебель ветшала, ломалась, ее не чинили – не помню, чтобы у нас когда-нибудь что-нибудь чинили, – но и не выбрасывали. Даже когда у стульев стали отклеиваться обитые кожей сиденья – даже тогда никто ничего с ними не делал. Не умели? Не хотели? Квартира, которая казалась мне в детстве самой красивой на свете, умирала, отживала. После смерти няни (она умерла за год до войны) даже цветы на окнах – калачики, фуксии, красавчики, девичья красота – стали умирать. За обоями в передней шуршали днем и выползали ночью громадные черные тараканы. В темной ванной были сложены дрова. На кухне гудело четыре примуса – четыре, потому что элегантный Валентин на кухне не появлялся.

И все-таки – там было два шкафа с книгами, которых стало даже больше: прибавились Тургенев и Гончаров (их купила я сама у Олечки Лобачевской перед ее отъездом). Но главные были те, что покупал папа, – раньше, когда я еще не умела читать, я помню, как их приносили: Брокгаузовский Пушкин, Брокгаузовская энциклопедия, Толстой, Чехов, "Жизнь Иисуса Христа" Фаррара, Белинский... Ни Гоголя, ни Лермонтова, ни Достоевского у нас не было – значит, не приносили. Второй том "Анны Карениной" долго-долго пропадал у знакомой, но в конце концов вернулся... Еще были картины: большая – тихий пейзаж с рекой и избушкой, другие поменьше: буря на море, две голых девочки испугались змеи, зеленый лес и – маркиз, написанный на дереве: шляпа с пером, шотландский воротник, как в книжке "Принц и нищий"... Папа окрестил его "дядей", – папа был тогда веселым человеком. Когда денег совсем не стало, папа пытался маркиза продать, но оказалось, что это копия, и плохая копия. Была еще картина на кухне: на темном фоне огненно-желтая фигурка коленопреклоненной молящейся девочки и сноп такого же света в нижнем углу картины – я не понимала, откуда и зачем этот свет, и няня сказала, что, наверное, картина горела. Похоже на праерафаэлитов, как я теперь думаю.

В эвакуацию родители с Лялей уезжали, захватив только носильные вещи. Обратно в свою квартиру их уже не впус-

тили. Вещи, книги, картины растащили и распродали соседи. Я иногда думаю: сколько же раз родители были обобранны ради установления справедливого рая на земле?

На моей памяти отца сажали в тюрьму еще два раза: в двадцать восьмом и в тридцатом. В двадцать восьмом – на два месяца и выпустили с извинениями. В тридцатом – за вредительство, но потом эту страшную статью переквалифицировали на "халатность" и сослали его в Новосибирск. Оттуда он слал письма, вскоре вернулся, а потом – тоже довольно скоро, – судимость с него сняли. Но как он в двадцать первом году вышел из Чека – не знаю. Что помогло, или кто помог? Взятка? Чья-нибудь заступка? То и другое вместе? Ничего не знаю. Мама не рассказывала при мне – я была маленькая. А потом, когда я подросла, и мама и няня перестали вспоминать о прошлом.

Первое настоящее мое воспоминание тоже не очень настоящее: сон. Качели в дверях нашей гостиной, где для меня их вешали, на них катается девочка в синем платье, ее зовут Валя. И у меня к этой Вале вполне доброе чувство. Сейчас думаю: могла бы рассердиться, – почему она на моих качелях катается. Нет, не было у меня к ней таких чувств. Впрочем, ведь это был сон. Но похоже, что и наяву у меня их еще не было. Даже ревности не было – до самого рождения сестры. До пяти лет.

Другое воспоминание – страх и бессилие. Ночь, я сплю в высокой кроватке, никого нет, но кто-то стучит, сильно стучит в мою дверь, и никто не идет открывать, а я не могу встать – нет, мне даже в голову не приходит, что я могу встать, и я только реву, все громче и громче. Не знаю, как это кончилось. Помню, как вспоминаю об этом – гораздо позже! – и мама с няней спорят: я стучала! – нет, я стучала!

Еще одно, очень раннее, но уже после сна о качелях. Мы с няней идем по Соборной площади и видим, на улочке рядом, кажется, тоже называлась Соборная, толпится народ. Мы подходим ближе, и я слышу знакомое, но чем-то страшное слово – налетчик. И вдруг из ворот вывозят тачку, а на тачке лежит человек, и голова его, и лоб, и ли-

цо залиты чем-то красным, и это страшно, потому что человек такой неподвижный... А кто-то говорит: молодой такой!

Налетчик. Это было бытовое слово тогда.

Незабываемое воспоминание – прилив злости. Мы с Соней Уздин, девочкой из нашего дома, сидим на широком подоконнике нашей гостиной. И вдруг – без всякого повода – я вцепляюсь ей в волосы.

Может, повод и был – но я его не помню. Помню обуявшее меня чувство злости. С чего бы я так разозлилась? Да, Соня мне не нравилась, и голос не нравился, и лицо, и мне с ней было скучно – но такой взрыв?

Все меня стыдили – и мама, и няня. Сонин дедушка, маленький, седоусый, кипучий, увидев меня у ворот, стал сердито и быстро говорить, что меня за это надо наказать. А я ему нагло ответила, что меня никогда не наказывают (что было враньем), и тогда он, кипя, сказал: тогда я тебя накажу! Я не поверила, но все-таки немножко смутилась. И няня, пересказывая, что об этом происшествии говорил дедушка, восклицала в негодовании: главное – бант с головы сорвала!

Почему-то у Сони были только бабушка и дедушка. Она потеряла какой-то медальон – когда она гуляла с милой, молоденькой фребеличкой Марьей Марковной, и Сонина бабушка на Марью Марковну кричала. Марья Марковна приходила к маме и плакала...

Меня часто заставляли говорить "я больше не буду" – слова эти я ненавидела, они звучали для меня отвратительно; я упрячилась, меня шлепали, пока я не скажу эту проклятую формулу, – и только после этого меня отпускали на волю. Тут меня не отшлепали и "больше не буду" не потребовалось. Жалела ли я о том, что натворила? Нет, раскаянья я, видимо, еще не знала, мне просто хотелось, чтобы этого всего не было.

Раскаянье, и настоящее, даже с некоторым ужасом, я испытала, когда у меня уже были собственные дети. Моя двухлетняя дочка, смирная и послушная девочка, не унималась за столом, все хватала какие-то блюда, – наконец, одно упало и разбилось. Я гневно (воображаю, какое у ме-

ня было лицо!) поднялась со своего места и пошла к ней, – и девочка соскочила со стула, кинулась бежать от меня вокруг стола, повторяя: мама, я не буду, я скажу прощение... Боже мой, еще и сегодня сердце сжимается.

Ну, что еще? Несколько раз я "терялась" – тут меня охватывал настоящий страх. Куда-то пропадала мама, – вероятно, заходила в магазин, а я, нарушая обещание стоять смирно, отважно пускалась вперед, – и через несколько минут начиналась трагедия с рыданиями. Однажды я соблазнила любимую подругу, Наташу Попову, и мы, никого не спросив, самостоятельно отправились на Соборную площадь. Я начинала удивляться, отчего я так долго не вижу крест собора, – и вдруг увидела мамины сердитые догоняющие ноги в высоких шнурованных сапожках...

Самое для меня печальное и тогда, и потом было то, что никогда меня не наказывали безвинно. Я, когда была уже постарше и поначитаннее, иногда просто мечтала, чтобы хоть раз меня наказали несправедливо. Так нет же! Все бывало поделом – и так мне никогда и не удалось познать сладкое чувство оскорбленной невинности. Тюрьма не в счет!

Были обиды. Одну из них, горькую, помню до сих пор – не чувством, конечно, а памятью. Мне было четыре года, и я гуляла в группе с француженкой, мадмуазель Валери (няня называла ее Валеришкой!). Я была самая маленькая, – все старшие девочки были со мной ласковы, особенно совсем большая, Надя с локонами (под этим названием она навеки осталась в моей памяти). Но однажды в группе появилась новая маленькая девочка Аличка, которую старшие уже знали. Все они стали щебетать и ворковать вокруг этой Алички, даже "Надя с локонами", которая мне так нравилась. Может быть, раньше они щебетали и ворковали вокруг меня? Не помню, не уверена. Но тут я глубоко огорчилась. Очень помню свои страдания. Сказала ли я об этом дома? Не знаю, не помню – хотя, кажется, что-то мама мне ласково-утешительное говорила. Однако почему-то я долго потом не была ни в какой группе – лет до шести. Нет, это не была ревность. Это была именно обида.

Одесса, город моего детства. Дивный южный город, такой своеобразный, такой живой, такой... "Но солнце южное, но море – чего ж вам более, друзья, благословенные края". Меня обрадовали эти строчки, когда я наконец их прочла, – добравшись до Путешествия Онегина. В "Евгении Онегине" мне нравилась тогда только прощальная отповедь Татьяны: там я понимала каждое слово.

Южный город... В нем я мерзла каждую зиму – и на улице, и в квартире. На улице царствовал ветер. Иногда со снегом, называлось "завирюха", и смотреть на завирюху из нашего двустворчатого углового окна было интересно. Но чаще бывало, что снег лежит спокойно, и ветер царствует один, и режет, и колет, и бьет беспощадно. Я помню: мы с няней идем куда-то – недалеко, наверное, – но между краем моей шубки и краешками чулок у меня голые ляжки (с тех пор я помню это слово), и они багровые от мороза, и я реву, отчаянно реву, мне больно... Тогда полагалось девочкам носить коротенькие платица, а колготок никаких еще не выдумали, и были бумажные чулки, которые пристегивались к лифчику резинками, а у резинок были "машинки", и дети научались их кое-как пристегивать лет в шесть и застегивать три пуговицы лифчика на спине тоже... А на ноги, на ботинки, надевались боты, которым через сорок лет народ дал наименование "Прощай, молодость"... Боже, как мерзли в них мои ноги! А про руки я уж и не говорю – и про нос тоже. И зима была долгая, а печки в доме – высокие, до потолков кафельные голландки – топили не каждый день, а комнаты были большие, и мама обычно стояла и грелась у печки, а мне говорили: иди, поиграй!

Нет, все-таки скажу про руки. Были у меня шерстяные перчатки, с пальцами, которые (пальцы) были мне слишком длинны, так что собственные пальцы можно было из этих леденящих душу фуляров вытянуть внутри перчатки и стиснуть в кулак. Но все равно, – даже так в этих проклятых перчатках было еще холоднее, чем без них... И когда много лет спустя, уже совсем взрослой, я увидела

варежки – и сунула в них руки, я благословила холодный север, где знают, что человеку нужно. Южный город... Леденящий ветер с моря, а в доме не топят по-настоящему – зима, доскаты, недлинная. Неправда, в Одессе зима была очень даже длинная...

А лето? Жара днем, духота ночью, а на ночь полагается закрывать ставни. А когда днем гуляешь с фребеличкой – парами, держась за руки, а руки в поту, как в воде... А море – верно, море есть, но идти к нему далеко, мы ходим на Соборную площадь!

И все-таки... Идешь-идешь, и вдруг вдаль оно блеснет ровным-ровным, как по линейке проведенным, синим краем... Какая синева, какая невероятная синева.

Но – недостижимая, мнимая, неистинная, потому что, когда наконец вы спускаетесь на берег и видите море вблизи, у своих ног, – нет синевы, ушла к горизонту. Море тут, оно доступно – но цвет его совсем другой, зелено-желтый. Я уже знаю, от Жоржика, конечно, что если покрасить бумагу сначала желтым, а потом синим карандашом, то получится цвет моря. Вот этот самый, что у наших ног. Мне он не нужен.

Я думала – если подплыть к горизонту на лодке, то там ты ее, настоящую синеву, увидишь вблизи, – там ведь нет ни камушков, ни песка, ничто ей не мешает. Но нет ее и там, – когда мне исполнилось шесть лет, я в этом убедилась. Мы плыли на пароходе из Ялты – и ту невероятную синеву я опять увидела на горизонте, а о борт корабля разбивались серо-зеленые волны с белыми гребешками.

И с этим пришлось мириться. Что ж тут поделаешь, оно таксе, море, и какое бы оно ни было у берега, все равно есть у него та волшебная синева, нужно просто посмотреть вдаль.

Море было нашим бытом, нашей одесской данностью. И когда в Тирасполе меня, после долгих обещаний, повели на Днестр, я была разочарована.

– А почему... почему у него виден берег?

Тот, кто был со мной рядом, – дедушка или один из неженатых дядей – мне объяснил, смеясь (смех я запомнила, в нем всегда было что-то обидное), что это не море, а река,

а реке так и полагается иметь противоположный берег. Через несколько минут я привыкла к этому необычайному положению, но тут опять оказалась заковыка. Противоположный берег был красивее, чем тот, на котором мы стояли. Там, правда, не было синевы, но там была густая темная почти сплошная зелень.

— А, это лес, — объяснили мне, как если бы сказали: а, это другая улица.

Я никогда не видела леса, это слово я знала только на звук, по сказкам. Вот значит, какой он. И так близко! Мне очень захотелось туда. Я чувствовала почему-то, что это не так просто, но все-таки спросила:

— А можно нам туда... как-нибудь?

И тот, кто был рядом со мной, опять засмеялся и сказал:

— Туда нельзя — там заграница.

Конечно, ему было смешно. Этой загранице было столько же лет, сколько мне — года четыре, а вообще-то для него это были жалкие Бендеры, к которым большой военный город Тирасполь относился иронически. Но для меня...

Я больше ничего не спрашивала. Я уже знала это чудесное слово, звучное и звонкое. И знала, что заграница — это что-то прекрасное, куда уезжают безвозвратно, и что она недостижима.

Когда через десять лет я прочла в "Золотом теленке", что заграница — это миф о загробной жизни, я изумилась эмоциональной точности определения.

Я читала "Теленка" в тридцать третьем году — трудном и полуголодном, как все мои одесские годы. Одесса старилась и тихо разрушалась, как наша квартира, — здания ветшали и не ремонтировались, магазины давно уже не мыли своих витрин — все равно показывать было нечего! — и даже продавцы воды с сиропом, знаменитый Соловей и еще более знаменитый Кур, исчезли вместе со своими сиропами и сифонами... В этом старении, прямо скажем, не было прелести увядания, и Одесса, в которой я жила, не слишком мне нравилась. И все-таки, читая "Теленка", я испытала радость — да какую там радость! прямо-таки ликование, когда дело дошло до теплых морских ванн, и я узнала под

маской города Черноморска вот эту самую, мою Одессу, настоящую. Великая вещь – радость узнавания.

До этого Одесса мне встретилась в литературе только один раз – у Гарина-Михайловского в "Гимназистах", хотя она там и не названа. Просто – Тёма и его товарищи возвращаются из гимназии через Пале-Рояль!

Наш, наш одесский Пале-Рояль!.. Где, кроме Одессы, есть Пале-Рояль? Только в Париже – но при чем тут Париж? Как при чем? А где на самом лучшем месте города стоит французский герцог, и даже революция его оттуда не убрала? Вот то-то же.

Наверное, я все-таки любила свой дряхлеющий город – за его не такие уж давние воспоминания. Вряд ли москвичи или ленинградцы испытывали в своем читательском детстве такие бурные чувства. И то сказать – кто только о них не писал! Разбаловались, привыкли. Но у Гарина Одесса была не моя – улицы и площади те же, а звуки совсем другие. Ведь Одесса для тех, кто там вырос, – звучащий город. Конечно, у Пушкина она звучала, но не по-нынешнему; ни звонкой мостовой еще не было, ни тротуара из лавы. У Веры Инбер была та Одесса, о которой рассказывали мама и няня, интересная, но ушедшая. Бабель? Речь, говор, интонацию, словечки – словом, еврейско-русский воздух – я узнала сразу, но Одесса Молдаванки и Бени Крика была мне незнакома. Нет, как хотите, до "Золотого тельца" моей Одессы в литературе не было. Не было Одессы обывательской, ироничной, служащей, мухлюющей, голодной, комбинирующей, пляжной, музыкальной, обнищавшей, щеголеватой, уплотненной, застрашенной, языкатой, которая рассуждала не о светлом будущем, а о Лиге Наций, называла кремлевских мечтателей "эти бандиты" (Маркс и Энгельс – это для цензуры) и уже не мечтала о недостижимой загранице.

* * *

Я росла среди недостижимостей. Читаешь, например, в "Детской энциклопедии": "а знаете ли вы, дети, что наша страна это тоже царство-государство?" Бегу к маме, счаст-

ливая, и сообщаю ей эту новость. А мама объясняет, что у нас уже не царство, потому что нет царя, а только государство, "наше советское государство". Помню мамин спокойный учительский голос и эти три слова, помню и свое разочарование. Не книгой – действительностью.

Одна совсем маленькая недостижимость запомнилась мне своей ускользающей прелестью. Однажды утром няня взволнованным голосом позвала из столовой:

– Руня, беги сюда, скорей, скорей...

Я бросилась туда. Вижу – няня стоит около буфета, глядит на пол и приговаривает:

– Живое серебро! Интересно как! Ты смотри, смотри – ты ж никогда не видела! Да не туда смотри, а вот оно, вот оно... Живое серебро!

И наконец я увидела – маленький, очень маленький серебряный шарик, который катался, катался... Я присела на корточки, хотела его схватить. Куда там!

Няня уже смеялась:

– Да никогда не поймает! Оно такое – никому не дается. Ты смотри, как катается...

– Это ртуть, – сказала мама, которая тоже появилась откуда-то.

– Откуда она? Эта ртуть?

Слово "ртуть" я знала. "Живая, как ртуть". Это про одну девочку говорили, не про меня.

– Из термометра – Наташа разбила, она выскочила. Но ее надо поймать и выбросить в уборную – она опасная.

И на нее в конце концов накинута тряпка, как на хищного зверя, и выбросили. В уборную. Я поверила, что она опасная, именно потому, что уж очень это живое серебро было прелестное, веселое, заманчивое...

Нянины иконы (все, кроме одной, маленькой) висели в комнате, где жили мои игрушки (в той самой, где после тридцатого года жили пятеро Маламудов). Главная икона была Божья мать с младенцем, довольно большая. Я часто на нее смотрела и даже молилась, когда никто не видел. Про христианство я знала куда больше, чем про иудаизм, и вообще оно мне больше нравилось. Мимо нашего дома по другой стороне улицы каждое утро проходил батюшка

в рясе, и мы, все дети, бросались целовать ему руку. Я ему искренно радовалась – он казался мне очень добрым. Я ходила с няней в церковь – в наш Собор, на Соборной площади, мне там очень нравилось: негромко поют, и пахнет приятно, и все так роскошно и тихо блестит в дымно-золотом свете. Один раз там в церкви была свадьба – волшебная сказка. Жених и невеста были такие красивые, и над ними держали настоящие золотые короны, подбитые чем-то красным, и красноватый отсвет падал на их милые лица... Потом няня мне сказала, что это не короны, а венцы – ну, пусть венцы! А те, которые держали венцы, называются шаферы – это слово мне понравилось, хотя звучало странно.

По вечерам я видела, как няня молится перед единственной иконой, которая висела у нас в детской, – кажется, это был кто-то из евангелистов, в руках у него была книга... Я ее просила научить меня молиться, а она не хотела.

-- Ты просто говори: Боже, сохрани маму и папу.

– И няню!

– Ну, и няню...

И все. Молиться, как няня, тоже была недостижимость.

На еврейской свадьбе я тоже побывала – в ту же осень. Во дворе дома напротив нас. Там мне понравился только бархатный балдахин, под которым стояли жених и невеста, – но их лиц я не помню, а это означает, что они мне не понравились. И общий шум, и детский галдеж... Нет, я не увидела в этом никакой красоты.

И в синагоге, в Тирасполе, – единственная синагога, которую я видела в России, – мне тоже не понравилось. Ничего оттуда не помню, кроме оставшегося у меня чувства недовольствия.

Ветхий Завет у нас дома был – растрепанная книжка без переплета, в два столбика, по-еврейски и по-русски, вроде как краткое содержание Библии для русско-еврейских детей. Мне было пять лет, я уже читала все подряд. Так и эту книгу прочла, и не один раз – я любила перечитывать и запомнила многое, хотя представлять себе – зрительно – ничего не представляла. Ветхий Завет не тронул моего сердца – скорее, лег на него тяжело. Слишком много на-

казаний, и слишком суровых, и никогда нет счастливых прощений. Вероятно, еще и сухость изложения мешала. Через год, в Ялте, я прочла все это, и другое, совсем новое – в книге для детей издания М.О.Вольф, и называлась она "Моя первая священная история". Но рассказ о ней впереди.

Я была некрасивая, неловкая и, вероятно, угрюмая девочка. Однажды я услышала: "Какое у этой девочки старое лицо! Неужели ей только четыре года?" Это чужая взрослая женщина говорила, даже с некоторым страхом.

Взрослые меня не любили – впрочем, детям я тоже не нравилась: на Соборной, когда играли "в круга", меня редко выбирали. Меня это огорчало, но я привыкла. И когда смотрелась в зеркало, убеждалась, что дети правы: уж очень некрасивая. И эти проклятые веснушки. Они были огромные и коричневые, как фасоль, и не сходили даже зимой.

Это были каждодневные маленькие горести, а с пяти лет ко всему прибавилась ревность.

* * *

Няня появилась у нас, когда мне было два года. Ее фамилия была Фалатюкова – а может, и Филатюкова, как-то она не была уверена. У нее был муж когда-то, но о нем она никогда не вспоминала, так что папа даже сомневался, был ли он когда. Вспоминала она сына, Колю, который умер от сыпняка незадолго до того, как она у нас появилась. Он был большой уже – лет пятнадцать, вероятно. До нас няня служила горничной "в Эймонта" – Эймонтов знали мои родители, – а еще раньше – в экономии. Родом она была с Черниговщины, из старообрядческой семьи, но выйдя замуж (значит, был муж?), стала "как все". Однако, хоть сама она веру переменила, но всегда повторяла: в какой вере родился, в такой надо умереть.

Она меня одевала, купала, вычесывала, когда в голове заводился "песок" (завелся он однажды летом, когда мы съездили в Люстдорф), водила в церковь (но так и не окре-

мого и "Мойдодыра" я брала потом в семействе моего "первого жениха", Володи Генари. Моя книжка была дореволюционная, с ятями и твердыми знаками, сборник чьих-то рассказов. Про герань на окне (оказалось, герань – это калачик!), про телочку, которая чуть не утонула. И вот однажды, сидя на подоконнике – ах, эти удобные одесские подоконники! – и разглядывая свою книжку, я вдруг увидела, как буквы сбегаются и становятся словами. Я почти сразу поняла, в чем дело, и побежала наверх, на кухню, к няне, в большом волнении и все-таки еще не совсем веря, еще опасаясь, что это вдруг исчезнет и все станет, как было:

– Я умею читать!

Няня отнеслась к моему сообщению спокойно. Кстати, слово "няня" пришло позже, когда родилась моя сестра, – раньше я ее называла "Наташа", как мои родители. Тогда она считалась "нашей прислугой". Еще одно слово было живое тогда – "прислуга": это ваша прислуга или Зильбербергов? (В нашем доме жили в основном еврейские семьи.) Шурочка Мировская вдруг сказала:

– Почему ты так говоришь – прислуга?

– А как надо говорить?

– Ну – домашняя работница!

– Дура ты! – сказала я авторитетно.

И тут снизу, из подвала, где жили Виники со своей новой прислугой, раздался голос:

– Правильно, Шурочка, правильно! А вы все дуры!

Новая прислуга слышала наш разговор и высказала свое мнение. Я, удивившись, все пересказала маме. Оказалось, что права была Шурочка, – мама у нас вообще была прогрессивная. И даже няня после этого стала относиться к Шурочке лучше, чем к другим девочкам с нашего двора.

Было ли у меня чувство любви, осознанное? Любовь – чувство острое, порывистое, даже мучительное, с восторгами и восхищениями... Пожалуй, только к маме я его испытывала – мне нравилось, как от нее пахнет, нравилось ее лицо, ее руки с розовым маникюром, ее манера говорить, голос, да и то, что она говорила, тоже. Я страстно любила некоторые ее платья – особенно одно, фиолетовое шифоновое с набивными бархатными цветами: в день своего че-

тырехлетия я рыдала, требуя, чтобы мама его надела. Мамой я любовалась. А няню я не отделяла от себя – какое уж тут любованье! Да и она ко мне относилась спокойно. Ее настоящей любовью стала моя младшая сестра – с ней у нее был настоящий роман.

У меня с няней романа никогда не было, но я ее попрекала изменой (слово было не это, но смысл именно такой). Однако она еще долго была мне ближе, домашнее, чем мама. И к ней на кухню я пришла лет через восемь, перепуганная, и показала кровавые пятна на рубашке. Я "все знала", и знала, что это должно прийти, но, как всегда бывает, не узнала, когда пришло. Вечером мама со мной поговорила – когда вернулась со службы. Она тогда, в тридцать первом году, впервые за много лет стала "служить" – секретарем завкома на заводе Иванова. Папа был в ссылке, но я этого не знала, – называлось, что он служит в Новосибирске. Тогда еще говорили "служит". Не "работает", а "служит". Помню, в трамвае, дама спрашивает маму:

– Ваш муж служит?

– Нет, чистый, слава Богу! – отвечает мама с сарказмом, который я сразу различила.

И помню: рыдает соседка на дачной террасе и вдруг начинает клониться назад, и мама кричит: подушку! подушку! – и няня бежит с подушкой... Мужа соседки "вычистили", и теперь она падает в обморок, потому что опять ее родители должны их содержать... (Это я улавливаю из разговора, потом.) Служба, чистки, мое беспечальное детство, отчаянная ревность...

Странно, я помню ушибы, уколы, толчки, горести, страдания, сознательные и бессознательные. Словно бы это были единственные опознавательные знаки. Эти – как их назвать – раздражители? Значит, раздражители и есть те светящиеся в темноте камушки Мальчика-с-пальчика, которые ведут душу по дороге воспоминаний? Но не у всех же так? Вот – Толстой. Не в "Детстве", это литература, а в настоящих своих воспоминаниях. Мне помнится, что это воспоминания радостные, веселые... Посмотрела – в общем, так и есть, но первое, самое первое воспоминание, даже у него – о страдании.

Но есть, есть и приятные воспоминания. И первое, и главное – Соборная площадь, куда мы ходили с няней. Девочки постарше играли у нас на улице в горелки и в "А мы просо сеяли". А на Соборной мои ровесницы играли "в круга". В сущности, водили хороводы. И пели, и изображали, и приплясывали... – "Жила-была царевна", "Гоп, милый карлик мой!", "Там, за лесом, там, за перевалом", "За цветком я ходила", "В этой корзинке есть много цветов". До сих пор помню все песни. Где они? Была я после войны на той бывшей Соборной, которая стала называться Красной Армии или что-то в этом роде, – на скамейках одни пенсионеры, ни "кругов", ни неорганизованных детей. Кончилась эра домашнего воспитания, фребеличек и нянь. Новое время – новые песни. Мои дети, с которыми я воссоединилась в пятьдесят четвертом году, играли в гулком ленинградском дворе в "Аты-баты, шли солдаты" и "Почем слуга" и не пели ничего – в Ленинграде не запоешь.

Соборная площадь

Она находилась в трех кварталах от нашего дома, если идти по Спиридоновской. Но эта дорога была неинтересная – низенькие домики, в последнем – мастерская всегда грязного керосинщика – наверное, он и углем торговал? – и потом какой-то непонятно протяженный дом Попудовой. Куда лучше было идти по прекрасной, прямой Карангозовой (потом Гулевой, потом Льва Толстого). Там были высокие трехэтажные дома и тень, а в южных городах она дороже солнца. Там был широченный тротуар, сплошь покрытый нечастьем у нас асфальтом, в котором даже можно было разглядеть мелкие камушки. Не то, что наши тротуары на Кузнечной и Спиридоновской, – гладкие, скользкие, совершенно одинаковые серые квадратные плитки по четыре в ряд. На них дамские каблучки цокали, и когда наступала весна, и окна расклеивались, я слышала это цоканье, даже сидя дома. На асфальте они стихали, а мои подметки чуть слышно шурхали. Правда, классы, которые были и здесь, на этом асфальте нарисованы, были не "аэро-

планчиком", как у нас, а каким-то неинтересным прямо-угольником. Видно, такой тут был обычай. И еще на этой улице была гимназия. Так, по-старому, ее называла няня, хотя теперь это была школа. Здание (а может быть, и слово "гимназия") казалось мне таким красивым, что именно сюда я мечтала поступить, когда наконец мне исполнится восемь лет.

И до всей этой красоты надо было пройти по нашей Кузнечной всего один квартал вверх. Кстати, в Одессе не говорили "вверх" или "вниз". Она ровненькая, моя Одесса. Это вам не Киев! Только к порту с бульвара надо идти вниз по лестнице. По той самой лестнице, Потемкинской, то есть Эйзенштейновской. Каких только чудес я про нее не читала потом! Лучше всего у Жюль Верна: беломраморная красавица, и Черное море омывает нижние ее ступени. Когда я это прочла, мне страшно захотелось ее увидеть. Когда же увидела — лет в двенадцать (в детстве я на бульваре не бывала, он был слишком далеко), — то даже себе не призналась, как обидно разочарована. Но к этому времени я уже привыкла, что в книжках все лучше, чем в действительности.

Мы идем по прекрасной Карангозовой, и вот уже — вот уже — я вижу далеко впереди золотой крест! Еще долго идти — а его уже видно! И радость поднимается во мне: скоро, уже скоро, уже вот-вот!

Странное дело: Нина Сигал, дочь знаменитого доктора, боялась церквей. Я узнала об этом, когда мы обе стали студентками в Ленинграде. Как-то она совершенно между прочим, говоря о Смольном соборе, сказала: "Красивый, да. Но я же боюсь церквей". Так, как если бы я должна была это знать. Ей вообще казалось, что я все о ней знаю. Конечно, я спросила: почему? И она ответила: так! Я больше не спрашивала. Бывает! Наша знакомая Тоня — первая свояченица Валентина Катаева, между прочим, боялась кукол. Фарфоровых. Однажды я, пятилетняя, вошла в комнату, таща громадную, почти с меня ростом, куклу, — и она закричала, вскочила с дивана и лицо руками закрыла... Как я испугалась! И потом, когда мама мне сказала, что Тоня, взрослая, хоть немножко не такая, как все, Тоня боится

кукол, — я не могла понять: как же можно их бояться? Они ведь такие красивые.

Странные идиосинкразии — так это называется? — бывали у одесских евреев. Ну, Тоня — она пережила революцию, гражданскую войну, может быть, даже погромы. Но Нина? Такая интеллигентная семья, такая русифицированная — там даже бабушка отлично говорила по-русски... Бабушка была урожденная Рубинштейн — из этой самой фамилии. Близкий родственник — Рейнак, президент Французской академии; одна из Нининых теток жила в доме Рейнака в Париже. Рубинштейны. Консерватория. Сама Нина училась музыке у Берты Михайловны Рейнгалд — той, которая учила рыжего мальчика, Эмиля Гилельса. А отец Нины, знаменитый доктор, иногда дирижировал Одесским симфоническим оркестром в зале Биржи...

Откуда же был у Нины этот страх, где, в чем он гнезился?

У меня к церкви было отношение другое. Тихий восторг — наверное, так. И к священникам тоже. Одного помню до сих пор.

Зимой тридцать пятого года — мы были в девятом классе, я и Аллочка Финк... Может быть, не зимой еще, а поздней осенью? В общем, мы шли из школы ко мне, через Соборную площадь, мимо Собора. Кто из нас сказал: зайдем? Наверное, она. И мы зашли, и меня обдало счастливым, детским, не вполне забытым (мы с няней нередко сюда заходили), — милые сердцу запахи, ладан, свечи, и полусвет — полутьма, и полутушина, потому что слышится один только голос — негромкий, объясняющий... Мне теперь кажется, что священник, который говорил этим голосом, стоял не на возвышении каком-нибудь, а внизу, среди тех, — или перед теми, — кому он говорил. Возможно ли это? Надо бы проверить. Но даже если это не так — все равно, главное, что мне так кажется не только теперь, но и тогда казалось, вероятно, всем, кто его слушал. Тогда был праздник Николы Мирликийского, и священник объяснял людям, что значит быть "образом кротости", Никола Мирликийский и был таким образом кротости. Так мне нравились эти слова, так нравился мягкий, объясняющий голос,

так светло я это помню... Потом люди стали на колени – Аллочка дернула меня за руку, и мы тоже стали на колени... Она была прелестна, Аллочка, – веселая, шаловливая (наш математик называл ее так: "Ну, а теперь полумальчик-полудевочка – Гала Финк!"), радостная, добрая. Казалось, ей и в голову такое не могло прийти – в Собор пойти, проповедь слушать, на колени становиться... А вот же – могло! Велика в юности потребность в добром – *добром* – слове. И в молитве украдкой. И для этого посреди площади стоял Собор, и мы, еврейки, туда пришли.

Это был последний год, когда Собор существовал. В тридцать шестом году его разрушили. Взорвали. Но к этому я еще вернусь. А сейчас я хочу выйти, наконец, на Соборную площадь.

Мы все еще идем по Карангозовой улице (вообще-то она называлась улицей Карангозова, но Карангозова никто не помнил, и фамилию быстро перевели в притяжательное прилагательное), по правой стороне и, наконец, проходим мимо невзрачного одноэтажного дома – там школа-семилетка, которую я окончу в тридцать шестом году, а потом она перестанет существовать, и на ее месте вырастет другая, полноэтажная, по каким-то неправдоподобным слухам выстроенная из камней взорванного Собора. Но мимо, мимо, мы уже перешли через дорогу – и оказываемся, наконец, на Соборной площади, на Главной широкой аллее. Справа Собор, высокая колокольня с тем самым крестом, который издали видно, слева – памятник, черный, великолепный памятник, мужчина во весь рост, в накидке. Он стоит так высоко, что к нему не доберешься – площадка цементная, в середине возвышение горкой, а на нем еще одно возвышение, цоколь, черный и блестящий, и на нем надпись золотыми, кажется, буквами... И лицо памятника так высоко, что его не видно. Что это памятник Воронцову, я узнала позже, а сначала он просто назывался Памятник. Недоступный Памятник. Он еще и оцеплен был четырьмя цепями, которые свисали с низеньких столбиков, как гирлянды. На них можно было качаться – но было неудобно.

Ну, памятник – это Памятник, и вокруг него ничего

такого особенного не происходит. Происходит на трех обсаженных каштанами аллеях, где скамейки, на каждой скамейке фребелички, немки и русские, и бонны, или няни, или гувернантки даже (хотя их уже почти повывели и так не называют). А главное – дети, много детей, и гораздо больше девочек. Мы с няней тоже садимся там на скамейку, и я жду, когда же ко мне подойдут и скажут: девочка, хочешь играть в круга? Еще бы я не хотела! Я только этого и жду. И мы, вместе с той, что приглашала, бежим в сторонку, где есть для круга место, – скорей, скорей, круг уже строится. Когда я научилась играть "в круга"? Года в четыре, наверное. Ну, еще раньше, совсем рано – в "Каравай". Но это совершенно детское, комнатное, именинное, для самых-самых маленьких, они еще и ходить не умеют, а уже, вместе с мамами на всех именинах вопят: вот такой вышины, вот такой нижины... Нет, на Соборной такого не услышать. Соборная – это "Гоп, милый карлик мой, приходи к нам поскорей, мы будем все с тобой играть, мы будем все с тобой скакать! Гоп, милый карлик мой!" И карлик, который вприпрыжку скачет вокруг хоровода, на скаку ударяет кого-нибудь по плечу, и теперь они скачут вдвоем под ту же песенку, а в кругу каждая ждет, замирая, – меня ударь, меня!..

А теперь – "Там за лесом..."

Кто-то командует, наверное, из старших. И начинается чудная, любимая, может, в основе и в самом деле цыганская. Целая пьеса, с предварительным распределением ролей – впрочем, во всех хороводах роли предварительно распределяются. Голосования не бывает, кто-то старший говорит: ты будешь цыган (ударение, конечно, на первом слоге), а ты – цыганка, а ты...

Запишу сюда "цыганскую", пусть не пропадет. Только помните: каждая – каждая! – строчка повторяется два раза:

Там, за лесом, там, за перевалом,
Гай, гай, там, за перевалом,
Там цыгане пили и гуляли,
Гай, гай, пили и гуляли.
Один цыган не пьет, не гуляет,

Гай, гай, не пьет, не гуляет,
Он себе невесту выбирает,
Гай, гай, невесту выбирает.
(Подходит к какой-нибудь девочке в кругу.)
Ты, цыганка, будь моя служанка,
Гай, гай, будь моя служанка!
(Избранница гордо отвечает:)
Не хочу я быть твоей служанкой,
Гай, гай, быть твоей служанкой,
А хочу я быть твоей невестой,
Гай, гай, быть твоей невестой!
(Цыган весело поет:)
Отмывайте сундучки дубовы,
Гай, гай, сундучки дубовы.
(Все отмывают воображаемые сундуки.)
Одевайте вы мою невесту,
Гай, гай, вы мою невесту.
(Те, кто стоит поближе, делают всякие движения, будто ее одевают.)
А мы с нею сядем и поедем,
(Жених и невеста берутся за руки крест-накрест и начинают скакать вокруг круга.)
Гай, гай, сядем и поедем.

Вот такая песня. Или, вернее, хоровод.

И еще один хоровод, который все любили, полностью переведенный с немецкого, с сохранением мотива:

Жила-была царевна, царевна, царевна,
Жила-была царевна, прекрасна-молода...

И дальше идет вся история спящей красавицы, со злой феей, с оградой (хор изображает выросшую вокруг дворца ограду, становясь на цыпочки и поднимая руки) и, конечно, с царевичем, который скачет на коне и будит спящую царевну. Как положено.

По-немецки это не царевна, а кто-то попроще: Dornröschen war ein schönes Kind, schönes Kind, schönes Kind... и так дальше.

Во дворе у нас — у няни, которая и обед готовила, и уби-

рала, редко оставалось время для Соборной площади, и я обычно играла во дворе, – хороводы не водились. Играли больше в прятки. Двор у нас был колодец, конечно, но не глубокий, и мы, дворовые дети, свой двор любили, особенно весной, когда там так весело было кричать – голоса звенели, отдавались... Иногда мы пытались затеять какую-нибудь "Жила-была царевна..." – но не получалось. А во дворе напротив, где жила моя подруга Женя, – получалось, у них была своя песня:

Звездочка ночная
Светила при луне,
Девушка молодая
Служила при дворе.
И сам король, вздыхая,
Девушке говорил:
– Девушка молодая,
Ты полюби меня,
Я дам тебе колечко,
Ты будешь им владеть.
– Не надо мне колечка,
Не буду им владеть,
Отдай своей принцессе,
Прекрасной, молодой,
А мне, простой девушке,
Душевный дай покой.

Это длинная песня. Король предлагает под конец все царство, – а девушка все-таки сохраняет свою добродетель. Не знаю, откуда эта назидательная песня. Но тут тоже были роли: во-первых, "звездочка ночная" – над какой-нибудь девочкой помладше поднимали руки воротцами, и она получалась в рамке и улыбалась. Ну и конечно, король и девушка. Мальчишки в это не играли.

Этот дом напротив, двухэтажный, был желтый. В нашем городе здания были, как правило, серые, не знаю, почему. Может быть, мне так кажется?

Но нет, какой дом ни вспомню, кроме этого, напротив, – он серый. Мода, что ли, была такая? Или считалось – благороднее, и на Париж похоже?

Но в этот, желтый – нет, желто-зеленый – зеленовато-желтый дом и в его очень интересный двор я попала поздно: мне уже исполнилось девять лет, и я уже имела от старшей подруги сведения о том, что такое любовь – не очень точные, и я им не очень верила. В общем, начиналось отрочество, куда раньше, чем у Николеньки Иртеньева. А я хочу рассказывать про Соборную площадь. Про детство.

Еще помню шумные детские вечера – елка у дочки какого-то папиного сослуживца: смутное – еще до четырех лет – но приятное воспоминание, пахнущее елкой и мандаринами. И мои собственные именины – мне четыре года, все танцуют, и моя тетя Лиза командует: "Маленькая с большой! Маленькая с большой!" И высокая большая Люся Виник танцует со мной – такая большая, такая красивая, а ее сестра Белка с огромной взрослой Олей из тети-Лизинной квартиры... Потом я обношу всех моих гостей коробкой "бальных" (марципановых) конфет – и знаю, что мне полагается взять только после всех. Я свою уже наметила – светло-голубую. И вдруг Лиля Сикирянская ее берет, и я, кажется, делаю движение, чтобы не отдать, и все взрослые смеются, объясняя друг другу мои чувства, и тут я замечаю, что есть еще одна такая же конфета, и уже отдаю ее Лиле, но она отказывается – такая гордая девочка... Я о ней услышала через тридцать с лишним лет – от специалистки по Индии, Коки Антоновой.

– Со мной работала такая – Лиля Сикирянская. Похожа на вас. Она вам не родня?

Я удивилась.

– Нет, просто девочка из нашего дома. Как странно... Пожалуй, мы в детстве были в самом деле немножко похожи, но Лиля мне очень нравилась: в ней было изящество, грация, легкость, чего во мне не было.

– Она умерла, знаете?

Я замолчала – это было как удар. Лиле в моей памяти было по-прежнему пять лет...

Все, о чем я тут рассказала, – события "от двух до пяти". Пять – это рубеж. И хотя мне пяти лет еще не было, все равно для меня этот рубеж – день рождения Жоржика. Жоржик – сын Полины Львовны. Он гораздо старше меня:

ему исполняется восемь лет. Я никогда его не видела, но давно уже знала, что пойду к нему на именины (в Одессе так назывались дни рождения). Я чувствовала, что и папа с мамой к этим именинам готовятся, как к празднику. Это им все тоже было внове. Жоржик жил далеко – мы ехали туда на извозчике.

И вот – мы приехали. Вошли. Большая, даже огромная, комната; много детей, много взрослых; главное в комнате – альков или, может быть, эркер, с мраморным усатым бюстом (как выяснилось, это был бюст Жоржикова дедушки). Потом около этого бюста незнакомые дети представляли басни Крылова – "Кукушка и петух", "Демьянова уха"... Я этих басен не знаю, но слово "басниккрылова" знаю от няни. У девочки, которая кукушка, на голове огромный черный бант ("пропеллер", так эти банты тогда назывались).

Слов я не понимаю или не разбираю – и потому мне скучно. В "Демьяновой ухе" я даже названия не поняла; уже дома мне его объяснила мама... Потом мы под музыку ходим вереницей по всем комнатам – это называется *grand rond*, и эти слова я понимаю; у нас у всех на головах бумажные шапки – у меня бледно-голубая. Взрослые говорят "польская", мне она нравится, главным образом из-за цвета...

Именинник, Жоржик, оказался очень обыкновенным мальчиком с веснушками, и я его почти не запомнила. Но там был другой мальчик – Жорж Большой. На нем была красная бумажная феска. Он был всех выше и всех старше – одиннадцать лет! – и у него было красивое смуглое лицо и голубые глаза. Вот этого мальчика я запомнила на всю жизнь, хотя так никогда в него и не влюбилась – это было не для меня! Странное, но верное чувство. Зато в него влюбилась моя трехлетняя сестра, и на вопрос "за кого ты выйдешь замуж?" – отвечала с нежной улыбкой:

– За Жоржа Большого.

Знакомая феминистка-американка с удивлением говорила мужу:

– Вот все русские придают такое значение красоте... А ведь это совершенно неважно.

Муж с готовностью согласился – его феминистка была отнюдь не красавица.

Может, феминисткам удастся в конце концов убедить в этом не только своих, но и чужих мужей? И тогда, наконец, "настанет эпоха, которой не выдумать и не рассказать"? Женщин – наиболее юных – они уже убедили. По крайней мере четырнадцатилетняя девочка, слышущая среди взрослых красавицей (сверстники этого еще не заметили), объясняла мне:

– Ну что ж тут такого, подумаешь! Красивая, некрасивая... Это же не мой achievement!

Как вы понимаете, девочка эта возросла в Соединенных Штатах и прониклась современными идеями. Теми, которые идут от наиболее глупых взрослых.

"Красота мир спасет, красота мир спасет"... Ох, уж эти мне русские классики! Все на что-то надеялись. Вот – на красоту! И Успенский – Венера Милосская что-то там выпрямила... А еще демократ был.

Но вспоминаю, как подросток в метро смотрел на Галю Людмирскую: открыл рот и смотрел. Как на картину – безнаказанно. Она и не заметила.

Может, красота и спасет мир? Если захочет.

Пора бы уже.

Вот какие надежды разбудили во мне воспоминания о Жорже Большом.

И еще одно. Когда я, через несколько лет, стала читать Чехова – он у нас в шкафу стоял достаточно низко, так что я легко его оттуда доставала, – один из первых рассказов, который я прочла, был "Володя Большой и Володя Маленький". Он показался мне написанным про наших знакомых. Все было похоже – манера разговаривать, прозвища (Большой, Маленький), имена (в других взрослых книжках если и встречался Володя, то только как Владимир!). Героиню звали Софья Львовна, как нашу знакомую, и даже чем-то неуловимым она была на нее похожа... А еще там было несерьезное отношение ко всяким высоким вещам – к любви, например. У нас за столом взрослые иногда о любви говорили, но не так, как говорят в книжках, а именно вот так, как в этом рассказе. Несерьезно.

И там тоже, как в нашей жизни, ничего особенного не случилось. Софья Львовна любит Володю Маленького, а он ее ничуть не любит и только над ней смеется, и вообще через неделю он ее бросил. Ну и что? И ничего. Все как было, так и осталось. И этот Володя Маленький – он совсем не такой, как, скажем, Печорин, – он как будто из другого времени, из нашего... Мой папа, например, тоже напевал "Тарарабумбию". И эта противная привычка Володина над всем смеяться тоже как у наших взрослых, и у мальчиков тоже – вот и Жорж Маленький такой.

А Жорж Большой надо мной не смеялся – он редко смотрел вниз, где копошились малыши.

И теперь – легкая пробежка по десятилетиям. Когда мне было лет четырнадцать, я овладела искусством тогдашних западных танцев. Танцев было два – танго и фокстрот. Я была ритмична, послушна и даже знала несколько эстрадных "закидонов". Мальчики любили со мной танцевать. Жорж Большой попросил, чтобы я его "этому делу" научила. Он был уже совсем взрослый, учился в Водном институте (был такой в Одессе), но как-то умудрился, прожив в нашем музыкальном городе всю жизнь, не запомнить ни одной мелодии. Все знали, что ему медведь на ухо наступил, и ему это не мешало. Но после официального визита Ворошилова в Турцию, когда наши моряки, не умевшие танцевать, покрыли свою страну несмываемым позором, грешные западные танцы были разрешены в приказном порядке. И все заплясало. Патефонов было еще мало – но пианино не было редкостью, и в каждой компании кто-нибудь умел играть фокстроты по слуху. У одной девочки даже было прозвище: сто четырнадцать фокстротов. В этой ликующей обстановке не уметь танцевать было просто невозможно. Жорж Большой это понял, я тоже, и потому взялась за дело серьезно. Музыка у нас не было – сестра была еще мала, о патефоне не могло быть и речи, но я знала все мотивы и голосила:

– Ах, у нас в Венеции очень жарко,

Вышла покормить я голубей...

– На каждые два звука один шаг, понимаешь? Аху – шаг, насвве – шаг, нецыи – опять шаг... Ну! Аху-насвве-

нецы-очень жарко... И тут ты меня поворачиваешь...

Нелегко учить танцевать человека, которому ты доходишь до солнечного сплетения. Но мы оба так старались, что, по мнению няни, были точь-в-точь как деревянная игрушка "пильщики": то один потянет, то другой... Звонил телефон, подходила Ляля – у меня не было времени, мы танцевали.

– Кто звонил, Лялечка?

– Маня Штрамбрандт, спрашивала уроки.

– Кто? – Жорж останавливался. – Как ты говоришь, ее фамилия?

– Штрамбрандт, а что?

– Штрам-брандти-брандт?? Представляю себе!

Жорж сел на диван, вытянул ноги – все-таки передышка от танцев! – взял со столика газету:

– Я себе представляю: учитель первый раз входит в класс. Разворачивает журнал (развернул газету). Начинает разбирать фамилии, где-то спотыкается – все в первый раз же... И вот, уже думает – все! – а тут его ждет такой подводный камень. Штрам... ба... ра... Штрамра...

Речь у Жоржа была одесская, чуть жлобская, что очень нравилось девочкам. Смягченные "ш", "ж"... В общем, "Жёра, подержьи бушылат". Он говорил "Шьтрамбанд" – и мы хохотали. Это было смешно, но не обидно.

Мое чувство юмора пробудили – а может, породили – книжки, которые папа покупал на вокзале, когда ездил в командировки. Аверченко ("Развороченный муравейник", позже "Веселые устрицы"), Тэффи (по-моему, книга так и называлась – Тэффи), Вера Инбер ("Соловей и роза"), "Мендель Маранц" Давида Фридмана. Как я благодарна этим дивным авторам. Обогадили, одарили, озолотили. Сколько же раз в моей жизни чувство юмора спасало меня – да и теперь иногда спасает. А ведь я еще и сопротивлялась, зачем насмеваются!

Жорж Большой ни над кем не насмеялся – он был веселый, но добрый.

– Хороший мальчик! – говорил мой отец.

Мама что-то шептала ему, чтобы я не слышала. Он усмехался.

– Ничего. А как бы ты хотела? Такой красавец...

– Сильве с ним так трудно, так трудно... (Сильвой звали его мать.) И все это знают, а она никогда ничего не рассказывает...

– Потому что Сильва Борисовна благородный человек. Это было у папы самое высокое определение.

Наши танцевальные занятия продолжались недолго. Особенных успехов мой ученик не сделал, но после нескольких уроков решил, что уже может рискнуть – в толпе, среди других...

В дальнейшем мы с Жоржем виделись очень редко – раз в несколько лет. Один раз перед самой войной в Риге.

Прелестным майским днем сорок первого года я сидела с элегантной польской беженкой в знаменитом рижском кафе Шварца; мы вели изящную светскую беседу за кофе с пирожными, и обе, как могли, изображали друг перед другом прустовских парижанок. Вдруг моя собеседница, сидевшая лицом к двери, замолчала на полуслове, с вилкой на полпути ко рту. За соседним столиком дамы тоже перестали есть и уставились на дверь, как влюбленный эфиоп в песне Галича. Я обернулась и увидела, что вошли три русских моряка. Один из них, огромный, черноволосый, смутный и голубоглазый, был Жорж Большой. Я сразу его узнала.

И еще один раз – в Ленинграде, куда он, как оказалось, переехал после войны. Вот как это было.

Я сидела за машинкой в нашей единственной комнатке, сочиняла очередную рецензию для журнала "Звезда" и вдруг стала прислушиваться: в кухне разговаривали про Сильву Борисовну. Свекровь спрашивала нашу няню Симоннову:

– Что это за Сильва Борисовна такая? Ниночка все играет в Сильву Борисовну. Целое утро только и слышу...

– А это вчера в трамвае с нами женщина ехала, ее так звали... Она стала с нами разговаривать, Ниночку спросила, как маму зовут, как папу... Потом говорит: а меня, говорит, зовут Сильва Борисовна...

Тут я не утерпела и вышла в кухню. Второй Сильвы Борисовны на свете быть не могло. Оказалось, что она даже

свой телефон дала, на всякий случай, – если я та самая Ру-ня. Она, видно, тоже решила, что второй Руни в Ленинграде быть не может. И не ошиблась.

Я позвонила сразу же. Сильва Борисовна сказала: я одна, молодые на работе, внук в садике... А вечером все будут. Приезжай, не откладывая – Жорж будет так рад! Сегодня и приезжай.

Я не стала откладывать – и правильно сделала: 1949 год был у самого порога.

В эту зиму антисемитская атмосфера здорово сгустилась над Ленинградом, да и над всей страной. И потому очень скоро после первых "сколько лет, сколько зим" и "где Печерыца, где Свербыгуз" разговор соскользнул на это самое и дошел до погромов – Сильва Борисовна их помнила...

Они – Жорж, его очень обыкновенная жена, маленький сын и Сильва Борисовна – жили в двух больших красивых комнатах. В коммуналке, правда, но тогда так жили все. И как сейчас вижу и слышу: Жорж стоит на фоне высоченной голландской печки, украшенной зелеными изразцами, и говорит, со своей доброй улыбкой, мягко, чуть по-одесски, по-жлобски:

– Я же их не боюсь. Я же знаю, что делать. Соберу своих ребят, и мы их встретим...

Я сразу поверила – встретят. Как надо. Со своими ребятами.

При каждой встрече с ним я дивилась – до чего же он не меняется.

Теперь я думаю, что он просто всегда оставался самим собой, независимо от места и времени. Редкая, редчайшая черта.

Теперь Жорж и его жена живут одни – сын где-то в Америке... Жить им трудно – Жоржу уже за восемьдесят. Но уезжать не хочет.

Не хотел – долго. Но вчера мне сказали: едут к сыну. Жена болеет.

Моя сестра и дача

Моя сестра родилась шестнадцатого марта тысяча девятьсот двадцать четвертого года.

Перед этим событием я две ночи спала у моей собственной Тети Лизы, у которой тогда еще не было детей. Спала я на двух мягких стульях, обитых зеленой материей, это было удобно и интересно, а днем я бегала по Тети Лизиному длиннейшему коридору, по обе стороны которого были комнаты. Я заглядывала то в одну, то в другую, и мне всюду были рады. В этой еще не коммунальной квартире не было детей – только взрослые девушки, дочки хозяйки. И жильцы: Тетя Лиза с мужем были жильцы, и еще в двух комнатах жили консерваторки. Одна консерваторка, Соня, пела вокализы, а другая, Феня, играла на пианино, очень хорошо играла и разрешала мне сидеть у нее в комнате и слушать. Меня еще не начинали учить музыке – училась моя мама и играла в четыре руки с моей будущей учительницей Анной Ноевной: до-до, ми-ми, ре-ре, до-до... Очень приятно было смотреть на мамины маленькие руки с розовым маникюром, и мелодия была нехитрая и приятная, – но Фенина музыка была совсем другая.

Я уже третий день жила у Тети Лизы и совсем как бы привыкла. И вот, сижу я вечером у Фени, слушаю шумную, но красивую Фенину музыку и боюсь, что меня вот-вот позовут спать. И действительно, на самом красивом месте заглядывает Тетя Лиза и молча, чтобы не мешать музыке, манит меня за дверь. Я неохотно поднимаюсь, хотя лицо у нее веселое. Она заводит меня к себе, а там – вот удивление! – сидит няня, тоже веселая. Тетя Лиза усаживает меня к себе на колени и негромко, улыбаясь таинственно, сообщает:

– Слушай, няня за тобой пришла. Дело в том... мама родила – девочку – маленькую.

Я очень обрадовалась. Меня не раз спрашивали, кого я хочу – девочку или мальчика? – и я была тверда. Только девочку, кому нужны мальчики?

Появляется Сара Семеновна, хозяйка квартиры, и спрашивает про что-то непонятное, а потом я слышу:

– А какая девочка? Черненькая? Беленькая?

И няня, вроде как стесняясь, говорит:

– Кажется, рыженькая.

У меня чувство разочарования – я надеялась на беленькую. И вообще рыжий – это некрасиво... Но я надеюсь, что няня ошиблась.

Помню, как мы с няней шагаем по снегу, и он так весело скрипит – или хрустит – у нас под ногами... Март, шестнадцатое марта тысяча девятьсот двадцать четвертого года.

И потом няня говорила:

– Ляля у нас весенняя.

– А я?

– А ты... Ты – предвестница весны.

День моего рождения, по русскому, еще, наверное, до-христианскому поверью – сретенье – когда зима с весной встречаются.

Я понимала, что родиться весной все-таки лучше, но слово "предвестница" меня утешило.

Мою сестру называли строго по Библии – Ноэми, но сразу же стали звать Лялей – милое имя, и я даже встречала его в книжках. У меня тоже было красивое имя – Руфь – такое тонкое, взлетающее... Но так меня никто не звал, звали Руней, и это имя я ненавидела – оно казалось мне уродливым, неблагозвучным, и к тому же нигде никого так не звали – ни в жизни, ни в книжках. Я даже маму с тоской спрашивала – почему, ну почему меня так некрасиво зовут? Что-то она объясняла про богатую умершую родственницу, которую так звали; от ее наследников ждали за это хорошего подарка – да не получили. Меня вся эта история ничуть не утешила. Как только я уехала из Одессы, я начала от этого имени избавляться: в Университете я была Руфь, Руфка (это Ахилл Левинтон, конечно!), Руфочка... А в Испании и для тех, кто меня там знал, я навсегда осталась Ритой. Но в Ташкенте, когда я вышла замуж, и мы жили вместе с моими родителями, имя Руня вернулось уже навсегда. Я и сейчас его терпеть не могу, но тут уж горю не поможешь.

Очень скоро после того мартовского дня мы с Тети Лизой уехали в Тирасполь, на Пасху. Может быть, тогда меня и свели первый раз на Днестр. Но помню я только, как мы

с Тети Лизой, уже после Пасхи, сидим в поезде, который идет в Одессу, но он не идет, стоит, стоит, долго-долго, и в нашем вагоне поют солдаты:

О чем, дева, плачешь?

О чем, дева, плачешь?

О чем, дева, плачешь?

О чем слезы льешь?

Один веселый сероглазый солдат сидел напротив меня и запомнился, очень хорошо пел. Но о чем она плачет, я так и не узнала – хотя слушала внимательно. Она отвечала:

Да как мне не плакать,

Да как мне не плакать,

Да как мне не плакать,

Как слезы не лить?

И все, на этом песня кончалась.

А вокруг какие-то разговоры про крушение поезда. Я спрашиваю, что значит крушение – Тетя Лиза объясняет, что это когда поезд крушится... Но наконец мы приезжаем домой, – и в столовой сидит мама в голубом японском халате с журавлями и кормит грудью Лялю, и улыбается мне счастливой улыбкой, но взять меня на руки не может из-за Ляли, а акушерка Зина тоже тут сидит и говорит:

– Ну вот, а вы так волновались... Я ж вам говорила, это московского поезда крушение, а не вашего!

И началась новая жизнь – с сестрой.

Все – и домашние, и гости, и просто чужие люди ею все время любовались и восхищались: не восхищаться было невозможно. Она была беленькая, розовенькая, и волосики ее рыжие как-то очень рано стали виться, а мои, ни черные – ни белые, висели, как сосульки. Няня уже не мне – я была большая! – а ей пела: ничия, чия, чия... Лялю вывозили на улицу в роскошной черной лакированной коляске, а про мою детскую коляску сама мама рассказывала, что ее ненавидели все соседи, – такая эта коляска была скрипучая. Мое младенчество шло в самое трудное время, и мама радовалась, что оно позади. А я и в разнице колясок видела избирательность судьбы – не в свою пользу. И падала я все-

гда носом вниз, и подолгу ходила с разбитым носом, а Ляля, когда стала ходить, падала навзничь! Мама смотрела на Лялю так, как никогда не смотрела на меня, — все время улыбаясь. Папа говорил на нее "тупица!", и все смеялись, но я чувствовала, что это шутка, и вообще не очень хорошо понимала, что это слово значит. Но самое главное было то, что няня перестала быть моей, а стала Лялиной. Их отношения развивались как роман. Когда они ссорились, Ляля плакала и кричала: уходи от меня! Няня грозилась: вот уйду от тебя, будет у тебя другая няня — старая, некрасивая, у шлепанцах!

— Не хочу в шлепанцах! — вопила Ляля. А потом, умница, сообразила и кричала с плачем: — Уходи, но не совсем!

Летом мы уехали на дачу. На десятую станцию. Дача на лето — это было первый раз в жизни. Раньше был только очень скучный Тирасполь. Помню, как-то раз мы с мамой были в Тирасполе, и вдруг от папы пришла телеграмма: "Немедленно выезжай заболел".

И помню, на вокзале нас встретил папа и повез домой на извозчике, а дома няня заступалась за папу:

— Что вы, Татьяна Марковна, у него и температура была.

И что-то еще она рассказывала, а мне было очень удивительно, что взрослые тоже болеют, и я поняла, что мама думает: папа просто хотел, чтобы мы скорее приехали. Я была очень рада, когда мы возвращались оттуда в нашу чудную красивую большую квартиру с натертыми полами (а там полы были не такие).

И вот — дача. Вещи туда отвозят на подводе, с вещами едет няня, с няней — я: Лялю привозит мама. На трамвае. У самого въезда нас встречает Жоржик, который, похоже, очень рад, что мы приехали. Веснушек у него еще больше, чем было на его именинах, и он носит на голове отвратительную панамку, вроде той, которую я носить не стала, — такая она была неудобная и некрасивая.

Это дача Даина. Владелица ее — старушка Даин, у нее две замужние дочери; обе живут в Петрограде, а в Одессу приезжают отдыхать. У одной дочка Леночка, у другой совсем маленький мальчик Эрик. Они живут в отдельном домике — первом от ворот, и я их почти не вижу. Есть еще

два или три домика – и в одном из них, далеко от хозяйки, живем мы, вернее, в одной его половине. В другой половине живет Жоржик со своими родителями. Все домики с террасами, террасы обвиты диким виноградом, и все это в саду, в аллеях, и там кусты красной смородины... Но вообще мне кажется, что я то первое лето на Даиной даче помню мало. Больше помню следующее – через три года.

Лучше всего помню Лялю – самое приятное и милое воспоминание. Она на террасе, в своей нарядной коляске, и разговаривает с диким виноградом, которым терраса обвита. Ветер шевелит виноградные замысловато вырезанные листья, листья играют с солнечным светом, свет ложится на Лялино маленькое лицо, и она радостно выгибает спину и заливается длинным выразительным арпеджио на гортаннейший звук "г" – тот самый, который во Франции, в Израиле и во всех еврейских местечках произносят вместо моего любимого, как гром раскатистого "р". А Ляля никогда больше не картавила – только в то лето.

Жоржик собирает папиросные коробки. Некоторые я помню: "Цыганочка", какой-то Хаджи в чалме – может, только Жоржик его так называл? – Salve, которое дети произносили с ударением на первом слоге – Сальве, как сальто. Но "Сальве" особенно не ценилось, оно было у всех. В то время все мужчины курили, не подозревая, какое это опасное занятие. Из приличных женщин курили только эмансипированные – та, что была похожа на чеховскую Софью Львовну, она и служить начала раньше всех. И мама моей Таты Поповой – она была учительницей и даже газету читала. Тата сказала ей: а Руня говорит, что женщины газет не читают. Газета была маминым врагом – за утренним чаем, а иногда и за обедом папа разворачивал свежую газету, а мама ужасно обижалась и когда была в хорошем настроении, просто ее вырывала. Она была сторонница силовых методов. Ольга Ивановна, сразу все понявшая, сказала: ну, Рунина мама не читает, а я читаю. Спорить не стала.

Да, так я говорила о папиросных коробках. Понятное дело, я тоже захотела их собирать. И папа подарил мне совершенно неинтересную, светло-коричневую, без единой

картинки коробку "Шедевр". К моему изумлению, Жоржик пришел от нее в восторг. Оказывается, у них, у коллекционеров, ценилась именно эта гладкая без картинок коробка – может быть, потому, что их папы ее не покупали? Она была из-под дорогих папирос. Жоржик сказал, чтобы я вообще отдавала ему коробки, раз я не собираю. Какие-то коробочки я ему отдавала, но папа курил немного, а Жорж потом стал коллекционировать что-то другое – не помню, что.

Не помню никого из чужих детей, кроме хорошенькой Леночки, хозяйской внучки. Она была младше меня года на полтора или два, и помню я, в сущности, не ее, а ее платьице – довольно длинное, рубашечкой, из двух частей: снизу розовое шелковое, а сверху прозрачное белое. И два розово-белых цветка – один у плеча, другой где-то на юбке.

Вот как у меня написалось: детей не помню. Дети были, но все они были мальчики – и притом, старшие мальчики, возраста Жоржика. Мне не с кем было играть, и я увязывалась за ними, а они не знали, как от меня избавиться. Пока кто-то из них – наверное, все-таки Жоржик! – не сообразил: предложил мне сесть под помидорный куст и сидеть, сидеть, и постепенно я стану помидорой.

Я поверила, села под помидорный куст, но из этого ничего, как вы понимаете, не вышло. Если не считать того, что лет через тридцать с лишним был напечатан мой первый рассказ – очень чувствительный – именно об этом событии. Он даже вошел в мою первую книжку.

Конечно, меня водили на пляж – иначе зачем было ехать на дачу? Пляж был не песчаный, а галечный – ляжешь на подстилку, а камушки врезаются в тело. И дно было такое же. Зато пока идешь на пляж, сандалии набираются песка придорожного, и песок колется хуже, чем те камни.

Я совсем перестала читать. И когда в руки мне попала, наконец, книжка – кажется, то были сказки Андерсена, на плотной желтоватой бумаге, случилась удивительная вещь: буквы перестали сбегаться. Некоторое время я еще смотрела в книгу. Нет, не сбегаются. Пошла к маме и сообщила ей новость:

– А я разучилась читать.

Объявила именно как новость – не часто удается сообщить взрослым что-нибудь такое, что может их удивить. Но у мамы стало какое-то испуганное лицо:

– Как разучилась?

– Ну, разучилась. Не умею больше.

– Совсем не умеешь? Не умеешь читать?

– М-м, – сказала я, не разжимая рта. Что значило – нет. Ничего особенного за этим маминым огорчением не последовало. Но по-моему, умение читать ко мне скоро вернулось. С первой же августовской грозой, когда пришлось сидеть дома.

Главное воспоминание – тетя Катя.

Тетя Катя – это кукольный театр. Она приезжает на дачу каждую неделю. И родители пишут ей записки о том, как себя вели их дети в эту неделю. Оказывается, что все вели себя хорошо. То есть, хорошо кушали. Это было сытое неповское время, когда лозунг детских врачей был: "масло, яйца, молоко!" И я ежедневно за завтраком должна была съедать два яйца всмятку с натолканными туда кусочками белого хлеба. До чего же они мне надоели – и как же я о них мечтала лет пять спустя!

Тетя Катя прочитывала все эти записки вслух и хвалила каждого в отдельности. И детям, которые вели себя плохо, мамы говорили: "Вот подожди, напишу тете Кате плохую записку!" И это действовало.

Тетя Катя приезжала не одна, а с мужем, но я даже не помню, как его зовут. А между тем, скорее всего, это его голосом говорил и серый волк, и медведь, и людоед, и прочие опасности, встававшие на пути у Красной Шапочки, у Маши, у Ивана-Царевича, которого, учитывая Октябрьскую революцию, звали просто Ванечка. Все эти сказки показывала тетя Катя детскому населению нашей дачи несколько лет подряд, к великой этого населения радости. А в городе оказалось, что ее можно пригласить с ее театром на детские именины, и я даже получила в подарок одно из тех золотых яблок, которые клевала Жар-птица.

Лет через пять дачу Даина, естественно, у владелицы отобрали и национализировали. Там разместился какой-то

дом отдыха. Еще через пять лет в Одессе стали возникать дачные кооперативы, — но никто из бывших владельцев членами кооператива не стал. Однако дачи старые, хоть они и принадлежали не людям, а организациям, упрямые одесситы именовали по-старому: дача Даина, дача Хиони...

А тетю Катю я в последний раз увидела году в тридцать шестом — каким-то ветром меня занесло на Первомайский праздник во двор государственного учреждения. И там была тетя Катя со своим театром. Но тетя Катя тоже была национализирована и принадлежала не себе, а горсовету, и была она уже не тетя Катя, а Екатерина Митрофановна, и даже фамилия у нее оказалась — Серебrenикова. Артистов, т.е. их голосов, стало много, и все новые, и кукла Ванечка была другая, новая... Зато в зале сидели не богатые дачные дети, а организованные пионеротряды.

Что за сказка была — не помню, я сразу ушла.

Но тогдашнее дачное время было совсем другое, и последачное тоже. Эту осень двадцать четвертого года я помню хорошо. В моей жизни наступили большие перемены. Во-первых, я больше не ходила ни в какую группу: французенка стала ходить к нам домой, три раза в неделю, за десять рублей в месяц. Тогда это были немалые деньги — няня получала столько же. Еще я стала ходить заниматься музыкой с милой женщиной — ее звали Беата, и чтобы дойти до ее дома, я даже должна была перейти Тираспольскую улицу, по которой шел трамвай. Одна! Правда, эти уроки продолжались недолго — вскоре Беату сменила Анна Ноевна, которая жила в нашем же доме. И — о самом главном: в эту осень у Жоржика начались репетиции. И мама исправно меня туда возила. Это уже были не какие-то там басни Крылова. Это был настоящий спектакль, инсценировка некрасовского "У дедушки у Якова".

Ставил спектакль репетитор Жоржика, готовивший его в четвертый класс школы. Его фамилия была Футран — и больше ничего о нем не помню, хотя вижу и сейчас отчетливо. Мы сначала водили хороводы. Для этого мама сшила мне длинный зеленый шерстяной сарафан — такого длинного не было, между прочим, ни у кого в хороводе. И знаете, что мы пели? "Сватушка, сватушка" — слова Пушкина,

музыка Даргомыжского. Из "Русалки". Я "Русалку" прочла только в следующем году и поразились, встретив знакомые слова, которые в напечатанном виде я поняла лучше, но тоже не совсем. В общем, мы пели "Сватушку", а потом приезжал Жоржик – дедушка Яков – с воображаемой тележкой и начинал торговать. Тут начиналась моя роль. Я отходила в сторонку и останавливалась, держа перед глазами растопыренных два пальца (вместо пряничного коня; вообще с реквизитом у нас дело обстояло неважно). Чтец – им был лучший друг Жоржика Лёка Штрах, декламировал:

Смех на какого-то Кузю печального,
Держит коня перед носом сусального...

Подходил ко мне, трепал по плечу и говорил:
– Ешь, паренек!

И я делала вид, что ем, хотя, что такое "конь сусальный", так и не спросила. По сей день. Возможно, у других детей были более выигрышные роли, – но я была озабочена только своей. То, что я "кузюпечального", да еще и "паренек", меня ничуть не смущало. Еще через год, наверное, я бы удивилась – какой же я паренек, если я в юбке? Но, кажется, я и слова этого не понимала, как и большинства слов в поэме.

Потом меня переодели в костюм маргаритки, тоже собственноручно сшитый мамой, – белая, разрезанная на лепестки юбка, зеленый корсажик и на голове маргаритка, величиной в подсолнечник. Я должна была спеть по-французски "moi je m'appelle marguerite" на мотив "Кармен". И спела, все время подхватывая рукой сползающую с головы маргаритку. Может быть, поэтому я довольно-таки задержалась с последней строчкой, а может быть, и потому, что дома я распевала без аккомпанемента, а тут мне на пианино бурно аккомпанировала Жоржикина мама. Но я не успела смутиться, потому что кто-то взрослый подхватил меня за бока и подбросил высоко вверх, и все засмеялись и захлопали.

Наверное, я вскоре заснула, потому что проснулась я в постели, но не в своей постели, а в Жоржикиной. Он будил

меня странным обращением: Рунця, Рунця... Я проснулась. Он сказал:

– Рунця, я тебя люблю. А ты меня любишь?

Я привыкла на этот вопрос отвечать утвердительно.

– Да, люблю.

Он обрадовался и сказал:

– Только ты смотри, никому не говори.

– Почему?

– Так. Нельзя!

После этого основополагающего разговора мы некоторое время гладили друг друга по спинам и по попкам, а потом Жоржик объявил: а теперь будем спать. Лег на другой бок и заснул немедленно, и я послушно сделала то же.

Поскольку мы родились в дотелевизионную эпоху, мы не целовались и не разглядывали друг друга. То ли дело моя четырехлетняя внучка! Она так обрадовалась, когда пришел двухлетний Коля Довлатов, что к общему восторгу объявила во всеуслышанье: а теперь ляжем на кровать и будем целоваться!

Несколько дней я крепилась, сохраняя тайну. Но она была слишком обременительная. И я не выдержала.

Мы с мамой куда-то шли вдвоем, по темной вечерней улице. И я сказала, что хочу рассказать ей один секрет, и чтобы она никому не говорила. Думаю, мама очень заинтересовалась. Я начала:

– Жорж мне сказал...

– Ну?

– Он мне сказал...

– Ну? Что он тебе сказал?

– Что он... меня любит.

Мама подумала, потом сказала:

– Ну и что ж тут такого? Все маленькие дети должны любить друг друга.

Я очень хорошо помню этот разговор. Темная зимняя улица – и мы с мамой, такие близкие, нас только две, теперь так бывает редко... Мне очень захотелось наконец ей это рассказать. Чтобы освободиться от тайны – мне она была не по силам. Хотя я, как и мама, не понимала, что ж

тут такого? Но ведь я обещала не говорить – и это сразу стало меня мучить.

– Но ты все-таки никому не говори, – упрасивала я маму. – Не скажешь?

– Не скажу. Но тут нет ничего особенного. Зачем из этого делать секрет?

Конечно, мама тоже не удержалась – рассказала кому-то, может быть, даже Жоржиковой маме. И он меня пристыдил. Никак не могу вспомнить, кто при этом присутствовал, – но кто-то постарше меня и, почему-то мне кажется, девочка. И Жоржик говорит, объясняя, – по-видимому, какая я маленькая, – а ведь это очень обидно:

– Ей ничего нельзя рассказывать. Я ей однажды сказал, что я ее люблю, – так она всем рассказала, что я ее люблю!

И тот (та?), которому он это говорил, что-то выразил укоризненное. Поцокал языком, возможно. И я пристыженно молчала.

В ту зиму наша общая с Жоржиком француженка – мадмуазель Жанн, – стала учить меня писать. Сшила своими руками – она была очень рукодельная, наша любимая мадмуазель Жанн! – так вот, сшила своими руками маленькую тетрадку, вдвое уже и короче обыкновенной, и там я должна была учиться писать буквы, не по-печатному – это я уже умела, но по-письменному. Эта тетрадка скоро стала мне ненавистна, потому что я ее засалила, и потому что буквы у меня не получались красивые, и вообще у меня не получалось. Особенно не давалась мне французская буква "бэ" (по-русски это буква "вэ" – согласитесь, что она трудная). И каково же было мне, когда Жоржик, который в ту зиму все время меня дразнил, сказал:

– Думаешь, я не знаю, что ты никак не умеешь написать букву "бэ"?

Писать – не по-французски, а по-немецки, да еще готическим шрифтом, – я научилась гораздо позже, лет в семь. Тогда же пошла у меня и русская письменность. Хочу думать, что мои страдания над буквой "бэ" все-таки не прошли даром, почерк у меня получился красивый и разборчивый, а тогда это ценилось. Но письма я стала писать, когда у меня не было еще никакого почерка, задолго до буквы

"бэ". Я писала их моему "первому жениху", уехавшему в Петроград, – Володе Генари. Написав письмо, я давала няне его прочесть. Начало няня читала правильно, потому что я от нее знала, как надо начинать письма: "Дорогой Володя, как ты поживаешь? Живу я по-старому, новостей нету". Так и няня начинала свои письма к сестре Наде "у город Каменец". А потом она читала совершенно не то и начинала смеяться, я обижалась, и дело кончалось слезами и скандалом. Я хватала бумагу с двух сторон исписанную чернильным карандашом – совершенно как у взрослых! – комкала ее в руках и бросала на пол...

И все-таки: писать я начала рано – раньше, чем научилась писать. Я умела только по-печатному. Зато, как когда-то сказал про себя Казакевич, "читатель я великий". Сейчас уже не такой великий, могу отложить книжку с первой же страницы, не надеясь, что дальше будет лучше. Но тогда... Ранняя юность – время надежд.

Моему стремлению заняться творческой работой было еще одно препятствие: в доме нашем не было писчей бумаги. Были и другие небольшие препятствия, но они оказали себя сразу.

Моим любимым писателем в те поры был Крылов. Тот самый – Иван Андреевич, дедушка Крылов. Но не баснописец. Отнюдь. Басни его, которым меня учила няня, мне совсем не нравились: во-первых, я не понимала половины слов, а во-вторых, когда понимала, или мне объясняли смысл и мораль бысни, то они казались мне жестокими, и вообще в баснях всегда все плохо кончалось. Над героями или издевались или еще того хуже. Квартет так старался – а все-таки ничего у них не вышло, соловья дурак-слушатель просто не понимал, ну, а оправдания ягненка, которого волк все-таки поволок в темный лес, вызывали у меня такие горячие слезы, что мне больше эту басню не читали.

То ли дело крыловская драматургия! Больше всего мне нравились "Американцы" и "Илья-Богатырь" – пожалуй, "Илью" даже надо поставить на первое место. Имена там были такие красивые – Всемила, Владисил. И масса волшебства. А в "Американцах" мне, между прочим, очень понравилось слово "любовница", и я стала его употреблять

в разных случаях, пока мама не порекомендовала заменить его словом "возлюбленная" – длинным и вычурным. Я удивилась, но покорилась. Кстати, я и сейчас не знаю, имело ли это слово в крыловские времена то адюльтерное значение, которое оно имеет в наши дни.

Так вот, этот драматург был первым, кто имел на меня литературное влияние. Главным образом, в смысле порядка построения пьесы: Действующие лица, Действие первое, Явление первое.

И я стала писать свою пьесу. Не помню, был ли список действующих лиц, или я решила создавать его по мере необходимости. Но Действие первое, Явление первое было написано – правда, не до конца.

Дело в том, что писать свою пьесу я стала в книге. Как та книга называлась – не помню, и уж конечно, не помню, кто был ее автором. Зато помню содержание двух рассказов: в одном рассказывалось о кукольном концерте, который устроили дети, и где кукла-лягушка пела нежным голосом:

О, как мне скучно без болота,
Без та-та-та-та липкой тины...

А кукла-савояр плясал и пел:

Куманек, побывай у меня,
Душа-радость, побывай у меня...

Успех достался Лягуне-Александрии – под таким псевдонимом выступала лягушка. Между этим рассказом и следующим было листка два или три неиспользованной, прекраснейшей белоснежной плотной бумаги, и на ней я написала печатными буквами: "Действие первое (пробел), явление первое (пробел). Лена сидит и читает книжку. Вбегает Ира". И – первая и последняя реплика:

"Ира (быстро). Слушай, Лена..." Лена должна была ее перебить, – но чистая бумага кончилась. Вместе с пьесой.

Лет через пять я испытала себя в повествовательной прозе. Мне предстояло перейти из первого в третий класс и для этого пройти за лето курс второго класса по арифметике.

Готовила меня прекрасная учительница, Маргарита Артемьевна, красивая армянка с нежным голосом и большим запасом терпения. Узнав, что я собираюсь стать писательницей, она посоветовала мне, не откладывая, написать рассказ, а она отправит его в журнал "Октябрьские всходы".

Я рассказ написала немедленно, на тетрадных листочках (проблема бумаги уже не стояла с прежней остротой). К сожалению, я не помню его содержания. Помню, что героиню, девочку лет восьми, звали Люда и что она сделала что-то героическое во время рабочей демонстрации против царизма. Помню одну короткую фразу: "Люда вскрикнула". Возможно, казак ударил ее нагайкой – казаки и нагайки были непременно действующими лицами во всех печатных рассказах о демонстрациях.

Кажется, я не слишком много думала о судьбе своего произведения – в третий класс я, несмотря на какие-то пробелы в арифметике, все-таки перешла, началась школьная интересная жизнь, я влюбилась в черноглазого Алика, старосту нашего класса – масса переживаний. Но однажды, когда я вернулась из школы, меня встретила мама и торжественно сказала:

– Руня, ты получила ответ из редакции!

Ответ был такой:

"Уважаемый товарищ!

К сожалению, ваш материал не может быть использован. Ждем от вас новых материалов в журнал "Октябрьские всходы".

И после этого в моей литературной деятельности наступил долгий перерыв.

Одесса танцевала

У нас в гостиной стояло пианино фирмы "Клингман" (никогда больше о ней не слыхала). На нем моя трехлетняя сестра Ляля подобрала по слуху "Эх, яблочко, куда ты котишься". С этого началась ее музыкальная карьера. И под это пианино у нас раз в неделю танцевали. На пианино играла аккомпаниаторша, которую приводила с собой учи-

тельница танцев, бывшая балерина, Мария Александровна Дризо. Аккомпаниаторша играла, а Мария Александровна учила взрослых людей. Учила танцевать фокстрот. На дворе был разгар (еще не угар) нэпа, и все, что танцевали раньше, "в мирное время", было выброшено в мусорную корзину истории – вальс, полька, па-де-патинер, какая-то загадочная Хиовата и даже шлягер недавнего военного времени – "Ойра"! Разбитной такой мотивчик: тра-та-та-та, ойра, ойра! но и "ойры" не надо было – воцарился фокстрот, Таити-трот. "Там на Таити – вдали от событий – от мира, где Сити-туман..." Какое Сити, какой туман, до чего же загадочные слова. А дальше было понятнее: "...там, вступить желая в брак, не надо шить пальто и фрак, законы там, известно нам, – просты-ыыы!" Я понимала это так, что там нет дороговизны (с детства известное слово), и потому там так хорошо.

Через много лет я узнала, что этот мотив – знаменитое английское: "ти фор ту энд ту фор ти". То есть в русском не ритмичном переводе – "чай для двух и два для чая". Но причем тут Таити? Почему Таити? От Эльзы Триоле?

"Там вступить – желая в брак – не надо шить – пальто и фрак..."

В гостиной сворачивали и убрали к стене большой ковер, и на обнажившемся, хорошо натертом паркете, шаркая, медленно, ритмично покачиваясь, еле движутся четыре пары. Мои родители, Полина Львовна с мужем, ее сестра Софья Львовна с мужем и Берта Лазаревна, тоже с мужем. Все люди полные, упитанные, как говорили тогда, – все, кроме Берты Лазаревны. Но она вообще была другая.

Муж Софьи Львовны был инженер еще "с мирного времени" и носил какую-то особенную фуражку. Остальные трое мужчин служили в мясном отделе Церабкоопа, а потом Вукопспилки – по-моему, это то же самое, но по-украински – уже шла украинизация. Тогда "служащие" еще не "работали", а "служили". Социальная категория, определение, графа в анкете оставались долго – чуть ли не до самой войны, я еще отвечала в анкете на вопрос о занятии отца: служащий. Но глагол "служить" остался только для армии. Это произошло, вероятно, во время войны.

Они были сослуживцами, и все чем-то там заведовали и разговаривали в основном о служебных делах. После танцев и после чаю – когда опять переходили в гостиную. Дамы сердились, особенно негодовала Полина Львовна:

– Я не могу понять! Как можно все время говорить о сале и мясе? Неужели вам не надоело?

Но им не надоело. Все они были старше века. Нашего века, двадцатого, столь богатого событиями. Думаю, самыми из них старшими были мои родители – год рождения тысяча девятьсот восемьдесят девятый. Но не намного – все они родились в пределах этого знаменитого десятилетия, которое тогда называлось *fin de siècle*. И никто, даже сам Бердяев еще не знал, что тогда именно и рождался русский серебряный век.

Мои родители, в отличие от своих гостей, не были одесситами и, может быть, ощущали это как неравенство. Мама, по мнению моего отца, слишком тянулась за Полиной Львовной. Отец Полины Львовны был известный в Одессе врач, а мать – урожденная Гершуни (эту фамилию произносили с особым выражением, она словно бы давала патент на благородство). Они жили тут же, в Одессе, столице южных провинций, говорили только по-русски – и прекрасно говорили; сын их был женат на русской, жил с ней в Италии, и они к нему ездили каждое лето.

Полина Львовна... Невысокая, крашеная блондинка, стриженная, пенсне на шнурке (некоторые думали, что это лорнет). Черты лица крупные, скорее резкие. И голос скорее резкий, хотя и умный. Лет через десять, когда я прочла "В сторону Свана", мне стало казаться, что герцогиня Германтская, с ее колкостями, едкими шуточками, "номерами", которых все побаивались, даже внешностью похожа на нашу одесскую Полину Львовну. Впоследствии, когда я узнала, что прообразом прустовской герцогини была жена Бизе (а может быть – Мельяка или Галеви, надо проверить), я догадалась, что это – национальный характер. Я очень хотела бы нравиться Полине Львовне, но нравилась только ее сыну, Жоржику, и то недолго.

Полина Львовна... Как ей было не подражать? Она всегда становилась главной – куда бы ни приходила. Она была

образованная – кончила одесскую гимназию, многое прочла и запомнила, умела играть на пианино – по нотам, а не по слуху! – и разговаривала с нашей мадмуазель по-французски. Кстати, эту самую мадмуазель для моего (и впоследствии Лялиного) французского языка мы именно от Полины Львовны и получили, вечная ей благодарность за это. Но папа с неудовольствием подмечал у мамы Полины Львовны словечки, интонации и даже "искусственный" смех по телефону.

Но не только Полина Львовна – все наши знакомые (тогда еще не имело хождения слово "друзья"), все они были вторым или даже третьим ассимилированным поколением, и на идиш никто из них не говорил. Выросла Полина Львовна и ее сестра на той самой Канатной, где вырос Валентин Катаев; некоторое время – до отъезда в Москву – он был женат на их родственнице. Этой женитьбе Ильф с Петровым были обязаны сюжетом о сокровище мадам Петуховой. Сокровище в самом деле существовало, только было спрятано не в стуле, а в выемке над дверью. Потом оно исчезло, как и полагалось сокровищу.

А муж Полины Львовны – они были ровесниками и поженились двадцати лет от роду – учился в Коммерческом училище с Бабелем. Полина Львовна рассказывала в тридцатые годы:

– Когда он последний раз приезжал, я ему говорила: Изя, вы все-таки невероятный лентяй. За столько лет – ни одной книжки. Вы какой-то молчун!

А он мне:

– Полинька, помните, в детстве мы играли в фанты? И там было условие: черного и белого не называйте, "да" и "нет" не говорите!?

– Ну?

– Ну вот. Сейчас как раз такое условие. Вот я и молчу.

Сестра Полины Львовны была совсем другая – медлительная, миловидная, с низким негромким голосом, с медленной отчетливой речью. Я ее не боялась – она не насмешничала. Из всех гостей-мужчин я выделяла Ефима Владимировича, хотя и удивлялась, почему Берта Лазаревна вышла за него замуж.

Но о Берте Лазаревне – особо. Ее терпеть не может наша няня: потому что у нее дурной глаз. После ее приходов Ляля плохо спит и капризничает. Правда, это с ней бывает и без Берты Лазаревны – ее мучает диатез, но это совершенно другое дело. И в эту ночь тоже все будет как всегда, Ляля будет плакать, а няня бормотать: опять ребенка мне сглазила! У-у-у, Котовского убила, гадюка!

Был такой слух. Будто Котовского убили, когда он шел на свиданье к Берте Лазаревне. К счастью, слух этот, видимо, не получил широкого распространения, – а то мало ли какие могли быть последствия. Я лично имя Котовского только тогда и слышала; в том, что он шел повидаться с Бертой Лазаревной, ничего плохого не усматривала, а что убили его – ну, что ж поделаешь. Видимо, привыкла к этому слову, не звучало оно громом... Я даже видела, как на тачке вывезли из ворот ближнего дома убитого налетчика. А няня просто так говорит, потому что сердится. "Убила!" Все знают, что никого она не убивала – только волновалась, когда это случилось. Помню, она прибежала, задыхаясь, – по-моему, это тогда и было.

Я тогда не знала, что она – самая красивая из наших гостей, самой красивой я считала маму, понятное дело, но мне нравилось смотреть на Берту Лазаревну. Все наши дамы были стриженные, завитые и крашенные – Полина Львовна в рыжий цвет, ее сестра в какой-то красно-коричневый, и моя мама тоже потихоньку рыжела. А у Берты Лазаревны волосы были черные-черные, и она "носила прическу". "Носит прическу" – означало – до сих пор не постриглась. Берта Лазаревна закалывала все свои никогда не стриженные волосы на затылке шпильками. В Одессе то, что в результате получалось, называлось "кублик", но для "кублика" прическа Берты Лазаревны была слишком большая. И глаза у нее были не как у всех – коричневые, – а ярко-серые. Если бы голубые – может, я бы и сочла это красотой, я уже читала книжки. Но серые? Кроме того, она была насмешница: однажды спросила меня, играет ли со мной папа, а я ей ответила: мужчина – что петух, кири-куку... Это была цитата из пушкинской "Русалки", которую я в тот день читала, и такой ответ показался мне вполне умест-

ным. Господи, как она хохотала! Кинулась в столовую, где сидели взрослые, и хохотала, и повторяла: мужчина что петух!

И все-таки я любила на нее смотреть, хотя боялась опять ее насмешить.

Ее муж, Ефим Владимирович, казалось мне, не подходил ей. Ей подошел бы, на мой взгляд, муж Софьи Львовны – высокий, не толстый, с черными усиками, в инженерской фуражке... А Ефим Владимирович был хоть и высокий, но толще всех, и уже седой, и вообще старый. Правда, он надо мной не смеялся – он даже со мной немножко разговаривал. Все дамы успели перед войной окончить гимназию. Мужчины тоже – кроме моего папы, который, как считалось у нас дома, кончил экстерном. Ефим Владимирович учился в Лейпциге, кажется, на юридическом. Но юристом не стал, служил в той же Вукопспилке. Он рассказал мне через несколько лет, что какой-то начальник из Харькова (тогда это была столица Украины) сказал про моего отца:

– Александр Борисович – бриллиант в короне Вукопспилки.

Трудно было вообразить корону на челе Вукопспилки. И все-таки я почувствовала себя польщенной. За папу.

Ефим Владимирович. Когда я впервые встретила в какой-то книжке слово "тюфяк" (кого-то там так обзывают), я тут же представила себе Ефима Владимировича. По моему ощущению, определение к нему подходило. Он один из всех наших знакомых был такой огромный, такой широкий, такой толстый – и такой добрый.

Он был по призванию ученый, так мне сейчас кажется; он читал не газеты, как все мужчины, а книги. У него была большая библиотека на нескольких языках – он и дал мне из этой своей библиотеки "Историю Франции", которой я заинтересовалась, начитавшись Дюма. Язык этой книги был суховат – это вам не Дюма! – но я смотрела незнакомые слова в словаре. И в конце-концов даже что-то запомнила, хотя так и не дошла до последних Валуа.

Но он был такой ученый, который хочет заниматься только тем, что его интересует. В то время его интересовало происхождение еврейских фамилий. О нашей фами-

лии – Зевин, – которая мне казалась какой-то редкой, он сказал, что это фамилия именная: от Зеев. И значит – сын Зеева (Я не поверила и посмотрела в Брокгаузовской энциклопедии. И оказалось, что существует в Турции такая река – Зевин-чай. Собственно, чай – это по-турецки река. Значит, река Зевин. Это показалось мне куда интереснее, чем какой-то Зеев).

Его жена – Берта Лазаревна, то есть, устроила у себя на дому детский сад. В сущности, она стала почти что фребеличкой – но не совсем: она не гуляла с детьми. Вообще, я не очень знаю, что она с ними делала. Одно знаю: она с ними пела песни. Она была музыкальна, хотя на пианино не играла, – что странно для Одессы: там девочек "из хорошей семьи" обязательно учили музыке. Видно, маме слишком трудно было усадить ее "за инструмент" (ударение на "у", именно так ударяли в Одессе).

Мальчиков учили тоже, но они довольно рано начинали бойкотировать уроки музыки и уступали матерям только самые способные. Один рыжий мальчик даже из дому убежал, завязав в носовой платок самое необходимое, как со смехом вспоминали впоследствии в семье тех, куда он убежал.

– Открываю дверь. Вижу его с этим платком и говорю: Миля, опять?

– Роза Михайловна! – и он прямо плачет. – Роза Михайловна, я больше не могу. Что она от меня хочет?

– Кто – она? Берта Михайловна?

– Берта Михайловна! Что – Берта Михайловна?! Ну, ясно, она тоже... Говорит мне: "Миля, тут надо это ярче, ярче сделать, понимаешь?" А что значит – ярче? Я спрашиваю: "Еще быстрее?" А она... она смеется. Говорит: "Я это всем рассказывать буду". А что тут рассказывать? Нет, она – что! Но мама... "Ты опять не упражнялся сегодня?" Нет, не могу я жить там. Можно, я у вас поживу?

– До вечера – можно.

Его сажали за стол, угощали, он успокаивался, его спрашивали, что он теперь играет... Потом приходила мама – иногда в негодовании, иногда – смягчившаяся по дороге и уводила домой.

Мне это рассказывали в лицах, когда рыжий мальчик – его звали Эмиль Гилельс, как вы давно уже догадались, – занял первое место на первом Всесоюзном конкурсе. Семья, дававшая ему недолгий, но частый приют, была семьей моей подруги, Нины Сигал. У нее с Милей была общая учительницы музыки – Берта Михайловна Рейнгалд.

Но это Гилельс! А играли все мои подруги. И их мамы беседовали:

– Моя Милочка играет так: сначала полтора часа подряд, а потом еще полчаса. А ваша?

– Ой, не говорите, так я с ней мучаюсь... И ведь способная!

Отсюда и пианино в нашей гостиной.

– Что же вы с ними поете? – коварно спрашивала Полина Львовна. – "Жил-был у бабушки серенький козлик"? или "вот лягушка по дорожке"?

Берта Лазаревна качала головой:

– Какие там козлики! Мы же все пролетарии, мы поем пролетарские песни. Я правда не знаю, кто их сочиняет. Вот послушайте.

О, эти пролетарские песни! Одну из них, самую мажорную, до сих пор помню:

В одном углу мы поставим стол,
На стол скамью, а наверх трубу...
Вот и готов настоящий завод,
И шумно в нем живет народ.
Не надо кукол нам и мячей,
Железа, молот нам и гвоздей!
Мы на работе, мы – кузнецы,
Куем мы счастье для всей страны!

В этой песне самыми красивыми, трогательными мое сердце словами были, как вы понимаете, куклы и мячи. А что от них песня отрекается – так это и есть современность, противная современность, в которой все не так, все непохоже на то, что в книжках, которые мама приносит мне с базара, и даже сами книжки не такие – тоненькие, с дурацкими ни на что не похожими картинками. Я знала, видела, что и взрослым эта самая современность не нравится, по-

тому что они над ней смеются. Если бы нравилась – не смеялись бы.

* * *

Какая-то женщина в поезде Одесса-Тирасполь сказала мне:

– Очень ты развитая для своих лет (мне всегда это говорили, и я считала, что это похвала). – Наверное, у тебя и перелом будет не тогда, когда у всех, а раньше.

– Перелом?

Слово было новое. И она объяснила:

– Ну, у всех он бывает лет в пятнадцать, а у тебя будет, наверное, лет в одиннадцать.

И я стала терпеливо ждать перелома. Я кого-то спросила потом – что это значит, перелом? Но толкового объяснения я и по сей день не получила. Может, его у меня и не было?

Но в шесть лет я еще не знала ничего про перелом и начала новую жизнь – почти независимую от няни, которая теперь была не моя, а Лялина. И вот осенью двадцать пятого года я пошла "в группу" к фребеличке Елене Адольфовне.

Группа занималась недалеко от нас, в квартире Вилинских. Там был мальчик Сережа и девочка Ирочка – оба очень хорошенькие, особенно Ирочка – точь-в-точь моя последняя фарфоровая кукла, которую я назвала Мадлен – значит, уже прочитала "Примерные девочки". С мадмазель мы все время читали "Les malheurs de Sophie" – такие скучные и неприятные, а на самом деле существовала эта прекрасная и увлекательная книжка, где та же злополучная и занудная Софи исправляется оттого, что живет с такими хорошими, такими примерными девочками. Вилинский, отец Сережи и Ирочки, был композитором, мать я как-то не помню, зато помню еще одну девочку, их кузину, с которой потом меня не раз сводила судьба – Дусю Бутми. Нет, просто Бутми она стала потом, в школе, а тогда она на вопрос "как тебя зовут?" не без гордости отвечала: Ванда Бутми де Кацман.

– Как Ванда? Ты же Дуся?

– Дуся – это так, а мое полное имя Ванда.

Мой отец, выросший в бессарабском местечке, произносил эту фамилию с какой-то особой интонацией, словно пробуя ее на вкус: Бутми де Кацман! Бутми *де* Кацман. Хм! Я относилась к этому за счет "де Кацман", что даже для меня, даже после "Примерных девочек" звучало (и теперь звучит) странновато. Впоследствии выяснилось, однако, что не в аристократической приставке дело. Но выяснилось это гораздо позже, уже здесь, в Израиле, из газеты "Восход" (не путать ни с "Завтра", ни с "Утром нашей родины") .

Дуся была старше меня ровно на год – тоже февральская! – выше ростом и считалась у взрослых красивой. Я лично ее красивой не находила – у нее на лице были веснушки, как у меня, только мельче, и потому я ей в красоте бесповоротно отказала.

Главное событие того времени, той "группы" была басня Крылова "Стрекоза и муравей".

Как-то так получилось, что главным нашим "спонсором", выражаясь по-современному, был доктор Жолковский. Доктор, который лечил меня все мое детство, а когда в тридцатом году папу посадили и отправили в Харьков, и мама туда уехала, а мы, "сироты живых", остались с няней, он все равно посещал нас, когда мы болели, и не брал денег. Вот такой был хороший человек. И жил в том же доме, где занималась наша "группа". И было у него два сына, и старший, Боба, учился в школе с Сережей Вилинским. Как раз подходили Бобины именины, и мы, вся наша группа, были приглашены. Тут Елена Адольфовна решила, что мы покажем пьесу. Даже, скорее, оперу. Точнее, мюзикл. На слова басни Крылова "Стрекоза и муравей". Музыку написал сам Вилинский, прелестную музыку, я и сейчас ее помню. Я была Стрекоза, а Дуся – Муравей. Остальные дети были разные насекомые, и они пели весь крыловский текст от автора – разумеется, кроме нашего с Муравьем диалога. Насекомые, в разных насекомых костюмах, стояли полукрутом в глубине, как и положено хору; Дуся, очень строгая и серьезная, в чем-то черном, восседала

на стуле; я в сшитой мамой зеленой пачке с проволочными крылышками порхала вокруг нее, пока хор не спел мне "Ты все пела – это дело, так поди же попляши", и я ушла, приунывшая. А потом показали живые картины: в них играли школьники, а доктор Жолковский давал объяснения. Первая картина называлась "враги детей" – и там были микробы, темнота и, кажется, сырость; а вторая называлась "друзья детей", где главным другом была вода, в юбке из бумажных лент – струй... В общем, все было очень интересно и, наверное, нас угощали, но чем – не помню, и никогда не помнила, к огорчению моей няни.

Учили ли нас чему-нибудь в этой группе? Помню только плетенки-салфеточки из нарезанных разноцветных бумажных лент: их надо было переплетать между собой. Учиться этому было интересно и не очень трудно. Кажется, эта премудрость еще и сейчас преподается в детских садах. Мне лично эти занятия нравились. И Елена Адольфовна мне нравилась, и дети, особенно мальчик Роба Шестопап... Но все это как-то быстро кончилось – кажется, я заболела. Я очень любила болеть – лежишь в кровати, никто на тебя не сердится, и мама через день приносит с базара книжки – старые, толстые, с плотной и вполне белой бумагой, в красивых, хоть и потертых, переплетах, с черно-белыми красивыми и понятными, а не нелепо-ярко намалеванными раздражающими картинками. И до чего интересные! А лучше всех Чарская!

С точки зрения моих родителей, недостатком этой группы было то, что с нами не гуляли. И меня отдали в другую группу – немецкую, к Елене Эрнестовне. От десяти до трех. До полпервого – занятия в квартире на любимой Гулевой. Другие дети уже писали латинским шрифтом, а я, начинающая, еще только училась писать готическим, острым и некрасивым. Такой был тогда немецкий порядок обучения грамоте. Когда наконец я перешла на латинский, я была счастлива! А тем временем прилипали уже немецкие фразы, песенки, стихи... По-моему, это очень хороший метод обучения.

Зимой мы гуляли нечасто – зимы в Одессе ветреные и холодные. Но осенью – а осень длинная и сухая – мы от-

правлялись – ура! – на Соборную. Там и завтракали, на воздухе, сидя на скамейке. Завтрак – два куса хлеба с маслом (по-нынешнему сэндвич) и маленькая бутылка со сладким чаем – приносили из дому, в специальной лубяной сумочке с жиденькой кожаной ручкой. (Ностальгический вздох: куда подевались эти прелестные лубяночки?) И тут уже начинались всякие Dognröschen и Schwarze Köchin. И охотничья про хвастливых охотников и белого оленя... С "Милым карликом" было покончено – мы уже были большие.

Доктор Жолковский продолжал к нам приходить, когда я болела, – до самого моего пятого класса. Иногда он рассказывал про своего сына Бобу, и все его рассказы давали самую положительную информацию. Но я никого из той моей первой группы не встречала. Кроме Дуси.

Куда-то я шла с родителями, и они попались нам на встречу, вся семья: мать, отец и обе девочки (у Дуси была младшая сестра, как у меня). Отец был в военном, френч и галифе; младшая дочка все прижималась к его длинной ноге. Он был очень высокий. Дусина мама, хотя потом мои родители только и говорили о ее красоте, мне не запомнилась тогда, – а вот его я и сейчас вижу: сапоги, галифе и где-то там, на высоте, – узкая седая голова. Больше я никогда его не видела. Он был сослан в начале тридцатых годов, семья летом ездила к нему в ссылку, а потом грянул тридцать седьмой, его бросили в лагерь, и оттуда он больше не вернулся. Про его последние дни я узнала, когда пришел и мой черед. Лет через восемь мы оказались с Дусей в одной школе. Она к тому времени была уже просто Бутми, странная вторая половинка отпала как бы сама собой. Мы с ней не вспоминали о нашем общем прошлом, только однажды, случайно, она вспомнила Вилинских, когда разговор зашел о солистке Большого театра Держинской: она была их родственницей. Дусин отец был в ссылке в каком-то очень красивом месте, и летом они всей семьей к нему ездили. Тогда это никого не удивляло. Мы все гораздо больше были заняты своими первыми любовями. В девятом классе у нас появился новый мальчик – Додик Когон – высокий белокурый красавец, умный, ироничный

и, как мне показалось, очень взрослый. Он ходил с палкой – после какого-то несчастного случая на море остался хромым, мы, развитые и начитанные, считали, что это придает ему сходство с Байроном.

Они с Дусей, как тогда говорили, стали встречаться. В переводе на нынешний язык это значит, что у них роман. Это стало всем ясно, когда на уроке физики, желая привести пример теплопроводности, он начал так:

– У Бутми есть камелек...

Продолжить ему не дали – класс хохотал. Роман скоро распался – Додик увлекся блондиночкой из восьмого "Б", – но то, что "у Бутми есть камелек", осталось в народной памяти.

А Дуся, похоже, не страдала. По крайней мере мне она говорила:

– Я летом у папы... Там такая природа, если б ты знала! Там лес, там озера, там... И я там почувствовала себя такой сильной, здоровой, красивой – извини меня, конечно (я в красавицах, увы, не числилась)... На что мне этот мальчишка, или другой.

Мы с ней разговаривали нечасто – не было взаимного тяготения. Но жили мы недалеко друг от друга – и бывало, что шли вместе из школы домой. Мне казалось – она себя уговаривает, не меня.

Ее отца выслали... В те годы это не было ни судьбой, ни очередью – это называлось бытом. Слово "Котлас" (очень мне нравилось его шелковистое звучание) – одно из первых географических наименований, которое я услышала в маминых телефонных разговорах: Ариса и Барского выслали в Котлас. Это были нэпманы, я знала дочь одного из них. В немецкой школе училась дочь другого высланного нэпмана – Люся Соколик: ее до слез, до крови задразнили в школе сверстники – единоплеменники, которым посчастливилось иметь отцом не нэпмана, а кустаря или доктора ухо-горло-нос. Дети – народ жестокий.

Но Дусю никто не дразнил. И всем известно было, что каждое лето они ездят с матерью не на дачу, как другие, а куда-то на север, где хорошо, много грибов, ягод... такие непривычные для одесситов слова...

И вот, когда она стала рассказывать мне, как хорошо ей бывает там, на севере, я спросила:

– А почему твоего папу выслали? Он же не нэпман?

Она удивилась.

– Как, ты не знаешь? Это все из-за убийства Диманта.

– Какого Диманта? Я никогда этого имени не слышала.

– Этого ростовщика, Диманта, убили еще до революции. Задолго до революции! – сказала Дуся.

– Ну и что?

– Папа был из той же семьи, – сказала Дуся. Вздохнула и начала свой длинный рассказ:

– Папа – незаконнорожденный.

И оглушила меня этим словом, потому что я встречала его только в старых романах.

А она рассказала, что мать ее папы была "суфражистка" (я думала, что суфражистки были только в Англии) и просто хотела что-то доказать своим братьям, которых ненавидела, и родила незаконного ребенка от еврея по фамилии Леви, но ребенка тоже никогда не любила, и воспитали его чужие хорошие люди...

Она долго рассказывала об этих людях, и о детстве своего отца, и о том, как его все время вызывали и вызывали, "потому что он из этой семьи". Я не сразу поняла – из какой. Из семьи ростовщика или...

– А папа ничего не знал. Его вечно вызывали, спрашивали... Но он ничего не знал... мать уехала за границу...

– Но ведь его еще на свете не было?

– Нет, почему, уже был. Ему сейчас сорок два года...

– Ну, это все равно. При чем же тут он? К этому ростовщику?

– Ты не понимаешь, – сказала Дуся грустно. – Он к ростовщику никакого отношения не имеет. Но убил его человек... человек из нашей фамилии.

– Родственник?

– Дядя. Брат его матери.

Помолчала и добавила:

– Помещик.

Это уже было понятно. Происхождение. Выслан за свое происхождение – это не удивляло. Тогда не говорили –

сослан, ссылка. В ссылке бывали революционеры, при царской власти. А нынешних не ссылали – их просто выслали. Слово "концлагерь" мы уже знали, но применительно к Германии. Оно и звучало по-немецки.

* * *

Только через сорок с лишним лет, уже в Израиле, я узнала, кто, когда и почему убил ростовщика Диманта. Я сидела в Национальной библиотеке и читала то, что писала Недельная хроника газеты "Восход" 4 августа 1895 года.

"Местечко Антаки, Бессарабской губернии. Убийство богача Ойзера Диманта одним из его должников служит у нас предметом самых оживленных толков. В прошлом году многие у нас были поражены крахом землевладельцев Стамати и Бутми де Кацман. Дело в том, что у последнего было три имения в Сорокинском уезде – Антаки, Плопы и Цаул, стоимостью в 1 миллион рублей, и вдруг объявление несостоятельности при уплате всего 200 тысяч! Главным кредитором и оказался покойный Димант. Долг ему простирался до 750 тысяч. Димант энергично приступил к взысканию этой суммы.

Сначала должники как будто сдались на компромисс, согласившись в доме кишиневского предводителя дворянства платить капитальную сумму без процентов, но вслед за тем одумались и уклонились от ответа. Димант перешел к принудительным мерам. Еще в прошлом году должники уговорились между собою, что если не удастся покончить с Димантом, то следует по крайней мере проучить его, нанести вообще обиду действием и т.д. Однажды они заперли ворота того двора, где он находился, и только благодаря его отчаянным крикам о помощи он был спасен. После этого события, по его ходатайству, последовало распоряжение от господина начальника губернии на имя полицейского управления об оказании Диманту содействия при взыскании, с охраной его личности от посягательств должников, и до настоящего случая при исполнении взыскания вместе с судебным приставом каждый раз являлся и становой при-

став с полицейскими урядниками. В роковой день 28 июля полиции не было, вследствие незнания вновь назначенным судебным приставом о последовавшем со стороны губернатора распоряжении. По окончании описи Димант, находившийся на сельской общественной квартире (?), собирался уже садиться в фаэтон. Вдруг откуда-то раздался выстрел. Димант повалился как сноп. Снова последовал выстрел, второй, третий, четвертый. Стрелял Вадим Бутми де Кацман. Все это происходило на глазах судебного пристава, понятых и местного крестьянского населения. Никто не тронулся с места, чтобы сделать попытку помешать убийце. Последний преспокойно прошел в свои апартаменты, где, говорят, его ожидали к обеду... Он только тогда был задержан, когда из Сорок прибыли полицейские и судебные власти. Его посадили на довольно удобный фаэтон и в провожатые ему был дан только урядник. Лихая тройка понесла, и мужики, глядя вслед уезжающим, говорили с убеждением: "Ничего не буде, за жида ему ничего не буде".

И ведь не ошиблись мужики. Через два года в Херсоне состоялся суд – убийца был оправдан.

Только я думаю теперь, что советскую власть интересовал не убийца ростовщика, Вадим Бутми де Кацман, а его брат Георгий (р.1856 – ?), дворянин, отставной офицер, "погромный литератор", член – и, возможно, один из основателей "Союза русского народа". В 1905 году он издал в Петербурге и в Казани "Протоколы сионских мудрецов". В 1917 году его допрашивала по поводу его деятельности чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства, секретарем которой был Александр Блок. Дата его смерти неизвестна. Неизвестна и его дальнейшая, после допроса, судьба.

Вероятно, родителям легче было рассказать Дусе про убийство ростовщика, чем о "Протоколах".

Но все это – сегодняшние мысли. Про Георгия Бутми де Кацмана я тоже узнала только в Израиле – еще позже, чем о деле Диманта.

Был уже сорок восьмой год, и позади была не только война, но и воспоминания о войне. Однако люди еще делились – на тех, кто "оставался", и тех, кто спасался от немцев. Симпатии между ними не было. Те, кто оставался, все больше помалкивали. Вернувшиеся относились к ним свысока, а то и с прямой ненавистью – "Ах, они бедные, пострадали. А ихняя Танька вспоминает: при румынах все душились "черной кошкой"! И не стесняется, негодяйка!"

Миша Большун – "мальчик из нашего класса", которого все любили, – рассказал мне о судьбе тех наших одноклассников, кто оставался в Одессе. Почти все они успели перед войной кончить институты – и почти все они погибли в гетто. Спаслись две девочки – Женя Шерман, которую сумел спрятать ее муж, Сережа Брамбилло...

– Ему помогла Нина Шульгина – ты ее знала?

– Это моя подруга.

– Ну, молодец, что у тебя такие подруги. И еще спаслась (он назвал имя, которое не хочу повторять) – ну, ты наверное, знаешь, почему.

– Знаю. Она жила с евреем из юденрата.

– Ну, да это все знают. А я ее не осуждаю – спасла себя, спасла сына своего. А больше никто. Геня Гельбин, Сарра Глазер, Люба Спектор, Додик Когон... К Додику в гетто Дуся ходила – знаешь?

– Дуся?

– Ходила, носила ему еду, поддерживала... Его однажды даже к ней домой отпустили – за две бутылки водки. Она хотела его спрятать – он не захотел. Сам не захотел. Ну, и... А теперь с ней некоторые даже не здороваются, – потому что она оставалась.

– А где она живет? Там же?

– Нет, ее вроде переселили, или сама переселилась. Дать тебе адрес?

Она жила одна, в полуподвале, довольно светлом, – есть в Одессе такие полуподвалы. Открыла мне дверь – и ничуть не удивилась. А я впервые в жизни удивилась – ее красо-

те. Волосы у нее густо и ровно поседели, глубоко сидящие темные глаза стали ярче...

– Ты похожа на маркизу!

– Это все мои благородные седины, – усмехнулась она. Против ее окна остановились мужские ноги в желтых туфлях, очевидно, ей знакомые. Она высунулась и повела какой-то кокетливый разговор: заходите, заходите.

– Ну, что, пойдем на Соборную? – сказала она мне.

Мы пошли на Соборную, которая давно уже называлась площадью Красной Армии. Собора не было. Был, правда, Памятник, но с пушкинской несправедливой эпитафией на цоколе. Мы сели на скамейку, – невдалеке от нас на гипсовой скамейке сидели Ленин и Сталин, новенькие, не подозревавшие, что просидят тут совсем недолго. А Дуся, трагическая красавица с серебряными волосами, рассказывала и рассказывала. Про Додика Когона. Про еврейское гетто на Чумке.

– Тебе Мишка, наверное, уже все рассказал. И про водку тоже... Но когда мне сказали, что за две бутылки водки его могут отпустить... Тут я... В общем, достали мне эти две бутылки – не шнапс какой-нибудь, настоящую водку, русскую... И его отпустили, и он был у меня... и я – я просила его остаться... останься, я тебя спрячу, – так я ему говорила.

Вдруг она заплакала, рассказывая, – тяжело, горько заплакала, – и я потянулась ее утешить, но она злобно отмахнулась, потому что все равно не было между нами ни теплоты, ни дружбы, ни полного доверия.

И все-таки она стала мне это рассказывать – Бог весть, почему... Я ей сказала, что хотела бы про это написать – может быть, поэтому? А может быть, она решила, что я имею право спрашивать? Может быть, она себе что-то в этом роде сказала? Мы про многие вещи думали тогда словами.

– Я его умоляла... Я тебя спрячу, не надо тебе возвращаться... Ведь тебя отпустили – кто будет тебя искать, зачем? А он сказал: меня как канатом туда тянет.

И я пошла его провожать и довела до самой Чумки. И больше я его не видела. А когда в следующий раз пришла,

мне этот, из юденрата, сказал: "Вам Когона? Ищите костыль".

Он раньше многих погиб, один из первых. Это акция была против инвалидов.

Подняла на меня глаза и сказала с мукой:

– Только не пиши, как еврейка.

– Понимаю, – сказала я.

Я понимала, чего она хочет – высшей, спокойной правды, не еврейской горящей обиды. Я ее понимала. Мои мысли словами – за нее – были: это еврейская трагедия, странное, пережиточное повторение еврейской трагедии, но говорить о ней можно только с общечеловеческих высот.

Такие были мысли словами. А не словами – было ощущение, словно зонтиком или палкой в трамвае ткнули ненароком, – так что и оборачиваться не надо – но очень больно. Ощущение прошло, но не забылось, хотя определить его и теперь трудно.

И когда я уходила, она снова повторила – видно, ей это казалось особенно важным:

– Только не пиши, как еврейка.

* * *

Когда я в тридцать третьем году читала "Золотого теленка" и хохотала, счастливая, с авторами вместе, чувствуя, что о мы с ними как бы подмигиваем друг другу, и этого не увидят и не поймут не-одесситы, старая детская мысль стучалась, как ощущение: если бы им нравилась эта современность – то не смеялись бы!

Но вот уж кому не нравилась современность, – так это няне.

Она ни про какой союз, куда вступали домработницы, и слышать не хотела. Папа посмеивался над ее непреклонностью, но, по-моему, одобрительно. А няня все вспоминала, как в мирное время... и в том мирном времени, как я поняла, все были довольны и счастливы. Мой главный друг и жених Володя, внук бывших домовладельцев, был с ней совершенно согласен. Когда наступила эпоха Великого перелома, няня сделала важное умозаключение:

– Николай (имелся в виду Николай Второй) был пьяница, но при нем все пили и ели. А эти не пьют – ну и что?

Не договаривала, потому что совершенно ясно было, что – ничего хорошего.

Папа размышлял вслух:

– А откуда это, собственно говоря, известно, что Николай был пьяница? Кто это знает?

Мама отвечала:

– Все говорят. Вот спроси у Ефима Владимировича!

– Не знаю, не знаю, – говорил папа. – Никогда не слышал. Про Александра Третьего – да, какие-то истории ходили. Но про Николая...

Няня в споре этом участия не принимала. Но, возвращаясь из очереди за хлебом, заводила свое: Николай был пьяница...

Я никаких выводов делать не собираюсь. Трудно разобраться в толще народной души. Но вчера прочла: согласно опросу, сделанному газетой "Правда", все, кто выпивает каждый день, единогласно поддерживают Ельцина. Несмотря ни на что, несмотря на то, что денег не платят, несмотря на Чубайса.

Виват народным традициям. А очереди – ну что, очереди. При Горбачеве начались, а при Ельцине кончились!

Меня зимой двадцать четвертого года в очередь не посылали – считалось, что опасно: могут вырвать карточки.

– Люди сейчас злые, – говорила няня. – Хлеб во всех отобрали, за границу вывозят, все говорят...

– Господи! – говорила мама. – И это в Одессе! Был самый благодатный край!

А я скучала по хлебу. Хлеб с маслом! Главная еда – и главное лакомство. Масло намазывалось тоненько-тоненько, – мне его и не надо было больше. Но хлеб! Обыкновенный, черный кирпичик! Его всегда не хватало.

И тут в здании бывшего Гума открылся Торгсин. Там был такой белый хлеб и такой белый сахар – даже белее, чем в наших воспоминаниях. Одесса сразу отозвалась анекдотом: "Что это за магазин? – Это не магазин, а музей. – А тут написано "торгсин". – Это и значит музей. Люди смотрят, что ели их предки до пятилетки!"

Шесть лет жила Одесса по карточкам. Торгсин помог тем, у кого что-то сохранялось: у нас, например, туда по одной ушли все серебряные ложки. Только их было мало.

* * *

Но я опередила время. Тогда, когда у нас в гостиной танцевали фокстрот, никто еще не гнал время вперед. Даже Катаев.

Обычно меня загоняли спать после того, как кончались танцы. Но иногда можно было тихонько играть в уголку гостиной, и никто не обращал на меня внимания. Как раз тут, в уголку, стояла моя игрушечная, но почти как настоящая, плита с кастрюльками и сковородками. Ее нельзя было оставлять в детской, чтобы Ляля чего-нибудь там ненароком не схватила, — она еще не ходила, но довольно бойко ползала. Я тихо играла, иногда прислушивалась к разговорам — если были интересные. Бывали, например, разговоры про какую-то Милу, которая красавица.

— Я бы не сказала — красавица, — возражала осторожно Софья Львовна. — Так, ничего особенного, хорошенькая...

— Мама ее — пожалуй, да, можно сказать, что была красавица, — замечала ее старшая сестра. — Во всяком случае, у нее были правильные черты лица.

— У Милы тоже! Когда мы в седьмом классе учились, на нее младшие бегали смотреть! — зажигалась Берта Лазаревна. — Ефим, ты помнишь Милу, мою подругу? Ефим!

Ефим Владимирович вырывался из серьезного мужского разговора:

— Милу? Ах, Милу! А что, она вернулась?

— Пока нет. Не в этом дело. Как по-твоему, красивая она была?

— Почему была? Она и сейчас красивая. Копия матери.

— Ну, кто может знать, какая она сейчас! — говорит Полина Львовна со вздохом. — Все-таки — сколько лет, как она уехала? По-моему, сразу после переворота?

— Положим, не сразу, — говорит Берта Лазаревна. — Уже театры работали, уже этот... за которого она замуж вышла... Забыла его фамилию...

— Она потом приезжала, — неожиданно включается муж Полины Львовны. — Навестить родителей. Года два тому назад.

— Ты разве ее знал? — подозрительно спрашивает Полина Львовна.

— Ну, откуда же... Мне ее на улице показал Арис — они в одном доме жили. А потом Арис рассказал, что она с мужем в Берлин уехала.

— Нашли тему для разговора! — говорит Полина Львовна. — В Берлин! В Париж они поехали!

Я знала эти слова, эти названия. В Берлин уехали Германские, папины родственники, а в Париж... В Париж никто не уезжал, но оттуда скучной проказнице Соне прислали куклу. Восковую куклу!

— Что значит "восковая"? Фарфоровая?

Фарфоровые у меня были, но быстро разбивались.

— Нет, фарфоровая из фарфора, а эта — из воска. Ну, как свечи. Ты знаешь свечи?

Я знала свечи. Но чтобы из них — кукла?

Это было в не очень интересной книжке "Сонины проказы". Но я заметила: когда взрослые говорят слово "Париж", они его как-то особенно выговаривают. Как будто им нравится его выговаривать. Почему?

Это из вопросов, которые не задаются. Их очень много.

Разговор о Миле я восстанавливаю теперь из лоскутков — он возобновлялся, с небольшими вариациями, несколько раз, и за столом тоже, когда чай пили и меня забывали прогнать... кажется, даже родители что-то говорили об этой неведомой мне — и им — Миле. Я маму о ней спрашивала, но она ее не знала. Сказала только, что, наверное, она тоже "настоящая Берта Лазаревна".

Итак, в моем представлении она осталась только двумя словами: Мила и Париж. Слово "красавица" тоже было, только я не очень понимала, что взрослые имеют в виду. Для меня это были картинки из старых книжек: длинные платья, а не короткие, как у всех тут, длинные распущенные волосы, а не стрижка и подбритый затылок. Когда я показывала маме такую картинку, она говорила — в лучшем

случае: да, интересная! Что значит – интересная? Но тогда все так говорили. А тут вдруг – красавица.

Странно. В том фокстротном году наверняка много говорили об уезжающих. У Ефима Владимировича, например, уехал в Америку его близкий друг Шура. Потом, ялтинским летом двадцать пятого года, мы читали его смешное письмо. Там рассказывалось, как он, разгладив с палубы американский берег, закричал: "Земля, земля!" – и какой-то скептический еврей указал ему, что это уже было крикнуто раньше, более своевременно, и вообще Америка давно открыта... Шура мне навсегда запомнился благодаря этому письму. Но я никогда больше о нем не слыхала. И только через сорок с лишним лет Шура всплыл снова.

* * *

Это было в середине шестидесятых годов – в благословенные времена застоя.

Не помню уже, как Ефим Владимирович и Берта Лазаревна оказались в Ленинграде – вероятно, у них были там какие-то родственники. Они пришли к нам в гости, и я видела, что они оба понравились – и мужу, и свекрови. На Берту Лазаревну муж смотрел с явным удовольствием. Она весело вспоминала, как когда-то наш трехлетний сын (мы его в этом возрасте не видели) по ее просьбе прочитал стихотворение:

Пожарная машина

Стояла у ворот.

И остановился. Замолчал.

– Я ему говорю: а теперь другое почитай.

Он подумал и прочел:

Пожарная машина

Стояла у ворот.

– Но ведь ты это уже читал!

Он объяснил:

– Та была красная машина, а эта – зеленая.

Посмеялись. Даже, кажется, наш сын, тут присутствовавший, не обиделся. Он прожил в Одессе у моих родителей те пять лет, когда мы были в лагере, и усвоил мамин

взгляд на Берту Лазаревну как на человека несерьезного. К тому же он знал, что она насмешница, но не обидчица. Он спросил ее:

– А помните, как вы перепутали мамин день рождения с днем рождения Толи Левитина?

Она засмеялась:

– Вообще-то не помню, конечно. Но это на меня похоже.

Еще бы! Я помню тот вечер очень даже хорошо: я уже лежала в постели, родители куда-то ушли в гости, и вдруг в дверь позвонили. Я прислушалась – няня спустилась к самой входной двери (хотя достаточно было сверху потянуть за веревочку), и там пошли какие-то переговоры, которых я уже услышать не могла. Наконец, няня появилась, с пакетиком в руках.

– Берта Лазаревна!

Лицом, голосом и всей фигурой няня выразила свое к ней отношение.

– Вот! Думала – твои именины. А я ей говорю: да ее именины месяц как прошли. А она говорит: а чьи же? Как будто я знаю. Говорит: а я ей книгу принесла в подарок. Ну, – говорю, – давайте книгу, я утром отдам, сейчас она спит. На вот!

Обрывая оберточную бумагу, я сказала няне:

– Но я ведь не сплю!

– Да она как придет, как начнет, и Лялю разбудит.

Книга была не толстая (первое огорчение), не старая, а новая (второе огорчение), в красном с золотом переплете, и на нем было написано: "Золотая библиотека". "Маленькие женщины". Автора я не посмотрела.

Начиналась она фразой: "Что за праздники, когда нет подарков!"

Эти слова пробудили глубокое сочувствие в моей душе, и я стала читать эту нетолстую книгу.

А Толя Левитин – герой моего будущего рассказа "Пифке" – получил свой подарок на следующий день. Это была другая книга из новой "Золотой библиотеки" – "Трое в одной лодке".

И вот, через тридцать с лишним лет так сидели мы за

столом, и шли у нас воспоминания дальних и недалних годов, и я спросила Ефима Владимировича:

– А помните, у вас был приятель Шура? Такие интересные письма писал...

Я ожидала ответа: да, помню, но он умер. Или – ну, как же, но мы с тридцатого года не переписываемся. Никто в те годы – по крайней мере, так мне казалось – не переписывался с границей.

Но они оба были непредсказуемы – не только Берта Лазаревна, но и Ефим Владимирович. (Для меня они так и остались с отчествами, хотя между собой они все давным-давно звали друг друга по именам. А обращение к родительским друзьям "тетя Маня", "дяд Лева" пришло уже потом, во времена наших детей).

Непредсказуемый Ефим Владимирович весело отвечал:

– Ну, как же! Мы переписываемся. У него все хорошо, живет в Нью-Йорке...

– В Нью-Йорке? – переспросила моя обычно молчаливая свекровь. (Своей молчаливостью она когда-то снискала восхищение Виктора Некрасова: "Сидит, тихая, красивая, в черном шелковом платье... Вот бы моя мама так!")

– Да, в Нью-Йорке. Уже на пенсии, конечно, но продолжает печататься там, в этой русской газете... как ее... там, где Седых.

– "Голос родины", – вспомнила я. Я видела такую газету в то же ялтинское лето двадцать пятого года.

Но Ефим Владимирович покачал головой:

– Нет, иначе... А, вспомнил! "Новое русское слово", вот как она называется.

И тогда моя свекровь, моя такая тихая свекровь, задумчиво сказала:

– Может быть, он знает моего брата? Вы не могли бы его спросить?

И опять меня изумил Ефим Владимирович. Он ни на минуту не задумался:

– Ну, конечно! Завтра же напишу. Как зовут вашего брата?

– Григорий Яковлевич Аронсон.

Ефим Владимирович записал это имя. А я подумала, что

все-таки... Как можно?.. Ведь он меньшевик и бундовец... Перед тем, как мы в 1943 году поженились, мой будущий муж предупредил меня, что у него такой дядя имеется в Америке... Как честный человек предупредил! А эти двое ничего не боятся – ни свекровь моя, ни Ефим Владимирович.

Через месяц мы получили письмо из Одессы:

"Шура пишет: как раз сегодня я в "Новом русском слове" встретил Григория Яковлевича..."

И его адрес.

Все сработало.

А теперь я думаю: поколение наших отцов выросло в нормальное время. Да, вот в то самое мирное время, столь любезное моей няне, люди не боялись таких простых вещей, как переписка с заграницей. То есть в тридцать седьмом и они, конечно, стали бояться, но это не вошло в их плоть и кровь. Не стало ими. Как бы осталось снаружи, а потом, когда пришло время, и отпало.

Боже мой! Как мог Блок писать: "Мы дети страшных лет России"... И когда!

А может быть, он чувствовал будущее как реальность? С поэтами и не такое бывает. Особенно с теми, "серебряными".

Это был последний раз, когда я их увидела, – милых людей моего детства. Но перед этой встречей была еще одна – в незабываемое лето пятьдесят четвертого года. Когда я приехала в Одессу за сыном.

* * *

Веснушки и гвоздики, густая россыпь веснушек на маленьком круглом лице, и гвоздики, толстый букет в маленькой руке – другую руку держит моя мама. Я помню не лицо ее, а быстрое приближение и подагрические ноги, – потому что я смотрю вниз, туда, где вот этот мальчик, похожий на прежнего, но не вполне, не совсем такой... Они так быстро идут, почти бегут к моему вагону.

А папу не помню в эту минуту. Хотя знаю, – конечно, знаю, – что он тут же.

Он привозил моего сына ко мне в Бокситогорск. Без предупреждения. Пришел в барак дневальный из комнаты свиданий – силуэт его вижу – и вижу, как он подходит с ласковой улыбкой и тихо, осторожно мне говорит:

– К вам приехал ваш папа... и маленький сынок... Воды, воды!..

Я услышала, как он кричит... Меня побрызгали, я оправилась – и пошла в комнату свиданий.

Там была только надзирательница – Загорулько. Ее в зоне не любили, помнится. Но она, по-видимому, любила детей – на мальчика она смотрела с интересом и даже прислушивалась к его речам. А он рассказывал мне, как они приехали "на аэrrрродрrrром!" Он только недавно научился произносить это "rrr"; ему было три с половиной года.

Я спросила его:

– Ты папу помнишь, сынок?

– Помню.

И, взглядом прямо в мои глаза:

– А где он?

Я сказала:

– В Караганде.

Он повторил:

– В Кrrrrганде.

И больше не спрашивал.

(В этой Кrrrrганде муж не задержался: с первым же этапом, его все дальше и дальше погружали в глубину Колымы, поскольку срок у него был двадцать пять лет. Но, как вы, наверное, помните, в 1953 году товарищ Сталин умер. И мой муж "двадцать лет оставил начальнику").

О чем-то мы говорили с отцом, не сидели молча, конечно. Но помню только, что он иногда вытирал глаза платком.

А мальчик совсем развеселился и уже бегал по просторной комнате, пока Загорулько не подхватила его на руки со словами:

– Ну, пора тебе... собираться... на аэrrрродром!

Тогда он был еще совсем похож на себя прежнего.

В старости редко заводишь новых друзей. Вокруг моих родителей еще до войны образовались пустоты. Гандельма-

ны и Левитины уехали в Киев, Софья Львовна с мужем – в Москву. В Одессе осталась только Полина Львовна с мужем, – но и они жили, как бездетные: сын в Москве, дочь где-то в Западной Украине... Не стало плотного кружка друзей.

А после войны не стало и квартиры. Вместо прежней, когда-то большой, потом уплотненной до последних оставшихся незанятыми метров, им на троих (младшая сестра жила еще с ними) дали в конце концов крошечную комнату в доме, где цирк. Наверное, цирк и теперь там находится. Потом сестра уехала, и вместо нее в их комнатенке появился трехлетний мальчик. Забота, радость, тревога и утешение.

Но прежних знакомых-ровесников не осталось. Соседи по дому были новые, чужие. Не с кем было словом перекинуться.

Пока не приходило лето. Потому что летом одесситы возвращаются к морю.

Я приехала за сыном летом. И на следующий день пришла Берта Лазаревна.

Мне показалось, что она совершенно не изменилась.

Последний раз перед тем я видела ее летом сорок первого года. В Харькове, когда шла эвакуация. Гандельманы и Левитины бежали сюда из Киева, но очень скоро и Харьков оказался под угрозой. Тогда я странным образом сумела им помочь, словно общность судьбы на несколько дней забросила меня за окошко, где эвакуирующимся выдавали справки-разрешения.

Как я туда попала? Проездом из Севастополя в Москву, где я работала в Наркомате Военно-морского флота. И тут мое начальство приказало на несколько дней подменить человека, работавшего в этом окошке.

Сию. В окошке передо мной целый день сменяются лица – мужские, женские, иногда – редко! – молодые. А если выглянуть наружу – огромная, все разбухающая толпа, заполнившая всю площадь – какая это площадь? Ничего не знаю. Лица, лица, лица... Моя работа механическая – я ставлю штамп "эвакуации подлежит". Без штампа не выпустят.

И вот опять – немолодое женское лицо, измученное, какое-то пыльное – и кого-то оно мне напоминает, такое нередко случается в чужом городе. И вдруг оно оживает, придвигается, и я слышу: Руня!

– Елизавета Моисеевна!

– И Гандельманы тоже здесь! – восклицает она.

Вечером я пришла к ним в гости – они жили у своих знакомых, которые тоже собирались в эвакуацию. Пришли и Левитины. Левитины постарели, Ефим Владимирович растолстел, – но Берта Лазаревна была такая, как всегда. Я смотрела на нее с привычным удовольствием – смуглое лицо еще потемнело от сухого харьковского солнца, и на нем еще ярче выделялись глаза и зубы. На минуту мы с ней оказались вдвоем на кухне. И она сказала:

– Понимаешь, я ничего не имею против большевиков, но, честно говоря, если бы это были французы, я бы никуда не двинулась. Но немцы... Писали, что они кастрируют еврейских детей. Мало ли что пишут, конечно, – но вдруг?

Я увидела ее через тринадцать лет – и опять мне показалось, что она почти не переменилась. А может быть, это теперь мне так кажется? Во всяком случае, я увидела ее той же. В ней сохранилось то главное, неизменное, что мы прежде всего ищем – и находим – в милых нам людях. В каждом – свое. В ней это, скорее всего, была готовность к веселью. Когда в двадцать восьмом году папа, после двух месяцев заключения вышел из ДОПРа (отпустили с извинениями – рассказала мама), я помню ее приход – в тот же вечер; помню ее восторг, ее ликование, и как она сидит рядом с папой на нашем большом диване и восклицает, и смеется-заливается...

Были ли у нее седые волосы? Не помню. Она была она. И вот ей, той, прежней, я должна была рассказать последние новости о подруге ее детства.

– Знаете, с кем я познакомилась? С вашей Милой.

Может быть, я сказала это еще проще: я познакомилась с вашей Милой, между прочим. Или – я встретилась с вашей Милой, кстати.

– С Милой Эйзенгардт? Ой, как интересно! Где?

– На Ленинградской пересылке.

– Она еще сидит?

– Так она же не сидела – она в ссылке была. То есть, она сидела, конечно, но раньше, а когда я ее видела, она в ссылку приехала. А как вы догадались, что я о ней говорю?

– А у меня только одна и была Мила – Эйзенгардт. Но ты откуда знаешь? Она тебе про меня рассказывала?

– Вы сами про нее рассказывали. Давным-давно, когда я была маленькая. Вы все про нее говорили. Не помните?

– Наверное, говорили. О ней всегда говорили – красавица была. А теперь?

* * *

А теперь?

Она вкатилась в нашу камеру однажды утром – именно вкатилась, на коротких полных ногах – быстро, деловито и, я бы сказала даже, – весело. Народу было еще совсем немного – этап только начали собирать. Несколько эстонок на нижних нарах справа от входа, а слева от входа, тоже на нижних нарах, – я, Ангелина и еще две женщины. Новенькая осталась около эстонок. Я сразу подумала, что это повторница (так у нас называли тех тридцатисемишниц, которых "замели по новой"). И возраст, и внешность, и какая-то привычная сноровка...

Мы с ней познакомились в тот же день. Я не ошиблась – она была повторница. Уже отсидела десять лет – за мужа – а теперь отправляется в ссылку. Куда – ей неизвестно.

Нам обеим носили передачи, мы угощали друг друга, но у нее они были какие-то необыкновенно, затейливо вкусные. Она объяснила, что у ее невестки домработница – настоящая кухарка.

– Да вы мою невестку, наверное, знаете. Вы филологический кончали? Это Тронская, Марья Лазаревна.

– Господи! Так вы – жена Исаака Моисеевича?

Исаак Моисеевич Тронский, историк, был одним из университетских профессоров, исчезнувших в тридцать седьмом году. Брат его – античник – продолжал преподавать в том же университете. Такое случалось нередко – казалось, что Сталин не случайно оставляет на воле одного

из братьев. Может быть, чтобы было у кого спросить: "где брат твой Абель?" Семинарская выучка в нем нередко сказывалась.

Очень скоро выяснилось, что Людмила Павловна была одесситка, как и я, — только на двадцать лет старше. Мы стали искать общих знакомых. И почти сразу...

— Боже мой, так вы знаете Бетьку? Это ж была моя лучшая подруга в гимназии. Бетька Павловская! Чудная девочка! Хулиганка, конечно, — но незлая, нет! И красotka какая была! А сейчас?

— Значит, это вы — Мила? Она о вас говорила. Я с детства запомнила...

Наш этап собирали долго, по разным лагерям, и Большой дом (внутренняя тюрьма МГБ) добавлял от себя: Ленинградская область очищалась от пятьдесят восьмой статьи. Людмилу Павловну отправили раньше, но все-таки мы пробыли вместе почти месяц — у нее было время рассказать мне про тридцать лет своей жизни.

Она была ровесницей века. И было ей восемнадцать лет, когда в Одессе появились — ненадолго, конечно, ну, на два-три месяца, не больше, просто переждать трудное время, — первые петербуржцы. Среди них — тридцатидвухлетний известный в столичных литературно-театральных кругах Константин Михайлович Миклашевский, актер, режиссер, литератор, один из руководителей (вместе с Евреиновым и Дризенем) просуществовавшего два сезона в Петербурге "Старинного театра". В Одессе он сразу принялся за дело: поставил в местном театре Плавта, Сервантеса, Гофманшталя... Но задумал он нечто совсем необычайное: поставить софокловского "Эдипа" — прямо на Одесской лестнице. Исполнительницу на роль Антигоны он нашел сразу. Как, где он увидел восемнадцатилетнюю Милочку Эйзенгардт, — не знаю, но он увидел в ней именно Антигону. По отзывам всех, кто знал ее тогда, она была необыкновенно красива. Из постановки, насколько мне известно, ничего не вышло — лестница еще несколько лет дожидалась своего воплощения в искусстве. А Миклашевский женился на Милочке и увез ее в Петроград.

В Петрограде молодые поселились на Кронверкском, у

Алексея Максимовича Горького. Там к тому времени, кроме постоянных обитателей, жило еще человек десять, а иногда и больше: художник (и ясновидец) Ракицкий, художница Валентина Ходасевич с мужем (через сорок лет напечатавшая свои воспоминания), Мария Игнатьевна Бенкендорф, по второму мужу Будберг, которая воспоминаний не оставила, но о которой вспоминают все мемуаристы. Еще Петр Петрович Крючков, секретарь Горького и близкий друг Марии Федоровны Андреевой, молодые Миклашевские, Мария Гейнце, подруга Татлина, еще какие-то люди... Приходила ли кому-нибудь из них в голову параллель с "Декамероном" Боккаччо? Наверное приходила — люди все были хорошо образованные. У Боккаччо десять представителей хорошего общества обоего пола спасаются где-то в предместьях Флоренции от бушующей в городе чумы; квартира на Кронверкском — такой же островок спасения. Правда, жили голодно, не в пример флорентинцам! — и отапливались скуповато, но и тут и там жили весело, потому что обитатели были молоды и легкомысленны, — в таких ситуациях легкомыслие и есть истинная мудрость. Квартира на Кронверкском! Именно там Милочка Эйзенгардт получила навеки к ней прилипшее прозвище "агути"... Откуда оно взялось? Пожалуйста. Обитатели квартиры, отвлекаясь от метельной зимы, бушующей за кремовыми шторами, читали "Таинственный остров" Жюль Верна — вслух! Кто предложил называть друг друга именами персонажей этого романа — покрыто забвением. Прочли про морскую свинку породы агути, в которую попала чья-то дробинка. И тут все догадались, что агути — это Милочка, и кинулись искать, куда же попала удачливая дробинка. На этом распределение имен по Жюль Верну кончилось. Остались прозвища. Мария Игнатьевна была "титка", Валентина Ходасевич — купчиха, Ракицкий был Соловей, Петр Петрович Крючков назывался Пэпэкрю, миниатюрная Мария Гейнце была молекулой, и даже сам Горький получил от своей "коммуны" титул "дука ди Кронверко", что означает "герцог Кронверкский".

В начале двадцатых годов коммуна распалась. Многие ее члены, и сам "дука ди Кронверко", покинули пределы

Совдепии. Миклашевские уехали в Париж. Как, чем они там жили, Людмила Павловна не рассказывала, и вообще этим вопросом я задаюсь только сейчас, поскольку там и тогда от одного слова "Париж" у меня дух захватывало, как и у всех моих современников. Да чего там! Жили как все. Ходили в кафе – в "Ротонду", вероятно, – сидели там с приятелями, такими же, как они, то ли эмигрантами, то ли командировочными. Им и самим это было неясно. Эренбург, уперев тяжелый взгляд в глаза веселой соседки, спрашивал: "А какая у вас пропускная способность?" Одно время страстно играли в чет-нечет, и проигравшему Маяковскому пришлось подойти к какой-то даме, чтобы спросить, сколько жемчужин в ее ожерелье. Тогда в моде были длиннейшие ожерелья из искусственного жемчуга... Парижская жизнь!

Но она кончилась тем, что Людмила Павловна вернулась в Ленинград – одна. Миклашевский, который не часто баловал молодую жену своим мужским вниманием, изменил ей! С Валентиной Ходасевич! Которая была и старше, и вообще... Одним словом, Людмила вернулась в Ленинград. И там как-то попала в орбиту Маршака и даже стала автором книжки о замечательном человеке Мышкине, который хотел устроить Чернышевскому побег из Виллюйской ссылки. Маршакиды отнеслись и к автору, и к книжке доброжелательно. Маршакидами назывались начинающие писательницы, работавшие в редакции детской литературы под руководством Маршака: Лидия Чуковская, Тамара Габбе, Зоя Задунайская, Шурочка Любарская... Они создавали новую детскую литературу – веселую, озорную, без всяких сантиментов, словом – античарскую. Груня Левитина (работавшая в той же редакции), услышав о Людмиле Павловне от меня в алтайском лагере Топчиха, оживилась:

– Вы ее видели? Ну, как она? Такая же красивая?

– Ну, наверное, не такая же – но красивая. Никогда не скажешь, что ей пятьдесят лет.

– Гладко причесанная, да? Она всегда так причесывалась.

– Гладко причесанная. Ни одного седого волоса. Оживленная такая, хозяйственная, даже веселая.

– Она, кажется, не лагерь получила, а ссылку? Мне кто-то говорил...

Все всё про всех знают. Удивительное дело! В общем, повторницы довольно часто получали, как говорилось, "вольную высылку", это не в диковинку было... Да, но бедная Груня! Которая опять получила лагерь, опять десять лет, Господи!

– Ну да, потому у нее настроение было хорошее. И дочь к ней сможет приехать... У нее ведь дочь, кажется? Она вам рассказывала о себе?

– Ну конечно. Удивительная жизнь.

– Агути... Маршак ею очень восхищался. А она так и осталась на всю жизнь "агути"? Морская свинка?

Теперь я бы ответила: во всех воспоминаниях о том времени ее так называют. Без имени-отчества.

Через Слонимских Людмила Павловна познакомилась с "серапионами" – за ней наперерыв ухаживали Зоценко и Федин. Федин даже помог ей, когда она в пятидесятых годах вернулась из ссылки, – и пусть ему зачтется это доброе дело. Но после недолгого кружения среди серапионов Людмила Павловна вышла замуж за молодого профессора-историка, Исаака Моисеевича Троцкого, с которым они были знакомы еще с одесских, гимназических лет.

Профессор Исаак Троцкий исчез – без права переписки (тогда еще не знали, что это означает расстрел). Людмила Павловна попала в ссылку. Дочка Леночка осталась в Ленинграде у дяди и тетки со стороны отца. В тот год газета "Известия" была переполнена объявлениями: меняю фамилию Троцкий на... шли варианты. Наиболее распространенный – Троицкий. Дядя и тетя тоже сменили фамилию. Они стали Тронскими, и Леночка тоже.

Людмила Павловна в ссылке жила скудно, как все, и это уравнивало со всеми. Доходили отклики из прежнего мира – письма от родных, от друзей, от бесстрашного Зоценко – но ведь надо было жить, встречаться с людьми, разговаривать. Она была всегда очень общительна, а вокруг были никогда не виданные люди, русское простонародье. Непохожее на Одесское, которое только и было ей издали знакомо. Интеллигенции никакой, там даже ссыльных не бы-

ло. И она была всем чужая. Ее внешность, одежда, манеры, привычки, шутки – особенно шутки, она любила пошутить! – все обсуждалось и осуждалось. Она жила в кольце неприятия, в кольце неприязни, и в сущности, была обречена. Дело решила пишущая машинка... На дворе была эпоха бдительности, а она что-то такое на ней стучала по целым дням. Соседи, бдительные люди, написали донос. Людмила Павловна получила десять лет по статье – впрочем, я даже и не знаю, какая у нее была статья. Пятьдесят восьмая, конечно, – но какой пункт? А срок – десять лет.

Мы с ней вспоминали Париж. Она – Париж двадцатых, а я Париж тридцатых – я провела там один час восьмого июня тридцать восьмого года и одни сутки пятнадцатого февраля тридцать девятого, в двадцатый день моего рождения. Вполне достаточно для лирических воспоминаний.

Мы с ней вспоминали Одессу. Перебирали общих знакомых.

– А вы не знали в Одессе таких – Бутми де Кацман?

О, Господи! Знала ли я!

– Знала. Я думаю... Я в школе училась с девочкой...

– С Вандой или с Витуней?

– С Вандой. Но мы ее звали Дусей.

– Ну да. У него обе были Ванды – и жена и старшая дочь.

– Вы их знали по Одессе? Как удивительно!

Она возразила – даже с некоторым удивлением:

– Да нет, конечно, как я могла их знать? Я же из Одессы совсем девочкой уехала, а они были взрослые люди... Нет, я только его знала. Он, можно сказать, на руках у меня умер. Я работала тогда сестрой в санчасти...

Сапоги, галифе, где-то высоко-высоко узкая седая голова... Незабываемый, неизменяющийся облик – Дусин папа. К которому они так весело ездили летом в ссылку – как на дачу!

Людмила Павловна рассказала мне, как он умер, отчего... Но я этого ничего не помню. Осталось только – умер!

А она говорила:

– Когда я освободилась, я написала им... У меня был их

одесский адрес. Но они мне не ответили. Может, они переехали? Вообще – война прошла, мало ли что...

Я-то знала – Ванда Константиновна не переехала никуда. Там и осталась жить, на той же улице, что и я, только поближе к кирхе. Дуся – да, Дуся переехала, в каком-то подвале она жила... Тунька – кажется, замуж вышла. Но Ванда Константиновна?

Она преподавала в химтехникуме – Ахилл Левинтон у нее учился, задолго до того, как мы с ним познакомились. И все-таки, хоть и годы прошли, но когда он о ней говорил, мне чудилось, что он мысленно снимает шляпу:

– Ванда Константиновна.

Умеют мужчины произносить женское имя. Даже имя-отчество. Как-то у них голос становится глубже – ритм дыхания меняется, что ли? Или удваивают ударные гласные? В общем, передают голосовыми связками – не выражением лица даже – безграничное уважение, чуть ли не поклонение:

– Ваанда Константиновна!.. (Пауза.)

– У нее муж был где-то в ссылке, знаешь? Но как она держалась, как держалась! Как... как королева!

Но почему же она не ответила Людмиле Павловне?

Хотя... Это были еще сороковые годы. А они, все три, оставались в оккупации. Как тут упрекнешь?

Но я упрекнула. Через семь лет.

* * *

И опять – Соборная площадь. То есть, площадь Червонной армии. Оно и лучше, раз без Собора. Но до чего же ясно я его вижу!

Так вот – я сидела на скамейке в дальней аллее – той, что ближе к Преображенской. Так она для меня и осталась дальней. Здесь мы играли "в круга" по-немецки и пели про Dornröschen, а Елена Эрнестовна со своей сестрой Гертрудой, высокой и строгой, с большими ногами, из которых выпирали огромные косточки, – разговаривали о чем-то своем, неинтересном. Нам было странно, но приятно, что они зовут друг друга просто по именам. Гертруда была де-

вицей, а наша Елена – вдовой, ее муж, русский, умер давно, оставив ей дочку Тамару. Тамара, тихая, очень послушная девочка, была в группе вместе с нами, а потом поступила в немецкую школу... Потом они уехали в свою Германию. Когда это было? Не знаю. Помню, что мы с Еленой Эрнестовной, когда я уже была сравнительно взрослой, – лет тринадцати-четырнадцати, вероятно, – сидели у нее и сплетничали про Сталина. Елена Эрнестовна рассказала мне вычитанное в какой-то немецкой газете, как лицо Сталина – *sein asiatisches Gesicht* – освещается, когда входит его любовница, *sein Liebchen*. Кто имелся в виду – Бог их знает. Но "*asiatisches Gesicht*" запомнилось, как совершенно неожиданное, старинное какое-то, не из нашего века определение.

Первый раз я увидела Сталина на портрете в двадцать восьмом году. Помню дату точно, потому что в двадцать девятом, когда ему исполнилось пятьдесят, все газеты напечатали его портрет на первой полосе; он всем уже был хорошо знаком. Папин начальник-партиец был этим возмущен – так рассказывал папа, прийдя со службы. Мама нервно его спросила: а ты тоже что-нибудь говорил? Он не без гордости сказал: нет.

Так вот – о первой моей встрече с портретом Сталина. Висел большой такой портрет в нашем домоуправлении – Сталин в защитном френче, стоит, опершись руками на стол. Я спросила, кто это – мне сказали: Сталин. Я обрадовалась, что он такой красивый. Особенно по сравнению с Лениным. Портрет Ленина висел на стенке у моего партийного дяди. Он и дочку называл "Ленина". Дочка эта довольно скоро стала просто Леной, а потом перебралась в Израиль со всем потомством.

Эк, куда меня забросило. А там, на скамейке, думая про Елену Эрнестовну, я соображала: был у них уже Гитлер, когда она мне про свою газету рассказывала, или к этому только шло? Уж очень определение отдавало духом ихних тридцатых годов: *asiatisches Gesicht*. Да, так вот: немцы, кто успел, уехали в свою Германию. И Елена Эрнестовна с дочкой Тамарой тоже. Но Тамара, тихая Тамара, появилась в Одессе во время оккупации. Кто-то ее видел, кто-то мне

потом рассказал. Она, видно, задержалась ненадолго. Что она могла делать здесь? Служила переводчицей? Искала знакомых? Дошкольных? Школьных? Не могу, никак не могу думать о ней плохо – ведь в моих воспоминаниях ей по-прежнему семь лет.

Я вспоминала, вспоминала, курила, стараясь делать это небрежно-красиво, и вообще стараясь выглядеть. Я сделала в том году первый шаг в изящную словесность – у меня был напечатан очерк в совершенно новом журнале "Юность", и от этой самой "Юности" я приехала в родной город в командировку. Ох, до чего же это было приятно! Так сказать, на белом коне. Ну, еще не на белом, но все-таки...

А главное будет, когда кто-нибудь прочтет. Там есть про нашего мальчика – кто-нибудь догадается, что это я написала. Хотя фамилия не моя – я взяла тот псевдоним, который мне дал полковник Шпилевский перед Испанией, Зернова. По сей день вспоминаю Шпилевского, когда ставлю свою, теперь уже привычную, подпись.

Но в те дни она была новехонькая. Потом меня спрашивали, откуда, да для чего... Очень просто: я собиралась писать статьи и рецензии под настоящей фамилией, а разное высокохудожественное – под псевдонимом. И вот, сижу я на скамейке, укрытая своим незначительным псевдонимом, вспоминаю разные эпохи жизни, словно вытаскиваю нитки из чулка, оглядываю широкую бессоборную площадь...

На скамейке, где я сижу, всегда сидела Елена Эрнестовна. А ее сестра Гертруда – поодаль, со своей маленькой группой... А вот там, еще дальше на скамейке... Дуся Бутми.

Это действительно была она.

Очень красивая. Есть же такие лица – все красивее становятся с возрастом. Скульптурные. И седые волосы добавляют им мраморности.

Кто к кому подошел? Она ко мне или я к ней?

Она сказала:

– Как странно, что мы с тобой тут встретились. Я ведь теперь тоже в Ленинграде живу.

Я это знала – кажется, Нина Сигал мне рассказывала. И

о том, что она замужем, за архитектором. Я думала – спросить, не спросить?

Если бы я знала, что ей жить осталось всего несколько лет – спросила бы?

Боюсь, что да. Было у меня тогда непривычное чувство – своей праведности, что ли? Или своего права спрашивать? Но ведь ответ я заранее знала: боялись! Продолжали бояться! Но чего, чего уже было бояться? Ведь Людмила Павловна только хотела исполнить свой долг – перед ним, перед вами.

Я ее упрекала. Я думала: вот, так могло бы быть и с нами. И дети не захотели бы услышать наших последних слов...

Мы обе плакали.

– Понимаешь, еще раньше – намного раньше – к нам приезжала от папы какая-то женщина... И обокрала нас... И мы боялись...

* * *

Моя знакомая писательница говорила: я художник, я мыслю образами.

О себе я этого сказать не могу. Я и сейчас мыслю словами, как в детстве. Иногда своими, иногда чужими. Скорее слышу, чем вижу, – людей, места, время. И иду – бреду за словами. Иногда они мне диктуют, иногда я их отыскиваю.

Когда я начинала писать эту повесть, я не знала, что все в конце концов выльется в историю двух никогда не встречавшихся женщин, странно связанных между собой через мое невольное, пассивное участие. Конечно, мы – я имею в виду друга-читателя, который и ныне предается этому устарелому занятию, – так вот, мы с вами помним, что колокол всегда звонит по каждому из нас и что мы все – все! – связаны, знаем ли мы это или не знаем. Но иногда это делается – не скажу "очевидным", но – ощутимым.

И еще. Я долго сама не понимала, зачем вдруг, под самый конец, вспомнила Сталина, его портрет, немецкие толки о нем... Какое отношение все это имеет к окончанию той неясной по жанру вещи, которую я написала? А потом поняла. Он, "маленький, немытый и рябой", он, которого

мы никогда вблизи не видели (иногда могли различить на мавзолее), он и был Время. *То время*, если хотите. Время, определившее нашу судьбу, наши характеры, наши биографии. Или – для нас сегодня – воплощение времени. Хотим мы этого – или нет. Из моей книжки он вырос сам – под самый конец.

Один уважаемый мною москвич, по фамилии Черкизов, сказал мне:

– Почему у вас всегда такие... такие определенные концы? Прямо как моралитэ.

Я не поняла, что он имел в виду.

– Ну понимаете, я люблю концы открытые. И так может повернуться, и этак. А у вас...

Я помню, в начале шестидесятых годов Вера Федоровна Панова на своем семинаре молодых литераторов тоже сказала:

– Я так люблю открытые концы!

Шестидесятничество? Литературная мода? Тогда эти неясные, открытые концы давали ощущение некой свободы. Свободы автора, да и читателя.

А сейчас конец века – и многое закончилось, или заканчивается. В том числе и Советская власть, которой самые свободомыслящие из нас давали не менее трехсот лет на прожитье. А остается... Очень много хорошего остается, поверьте.

И присматривайтесь. А лучше, прислушивайтесь.

СКОЛЬЗКАЯ ТРОПА

Ранней весной этого, девяносто шестого года, мне позвонила из Лондона моя дочь. Она работает на Би-Би-Си.

— Мама, я тебе скажу приятное. Испания объявила, что она готова предоставить гражданство всем тем, кто был в интербригадах во время их гражданской войны. Потому что Негрин обещал... Тогда обещал...

Пятьдесят восемь лет назад.

Я ахнула и сказала:

— Как благородно!

(Кому бы я потом об этом ни рассказывала, реакция была одна: рот приоткрывается и — "как благородно!")

— ...так что, мама, ты напиши туда и...

Я сказала, жалея, что приходится ее разочаровать:

— Ко мне это, увы, не имеет отношения. Я ведь не состояла в интернациональной бригаде. Я просто была переводчицей при русском советнике. Это для тех, кто сражался... в общем, для интеровцев.

— Да? А я думала...

Разговор перешел на менее политические темы.

Рассказала мужу. И говорю:

— Вот Козьма Прутков так желал быть испанцем, а ты бы мог стать очень просто — через меня. Если бы этот закон и на меня распространялся.

Он задумался — наверное, каждый мужчина желает хоть иногда стать испанцем. Потом сказал:

— Но ведь ты была ранена!

— Да ну, — от этого ранения даже шрама не осталось.

— А ведь был, — сказал он. — Под правой лопаткой.

Шуму тогда было! Ранило переводчицу! Ранило переводчицу! Говорят, опасно!

Когда я появилась после госпиталя в Барселоне, – точнее, в Вальвидрере, на холмах под Барселоной, где помещался наш советский штаб, – штабная дежурная меня спросила осторожно:

– Из сорок второй дивизии? Там у вас, кажется, кого-то ранило?

Ранение в левое плечо испанцы называли: предлог, чтобы повидаться с семьей! А уж моя лопатка даже для этого была бы непригодна, будь я не переводчицей, а обыкновенным бойцом.

Но в госпитале я побывала с этой лопаткой. Берег моря с незнакомой мне почти белой водой (в нашем Черном море вода у берега зеленая), тишина, мягкое ноябрьское солнце... В соседней палате лежал русский летчик-истребитель, нога у него была подвешена, мне казалось, что он должен невыносимо страдать от этого, но он весело мне улыбался и даже шутил, когда я к нему заходила вместе с дамой из посольства. Ее фамилия была Федер, она была польская коммунистка. Хорошая была женщина. Она привозила гостинцы: толстые темно-коричневые плитки изумительного горьковатого шоколада. Спрашивала – не нужно ли чего – и явно спрашивала всерьез. Вообще-то она во всем была серьезна: это она, как вспоминают и Эренбург, и Савич, вырывала у разведчика Котова "Краткий курс", когда он перед оставлением Барселоны жег книги в посольском камине.

Исчезла бедная Федер. Вернулась в Советский Союз – и исчезла в лагерях.

Потом Анна Зегерс рассказывала мне, что польская компартия была совершенно стерта с лица земли – "сбрита", как выражаются немцы.

Вот такое уж наше поколение. Начнешь рассказывать о приятном – и тут же, с плитки дивного горького шоколада соскальзываешь в сталинские лагеря. Скользящая это тропа – воспоминания.

Много лет назад, начиная свою третью жизнь, уже после лагеря, я решила, что теперь начну писать и печататься. Раз уж настала оттепель... Аркадий Семенович Долинин, замечательный литературовед, специалист по Достоевскому, не

отступившийся от него ни в сороковые, и вообще ни в какие годы, спросил у Наташи Долининой, своей невестки и моей подруги:

– О чем же она собирается писать? О кандидатах филологических наук?

Наташа обиделась за меня:

– Ее жизненный опыт...

– Опыт непечатный! – отрезал он.

На дворе стояла осень пятьдесят четвертого года. Наверное, еще и Хрущев не знал, что он будет говорить на предстоящем двадцатом съезде. Наташа согласилась, но вспомнила:

– А Испания?

– А Испания – тем более! – сказал он весело.

Аркадий Семенович был человек ума острого и иронического. У него был свой опыт: он знал, что оттепели кратковременны.

А рассказ – вступительный – про Испанию уже во мне шевелился. И даже название было: "Штришок". Не помню, почему "Штришок". Рассказ помню – и так он до сих пор во мне лежит и иногда пощипывает совесть – как невыполненный долг.

А рассказу про мой непечатный опыт – то есть про лагерь – повезло. Он был написан еще в лагере – в сущности, записан, потому что был услышан в строю, по дороге на прополку свеклы. Дорога была длинная, шесть километров. "По утреннему свею", так сказать. Рассказчица шла в пятерке передо мной (мы в строю ходили по пятеро, не по четыре, как военные; старые эки объясняли, что пятерки конвою легче пересчитывать). В конце концов, после долгих мытарств и тщательной редакторской чистки этот рассказ попал в мою первую книгу. Все лагерные концы были тщательно упрятаны в сюжетную воду, но чуткие лагерники сразу во всем разобрались. Я получила письмо от Евгении Гинзбург: "Знаю я, знаю, где филологи работают сучкорубами и ходят за шесть километров полоть свеклу".

Про то, что я филолог и была сучкорубом, сообщалось на суперобложке, как факт моей трудовой биографии.

Это что! Тут все прозрачно. А вот я угадала "своего" в

Домбровском. Ничего не зная об этом авторе. По первой же его книжке "Обезьяна приходит за своим черепом". Читала-читала (с удовольствием) и дочитала до того места, где герои разговаривают у костра. Тут я закричала: "Он лагерник!"

– Кто? – спросил муж, который тут же за столом писал что-то научное.

– Этот самый Домбровский! Вот, посмотри! – и сунула ему книжку.

Муж прочел сцену у костра и сказал, с научной осторожностью:

– Возможно.

С Женей Гинзбург мы подружились, и она осталась одним из самых милых мне воспоминаний. С Домбровским так и не встретилась никогда, хотя у нас и были общие друзья. И он так и не узнал, что совершенно нечаянно для себя проговорился в сцене у костра.

Разные в жизни нашего поколения были костры – пионерские, походные, геологические, но там больше песни пели, чем разговаривали. А если и разговаривали – то не так. Мы, оставшиеся в живых обитатели Архипелага, создали, оказывается, могучую корневую систему, и корни наши переплелись, неведомо для нас.

– Вы были в Воркуте?

– Нет, в Озерлаге.

– Слюда?

– Ну, конечно!

– А знали вы там... Валечку Ким?

– Кореяночку? Еще бы!..

Что-то вроде братства.

Лагерное братство, испанское братство, одесское братство...

Нас тогда в Испании – нас, советских, – побывало три тысячи – а сейчас осталось, кажется, шестьдесят. Эти цифры дошли до меня совсем недавно. Всего шестьдесят человек... Несколько раз я встречала интервьюцев из других стран в этой моей четвертой жизни, – когда мы с мужем, став израильянами, стали ездить по свету. Одного интервьюца встретила в Итаке, другого – в графстве Салливан,

того и другого – на севере штата Нью-Йорк.

Который в Итаке – бывший коммунист. Из Южной Америки. По призыву своей компартии – не то колумбийской, не то аргентинской – уехал сражаться в Испанию, оставался там до конца – и вернулся убежденным антикоммунистом. Потому что ему пришлось присутствовать при распределении сигарет – это был тогда большой дефицит. И тут он воочию увидел неравенство. Офицеры получали больше солдат, а штабное начальство – еще больше, чем офицеры. Пятьдесят лет прошло с тех пор, а он все не мог этого забыть, хотя и сам над собой посмеивался. Он стал специалистом по истории Южной Америки; знал местные языки, обычаи, предания... Когда я щегольнула единственным, что знала об этих народах, – "но они ведь не знали колеса!" – он усмехнулся и сказал:

– Вот-вот, европейцы сразу же начинают говорить про колеса... Да, действительно, колеса у них не было. Но у них была высокая культура и без колеса, поверьте.

Пришлось поверить в бесколесную культуру – уж очень мне понравился ее защитник.

А другого интервью, которого я увидела тут, в графстве Салливан, я узнала по имени. Его звали Бернард, он был поляк. Имя "Бернард" я очень часто слышала там от Стеллы Аленниковой, нашей, университетской, что была переводчицей в тридцать пятой дивизии. Я осторожно спросила его:

– У вас в дивизии была переводчица?

– Стелла! – сказал он немедленно. – Замечательная девушка!

– Она тоже о вас очень хорошо говорила, – сказала я.

Он обрадовался:

– Правда?

– Правда.

Я могла бы сказать, что ни о ком она столько не говорила. И это тоже было бы правдой.

И тут я должна, по всей справедливости, рассказать про Карлоса.

В последнюю мою ленинградскую зиму зачем-то мне пришлось зайти в "Европейскую" гостиницу. Перед портье,

как всегда, скопилась немалая очередь; я смиренно встала в конец. И вдруг услышала голос, который, оказывается, помнила все эти десятилетия. Я вскрикнула:

– Карлос!

Это был он.

Еще два десятилетия прошли после этого – и, думаю, я и сейчас этот голос узнаю, даже если переменился. Сердца дряхлеют от счастья и славы, а голоса – от возраста. Обладателю этого голоса сейчас за восемьдесят – если он жив.

И что такого особенного было в этом голосе? Никакого баритонального бархата, обыкновенный мальчишеский, с некой, как говорили в Одессе, "жлобоватостью" – с хрипотцой, одним словом. Не заслушаешься.

А я вот заслушалась и влюбилась – сразу. В голос. И, по прекрасному тогдашнему обычаю, стала изо всех сил скрывать эту влюбленность. И по сей день ему не проговорила, – вот до чего высоки были наши моральные устои. Думаю, что кое-кто об этом догадывался, но он – нет!

Все это произошло в каталонской деревне Гранаделя, в двухэтажном доме (в первом этаже в деревнях живет скот – мулы и проч.), где размещался штаб третьей дивизии. Туда я прибыла накануне ночью в качестве переводчицы при нашем русском советнике.

Советник меня ждал несмотря на поздний час. Маленький, черненький, похожий на испанца.

– Я ваш хефе, – сказал он.

Хефе по-испански значит – начальник, шеф. Он был, конечно, не испанец, а украинец, по фамилии Якименко, а по псевдониму – Яровой. Кто дал ему эту фамилию? Да еще имевшую для нас "белогвардейское" звучание – мы помнили драму Тренева "Любовь Яровая". Но человек он был спокойный, не склонный к авантюрам, как его театральные однофамильцы, и, судя по всему, тактичный и опытный. Испанцы его уважали и называли по имени: Басилио! Что означало – Василий.

Все это выяснилось потом, а встретив меня, он приказал мне отдыхать, сколько получится. Иными словами – отсыпаться. Я отсыпалась долго и, конечно, не вышла к общему завтраку, опоздала.

Сидела совершенно одна на большущей веранде и пила кофе. Как мне показалось – из полоскательницы. Через несколько лет я увидела, что именно из таких полоскательниц пьют чай в Узбекистане и называются они там "пиялы". Из-за занавески вышел паренек в хаки, по виду русский – скуластое лицо, русский ежик, светлые узкие глаза – и сказал мне приветливо:

– Ке апровече!

Что по-испански значит нечто вроде "приятного аппетита". Но я услышала русские слова: добрый вечер. Вот этим самым "жлобоватым" голосом, который я пыталась описать. Я решила, что он намекает на мое позднее появление за завтраком и объяснила ему, по-русски же, что поздно приехала накануне и потому... Он слушал не перебивая, потом осыпал меня каскадом испанских слов, в котором я сумела различить вопросительную интонацию. Потом засмеялся, попрощался и ушел.

Это и был Карлос. Комиссар нашей дивизии, мадридский каменщик, сын наборщика-социалиста, а сам – коммунист. В этой дивизии две бригады из трех были коммунистические, и одна – анархистская. Полное имя Карлоса было Карлос Гарсия Фермин. Гарсия – фамилия отца, Фермин – матери.

Как уже было сказано, я в него влюбилась – тайно. Тайно – не потому, что он был иностранец, и не потому, что так полагалось по тогдашним правилам любовной игры (в лето между восьмым и девятым классом, обсудив этот вопрос с лучшими подругами, мы решили, что *он* должен *добиваться*, а *она* должна казаться равнодушной), а потому, что Карлос вскоре показал мне маленькую фотографию хорошенькой брюнетки с надписью на другой стороне: "а ми Карлос су Пакита". То есть – "моему Карлосу его Пакита".

– А где она сейчас?

– В Мадриде, конечно. Это моя девушка. Которая любит меня.

Еще бы!

Так я таилась месяца три, а потом нас поменяли местами с моей подругой Людой Черник, и я увидела Карлоса только зимой, в Москве тридцать девятого года. Он был в

числе тех испанцев-коммунистов, которые эмигрировали в СССР, а не в Мексику. Я получила от него письмо. Помню оттуда фразу, написанную по-русски:

"Отчень, отчень трудный".

Он работал на Коломенском заводе. И с удивлением рассказывал мне:

– Они (рабочие) спрашивают меня: а в Испании есть коровы? Ну, что это такое? Я им говорю: есть, конечно, и коровы, и овцы тоже... Ну как же это можно? Ничего не знают, просто ничего. Не только про Испанию – вообще ничего!

Русский пролетариат тридцатых годов поразил его своим невежеством. Он такого не ожидал. Это было первое крушение иллюзий.

Хотя он пережил в том же тридцать девятом году кое-что пострашнее. Во время отступления погибли командир и комиссар анархистской бригады.

– Ты их помнишь, да? Так вот: их расстреляли. По приказу командира корпуса – помнишь его? Он, по-моему, с ума сошел – я иначе этого объяснить не могу. Ты же их помнишь. Прекрасные товарищи, верные, сражались с нами рядом... И на Эбро – все рядом, рядом... И умерли с криком: "Да здравствует Республика!" Как ты думаешь, командир корпуса сошел с ума? Ну, скажи, что ты думаешь?

– Подожди! Когда же это было. Где?

– Ах, я не сказал тебе... Когда уже отступали, после всего... После Фигераса... Уже до Франции оставалось два шага... Ну? Может нормальный человек отдать такой приказ?

– Не может! – сказала я твердо.

Зима тридцать девятого года. Декабрь, вероятно. Лютая зима. Уже идет настоящая война – незначительная! – в Финляндии. И на Западе идет "странная война" – объявленная, но сразу же заочневшая до весны. Кончилась у нас ежовщина, и слово это получило в языке официальную прописку, а суффикс означал бесповоротное осуждение. И указывал на некое пренебрежение даже. Виновник найден, все миновало, и даже кое-кто вернулся – как наш уважаемый профессор, о котором нам сообщили, что его фамилия не Берков, а Беркофф, и он – резидент австрийской, кажется,

разведки. Уже пошли анекдоты и забавные воспоминания.

Осенью тридцать девятого года мы возвращались из Одессы в Ленинград – к началу учебного года. Мы с моей подругой Ниной Сигал ехали в одном купе с Марьей Лазаревой Тронской, известной германисткой, доцентом ЛГУ. Она рассказывала, со своей неистребимой одесской интонацией:

– Вот, вообразите себе! Зима тридцать восьмого года. Два часа ночи. Стефан Стефанович работает – у него завтра доклад на ученом совете. (Профессор Стефан Стефанович Мокульский читал у нас западную литературу.) И вдруг... И вдруг – звонок в дверь!

Пауза.

– Жена добежала до двери раньше – она же тоже не спала по ночам.

– Кто там?

И она слышит: *"Телеграмма!"*

Пауза.

– Так что вы думаете? Это-таки была телеграмма!

Как мы хохотали! Как уже смешно все это казалось! Миновало, все миновало. Прямо по Марксу – человечество, смеясь, расстаётся со своим прошлым. Хотя и совсем недавним. В Испании кто-то из военных получил письмо от секретарши Наденьки: "грипп свирепствует – спасенья нет!" Все улыбались понимающе, потом один из начальников сказал в перерыве после какого-то обсуждения: вот мы тут сидим, обсуждаем, а может, там нас уже посадили? Было о чем подумать. И вдруг пришло известие о назначении Берии на место Ежова – и, помнится, все обрадовались. Увидели в этом перемену к лучшему. Даже мой отец, как я услышала дома, говорил, по Ильфу с Петровым, что Берия – это голова!

Только в марте он опять начал беспокоиться – когда сняли Литвинова. "Это значит, что меняется политика!" – объяснял он нам. И это его тревожило. "С Англией, с Англией надо мириться!" – говорил он. Когда Англия потом прислала к нам Стаффорда Скриппса, он опять начал надеяться. "Скриппс – это очень серьезно!" Вижу и сейчас выражение лица его с приподнятыми бровями. И указатель-

ный палец поднят: "Очень серьезно!" И печалился, когда Скриппс уехал ни с чем.

Одесса тридцать девятого года, одесское лето. Мы гуляли по бульвару с Ахиллом Левинтоном, и он объяснял мне, что такое были предыдущие две зимы.

– По три урожая сняли с каждого обкома, понимаешь? По три состава. Первых – за то, что делали революцию. Вторых – за то, что знали, кто делал революцию. Третьих – за то, что знали вторых. И все – канули. Без права переписки.

– Сумасшедший дом, – сказала я.

– Закономерность, – сказал Ахилл. – Знаешь, что сказал Верньо? Ну, известный жирондист, Верньо, неужели не помнишь?

Я сделала вид, что помню.

– Он сказал: "Революция, как Хронос, пожирает собственных детей".

И потому, когда Карлос говорил мне, что командир корпуса сошел с ума, потому что иначе его действия объяснить нельзя, я с ним согласилась. Я не могла ему сказать того, что думала. Потому что думала – это был приказ Москвы. Которая все это время жила по Хроносу.

Ему и так хватало впечатлений – от русского пролетариата, например, который сомневался, есть ли в Испании коровы. И он, скорее всего, еще не знал о Хроносе и надеялся, и сохранял иллюзии социализма.

Но к семьдесят шестому году, когда я услышала его голос в гостинице и окликнула его: "Карлос!", и он обернулся, и назвал меня по имени – по-моему, прежде, чем узнал, – иллюзий у него уже не оставалось.

Он пришел к нам. Это был наш последний год в Советском Союзе, но я еще этого не знала. Он рассказывал о себе: работает, женат, есть дочка замужем, они с женой три года прожили на Кубе – видимо, делясь своим испанским опытом. А в Испанию, когда туда стали выпускать из Советского Союза испанцев-эмигрантов, – Испания его непустила. Кто-то из этих ре-эмигрантов, которых Испанияпустила, совершил там что-то ужасное, был пойман и назвался его, Карлоса, именем.

– Жену пускают, а меня нет. И рассказывают ей, что я, мол, там был и натворил такое... Она говорит: мы уже сколько лет живем в Москве, и он никуда не уезжал... Кто же со мной спал все эти годы? Не поверили ей, конечно. Может, тот человек себя этим и спас. Но мне дорогу закрыл.

Он уже был вполне свой, все понимал, да и иллюзии подсохли.

– Моя жена... – начал он.

– Пакита?

– А ты помнишь Пакиту? Нет, Пакита осталась в Мадриде, я ее больше и не видел.

– Но испанка?

– Ну конечно. Вот кто все понимает. Когда мы собирались на Кубу, я смотрю – она чего-то там отдельно откладывает для своего чемодана. Я посмотрел. И что я вижу? Мыло – много мыла, особенно для стирки. Нитки – белые, черные, катушек двадцать, наверное, иголки, чай – она любила этот, со слонем, так я и сосчитать не мог, сколько пачек... Еще что-то – уже не помню. Я ее спрашиваю: Мария, что это такое?

Она отвечает:

– Садись, поговорим.

Ну, сели мы. Она спрашивает:

– Мы едем на Кубу?

– Ну конечно, ты ведь знаешь, что на Кубу.

– А Куба строит социализм?

– Да, конечно, ты же это знаешь.

– Так чему же ты удивляешься? Потому я и хочу все это взять с собой.

Мы все очень весело смеялись. А когда отсмеялись, он сказал:

– А самое главное, что все понадобилось. И нитки, и мыло, и все.

Теперь ему можно было рассказать и о том, что мы собираемся в Израиль. Он сказал:

– Там, наверное, есть люди, которые говорят по-испански. Не думай, я знаю, что говорю. Один мой друг ездил в Болгарию и рассказывал – там есть люди, которые... ну,

которые когда-то... которых когда-то изгнали из Испании. Ты знаешь, как это было? При инквизиции. Тогда же, когда мавров изгнали, – когда Колумб Америку открыл. Все в один год. Знаешь? Так вот, потомки этих людей... Из Толедо... Они жили в Болгарии и говорили на испанском... На старом, прекрасном испанском, на языке Дон-Кихота. И у них... у них был ключ – вот такой громадный ключ – от их дома в Толедо... Ключ – это, конечно... Но язык сохранили, вот ведь что! Столько лет – и помнят. А знаешь, в Толедо ведь до сих пор есть Пласа Худиа. Там тоже помнят...

Пласа Худиа – значит Еврейская Площадь.

В Иерусалиме в один из первых дней мы зашли в маленький магазин на углу и купили мне платье – оно и сейчас у меня есть. Продавец, – а может быть, хозяин магазина, нестарый человек вполне местного вида, плотный, темноволосый, темноглазый – пытался разговаривать с нами на иврите, потерпел неудачу, прислушался к нашей речи, потом негромко сказал женщине, возникшей откуда-то из глубины:

– По-моему, это русские.

Он сказал это по-испански.

Нет, он не был болгарин. Он был из Югославии. Он объяснил мне, что язык, на котором они с женой разговаривают, называется ладино.

– Ну конечно, это испанский, – но, кажется, есть какие-то различия. Вот вы говорите – в Болгарии. А я встречал – тут уже – евреев из Турции, они тоже говорят на ладино. Или они были из Греции? Да, в общем, какая разница. Евреи, которые из Испании в Турцию ушли. А потом расселились по Турецкой империи.

– И сохранили язык?

– Наверное, не все сохранили. Но вот наша семья... И моей жены семья. И вообще многие. У вас идиш, у нас испанский.

Вот такой урок истории с географией.

Может, и в их семье сохранялись ключи от испанского дома?

Я бы написала Карлосу об этой встрече – он бы обрадо-

вался. Но написать из Израиля? Он и так иностранец. Могли у него быть из-за этого неприятности? Могли.

Так и не написала.

Через несколько лет – нескоро! – мы побывали в Толедо. Действительно, там есть Пласа Худиа. Толедо – город Эль Греко. И он написал вид Толедо – странный, волшебный вид города в тумане...

– Там тоже помнят, – сказал Карлос. Словно хотел реабилитировать свою Испанию.

А по-моему, это уже сделано. И сделал это Франко.

Почему бы это ни произошло. Кто-то из еврейских, – виновата, – израильских гидов объяснял с сарказмом:

– Конечно, он сделал это не бесплатно!

А даже если? Другие не сделали этого ни за какие деньги.

Я говорю о том, что было сделано во время войны. Когда вся Франция превратилась для евреев в капкан, Франко открыл для них свою границу.

Ида Шагал, через много лет с отвращением рассказывала про непочтительное отношение к ней испанского таможенника. Мы, слушавшие это, разделяли ее чувства.

Но этот самый таможенник впустил ее в Испанию. Иными словами, спас ей жизнь. А что испанский – вероятно, каталонский, – таможенник не знал, кто такой Шагал и, тем более, его дочь, – я думаю, можно ему простить. Таможня не Лицей и не средоточие хороших манер. Даже испанская таможня.

Правда, на нас испанские таможенники произвели самое отрадное впечатление. Когда мы выгрузились из вагонов в Порт-Бу, на той же самой франко-испанской границе, несколько веселых таможенников со смехом ставили мелом совершенно одинаковые кресты на наших совершенно одинаковых чемоданах. Чемоданы входили в нашу московскую экипировку, так же, как серые костюмы и шляпы для эскадрильи летчиков, прибывшей вместе с нами. Это был тридцать восьмой год, когда московские грузы на испанской границе не проверялись.

А мы – переводчицы – были все еврейками. Почти все. Букет библейских имен: Юдифь, Эсфирь, Руфь и Лия. Нас

это веселило. В Испании Эсфирь стала, конечно, Стеллой (оба имени в переводе на русский означают "звезда"), Юдифь – в просторечии Юлька – стала Хулией, а для итальянцев Джульеттой, Руфь – Ритой. Лия как была Лией, так и осталась.

Почему так много было евреев среди переводчиков и тогда, и потом? Хорошо забытый теперь Вейнингер, бедный еврейский мальчик, испугавшийся того, что он написал (великолепно написанная и великолепно переведенная на русский язык книга, изданная Рапопортом, отцом советского кинорежиссера!), и покончивший с собой в двадцать три года.

Игорь Михайлович Дьяконов, востоковед, академик, мудрец, объясняет это тем, что евреи все поголовно грамотны в течение трех тысяч лет. Кстати, еврейских женщин это определение не охватывает. Они не были поголовно грамотны ни в какую эпоху.

А я так думаю – генетическая привычка. Иосиф и его братья уже неплохо объяснялись с египтянами в самом начале этой длинной истории.

В этой истории, в центре второго ее тысячелетия, стоит Испания, сыгравшая в жизни последующих поколений не меньшую роль, чем Египет. Только противоположную, прямо обратную. Из Египта евреи ушли сами, хоть и плакали о брошенных там котлах с мясом. У них был Моисей и Синай, и Тора – много чего произошло за их сорокалетнюю дорогу домой. А из Испании, которую они любили не только за горшки с мясом, они были изгнаны, и вместо Моисея тут дело решил Торквемада с Фердинандом и Изабеллой. И тут мы вступаем в такую тьму мифов, преданий, толков и исторических сведений, что эти полтысячелетия, от Колумба до ленинградских самолетчиков – Кузнецова и Дымшица, превращаются в эсхатологический эпос (простите за такие слова).

Но они любили Испанию. Этому есть всего одно доказательство, но решающее: *язык*.

Они любили его так же, как мы любим русский. И сохранили его – подумайте. Полтысячелетия. К преданию о хранимых ключах от толедского дома люди относятся не-

доверчиво: да-да, слышали, слышали.

А язык?

Недавно тут, в Америке, в прачечной, я встретила женщину, которая разговаривала с сыном по-испански. Я спросила:

– Откуда вы?

– Мы из Эквадора. А вы знаете Эквадор?

– Да нет, – говорю, – не знаю. Я вообще Южную Америку не знаю. Я только Испанию знаю.

– Но мы говорим на одном языке, – радостно сказала женщина.

И я тоже обрадовалась. Очень это приятно – говорить с другим человеком на одном языке.

Из каких она? Кто ее предки? Завоеватели или изгнанники? Но и здесь, в Штатах, она говорит с сыном – а сыну лет пятнадцать – по-испански.

Не стесняется.

Забыть не могу: лет пятнадцать тому назад услышала я от вполне интеллигентного "нового американца":

– А я и не хочу, чтобы мои девочки знали русский язык.

Девочкам было четыре года – они были близнецы, ходили в американский детский сад и уже лепетали по-английски.

– Пусть будут американки. И пусть ничего не знают про ту страну.

И такую горькую обиду я услышала в его словах, что и не спросила ни о чем.

Но – одно наблюдение: среди американских славистов многие – русского происхождения.

Нет, не сами, конечно. Они уже почти что старые американцы. Ну, не "воспы", разумеется, но все же... Третье, а то и четвертое поколение.

– Бабушка моя была из-под Киева. Из этой... Белой Церкви. Уайт черч. Или еще что-нибудь в этом роде. За океан искать счастья уезжала провинция. Про московских, а тем паче петербургских бабушек я не слыхивала.

Может быть, и эти слависты в детстве слышали русскую речь, в ее местечковом изводе? Бруклинские интонации идут оттуда же, из общего корня.

Мы, мы стали "бабушками из Москвы", "бабушками из Ленинграда". Мы ринулись в открытые двери. Не за счастьем — все, что могло сбыться, сбылось в прожитой жизни. За детьми, а больше — за внуками.

Как правило (не без исключений), дети и внуки куют свое счастье в каменных джунглях Америки. Бабушки и дедушки остались на Святой земле и в этом году все, как один, отдали свои голоса Биби Нетаниягу. Приезжайте к нам в Рамот, послушайте, какая там вкусная русская речь. Храним.

У каждого свое Толедо.

Когда я была в Испании, Испании я так и не видела. Даже Мадрида не видела, хотя он и был в руках республиканцев. Республиканская — "Красная" Испания была разделена — разорвана на две неравные части. Это произошло весной тридцать восьмого года. И наши мальчики (девочек туда уже не направляли) служили главным образом в "Эхерсито дель Сентро" — в Центральной армии и в Мадриде. И их доставляли туда, можно сказать, над головами франкистов — на боевых самолетах.

Но в нашей третьей дивизии Мадрид был представлен, да еще как! Мадридский сленг (интересно, знают ли сегодня в Мадриде, что такое "ла чупа", "ла трайя"?), мадридские песенки ("Пиччи", "Марикита") — много лет еще мы распевали на наших ленинградских застольях. Давид Прицкер, думаю, до сих пор не забыл свою коронную "Марикиту". Еще была песенка "Росио"; говорят, в газетах было объявление: "Ищем служанку, которая не поет "Росио".

Была в штабе у нас дежурная шутка: "каха д'муэрто". Звучала как одно слово. Я поняла — гробик, домик мертвеца. Не поняла, что тут может быть смешного. У кого-то в руках я наконец увидела крошечный гробик, но мне в руки его не дали: нельзя! Карлос пытался мне объяснить, почему нельзя, но так и не сумел — сразу начинал смеяться. Однако моему хефе, "Басилио", показали. Он мне потом говорил: да ничего, ничего уж такого особенного. Ну, гробик, ну, в гробике скелет лежит. А когда крышку поднимаешь...

И начинал хохотать. На этом кончалось объяснение.

Я понимала – что-то неприличное происходит, но что?

Наконец, я пошла спрашивать к девушкам на кухне – они не только готовили, но и подавали, убирали, мыли посуду... Кажется, они жили в этой деревне и ночевали каждая у себя дома. Когда я их спросила, они захихикали. Но самая старшая сказала:

– Глупости все это! Чего тут смеяться – не понимаю. Подымешь крышку – а там скелет. И вот у этого скелета эта самая штука поднимается. Понимаешь?

Я сказала, что понимаю, хотя не очень поняла. До понимания мне оставался еще целый год.

После обеда мы с моим хефе отправились по бригадам – смотреть, как они настроены морально. Василий уже и сам умел задавать этот вопрос: "комо мораль тропос?"; нам объясняли, что мораль отличная. В долине, между двумя холмами, шла подготовка к форсированию реки – как в детской игре: одни делали вид, что гребут, другие – что бросаются вплавь и соответственно махали руками...

Но однажды ночью началось.

Об этом через небольшое время даже была сложена песня. С двумя припевами: грозным: бомбара, бомбара, бомбара, бам – и лирическим: ай, Манола, ай, Манола! Вот вам первые строки в моем непоэтическом переводе:

Армия Эбро,
Бомбара, бомбара, бомбара, бам! (2 раза)
Ночью реку перешла.
Ай, Манола, ай, Манола! (2 раза)

Следующий куплет, про ужас предателей, так и рычал испанским "rrr": эль тоRRRоР де лос tRRРайдоRRРэс...

Внезапность была. Но уже через день военачальники стали беспокоиться, что войска "не развивают успех". И правда: они остановились. Или были остановлены.

– А я так и говорил! – утверждал мой последний по времени хефе, моряк-штабист. – Я еще на совещании говорил, что эта операция опасна. Надо было начать операцию на юге! Она бы оттянула войска туда. А тут – мы сами призывали сюда противника, и он на наших плечах нас вытеснил. Но меня не послушали!

Так или иначе, закончилась операция на Эбро отступлением к французской границе. Действительно ли предупредил об этом мой начальник-моряк? Кто знает. Русский мужик задним умом крепок. Не зря эта пословица теперь почти забыта – уж очень она обидная.

Я из всей этой ночи помню темноту, плеск весел и выстрелы где-то далеко. А ярче помню, из этой же темноты, что мы едем к реке в машине, и я сижу в середине, и с одной стороны кто-то, наверное, Василий, но это совершенно неважно, а с другой Карлос. И Карлос берет меня за руку и говорит: "Рита!" И так мы едем минуты две, а потом он останавливает машину и пересаживается в другую, что шла позади, и перегоняет нас, и я понимаю, что это больше никогда не повторится.

Другое воспоминание – следующий день. Я сижу за спиной у мотоциклиста, который везет меня в занятую ночью деревню. Там будет штаб. И мы едем, и ветер, и холмы, которые раньше я видела только через темно-желтую речную воду – вот они тут, под колесами, эти холмы, только что недоступные, а теперь... И чувство радости – от всего этого, и от быстрой езды тоже.

И оттого, что я вижу себя со стороны – такую девятнадцатилетнюю, отчаянную, с развевающимися кудрями (обязательно, кудрями). Через какие-то книжные строчки – может быть, те, которые сейчас печатают?

А потом мы с мотоциклистом стоим посреди комнаты, где я буду отныне жить – такой же, как та, в Гренаделье, которую я сегодня навсегда покинула. Под кроватью он замечает что-то – наклоняется, вытаскивает. Чемодан! Он открывает его – и сразу же захлопывает крышку. Как-то испуганно – даже понизив голос – говорит мне:

– Платья! Женские платья!

Я даже заглянуть туда не успела. Но что пронеслось в моей голове – помню до сих пор:

– Он даже не подумал, что их можно взять себе. Он даже не... А у деревенской девушки сколько платьев – целый чемодан! Какие, интересно? Но значит, их нельзя взять...

Ему-то даже в голову не пришла мысль о мародерстве.

Эти виденья тускнеют от времени. И вообще, я лучше

слышу мир, чем вижу его – поэтому воспоминания такие. Вот еще одно звучащее: из следующей ночи. Какой-то холмик, два матраса на нем – чуть поодаль от других. На одном я, на другом – Василий, мой хефе. И какие-то звуки, довольно частые, тонкие, как свист, непонятные. Я спрашиваю:

– Что это вот так делает, слышишь? Цви, цви... Птицы какие-нибудь?

– Это не птицы, – говорит он. – Это пули.

Я почувствовала себя польщенной. Настоящие пули!

По-моему, это было именно то чувство, которое я испытала.

Помню разговоры о женской храбрости. Начальник штаба, Кондес, вскоре погибший во время артиллерийского обстрела, сказал:

– У женщин это не храбрость. Это несознание опасности.

Это был страшный артиллерийский обстрел. Меня уже там не было – я была ранена (очень легко) во время предыдущего. Помню раскатившийся гром взрыва и темноту, и крик командира дивизии, Манолина: "В убежище, Рита!" Он схватил меня за руку и потащил туда. Потом кто-то отвез меня в Барселону. А на мое место прислали мальчика с нашего курса – его фамилия была Соловейчик. Он мне и рассказал, как это всё было. Манолин был убит сразу, Кондес, еще живой, кричал: "Меня убили!"

К тому времени уже были пленные. Их отправляли для допроса в штаб корпуса. Об одном таком допросе мне рассказывала моя подруга Нина Бутырина – она там была переводчицей:

– ...Я не очень хорошо понимала. Коронеля ("коронель" – по-испански значит полковник, и мы это слово в разговорах не переводили) еще понимала, а пленного... Он так быстро-быстро говорил... Но могу сказать: он оскорблял его!

– Кто – кого?

– Пленный – коронеля. Мне даже казалось, что они откуда-то знали друг друга раньше. И вдруг коронель хватает револьвер – у него на столе справа лежал револьвер – и

стреляет... Тот падает... Я... Мне стало нехорошо... меня увели.

Имя коронеля я помню, но не хочется его называть. Когда я потом вспоминала об этом, то думала: тот пленный вел себя как испанец – бросать оскорбления в лицо вооруженному врагу – это испанский характер.

А сносить оскорбления? Какой испанец смог бы...

Вот такая война.

Лет двадцать спустя Альберто Моравиа, которому я показывала "Достоевские места" в Ленинграде, говорил мне:

– Страшная вещь гражданская война. Нет ничего страшнее.

Подумал и сказал:

– А вообще-то это – единственная война, которую стоит вести.

Среди многих определений – что же такое интеллигент – есть и это: "человек, умеющий смотреть на вещи не только с одной стороны".

А Моравиа, конечно, интеллигент. И возможно, прав в своем определении гражданской войны. Но я с ним согласиться не могу. Я родилась в гражданскую войну – в незабываемом девятьсот девятнадцатом! – да и потом на моей родине она не стихала еще лет тридцать пять. Нет, не могу с этим согласиться.

Определение интеллигента как человека, умеющего видеть вещи с разных сторон, принадлежит известному востоковеду, Игорю Михайловичу Дьяконову. В прошлом году он выпустил интереснейшую книгу. Она называется "Книга воспоминаний". И в ней он, потомственный интеллигент, вопреки нынешней моде, не только не поносит свой класс (это давно уже класс, а не прослойка), но говорит о нем с достоинством и уважением. И даже утверждает, что интеллигент не может быть фанатиком. В этом он близок к тому определению интеллигенции, которое сейчас прочно забыто: мягкотелая интеллигенция.

Увы, она не только мягкотелая. Есть своя – и немалая – пропорция фанатиков и тут. Партийных и антипартийных. И в России они есть, и в Израиле. И в Испании с обеих сторон они были.

В конце декабря я уже работала в Барселоне. Каждый день приходили сводки с Эбро: разгорались бои. Интербригады покинули Испанию – с ними прощались торжественно и нежно. Может быть, тогда и обещал премьер-министр Негрин, что все эти люди, сражавшиеся бок о бок с испанцами за Республику, получают в ней гражданство? Не помню. Помню ночь, когда оставляли Барселону, тесное от людей и машин шоссе – и все-таки тихо. Утром мы увидели деревья вдоль шоссе, покрытые нежно-розовыми цветами. Миндальные деревья. Они провожали нас до самой французской границы.

Был февраль тридцать девятого года. Двадцать лет мне исполнилось в Париже.

В Ленинграде читали газеты, слушали радио – и ждали нас. Обновленных. Одетых во все заграничное. А главное – с орденами. Потому что до сих пор переводчицы возвращались из Испании с орденами "Красной звезды" – все, как одна. И среди них была Ляля Константиновская, самая легендарная из всех, потому что там она вышла замуж за знаменитого кинооператора Кармена. Брак был расторгнут очень скоро – но все-таки! Она была похожа на булочку – очень маленькая, очень беленькая, очень сдобная, с детскими карими глазами. Мужчины сходили с ума, но она была добродетельна, – это было общеизвестно. Совсем недавно мы узнали из опубликованных писем Шостаковича, что и он был в хороводе ее поклонников.

Историю другой переводчицы – Ани Петровой – мы узнали гораздо, гораздо позже. Ее отец был знаменитым в Ленинграде хирургом. Она тоже вышла замуж в Испании – за русского советника, своего хефе. Его посадили сразу после возвращения на родину. И тут произошло самое невероятное: Петров сумел его выхлопотать. Он стал у него на даче садовником – где-то в стороне от Ленинграда, надо думать.

Была еще Шурочка Шварц – маленькая, веселая, быстрая. Много позже, в пятидесятых годах, она вспоминала одного из самых прославленных военачальников Отечественной войны: "Фрицынька! Его все так любили!" Это был генерал Батов. Я его увидела на съезде участников испан-

ской войны – маленький, сухой, с глазами навывкате. Гардеробщик говорил, прямо замирая от восхищения, что пришлось такому шинель подавать: "Генерал Армии!" А его, оказалось, и правда все любили. Морис Слободской в самом начале тридцатых годов проходивший службу в его воинской части, тоже это помнил. Только не называл его "Фрицынька". Фрицем он был только в Испании!

Все эти переводчицы-орденоносцы были нашими учительницами на краткосрочных (три месяца!) курсах испанского языка, где мы учились перед отъездом. Они были необычайно сдержанны – даже по тем временам, когда все научились держать язык за зубами. Они не рассказывали нам *ничего*. Они только учили нас переводить военные сводки – гражданскому языку нас учил низенький перс, которого вдруг выслали на родину, и он растерянно говорил нам: "А что я там делать буду? Я даже языка не знаю". Видимо, он сохранил персидское гражданство.

И каждый день мы переводили сводки – с испанского и на испанский. И наши учительницы обо всем прочем молчали. Мы уважали их молчание. И удивлялись, почему Аня Петрова такая печальная. И молча восхищались их заграничными вещами.

Мы тоже возвращались приодевшимися. Но без орденов. Передавали, что чуть ли не сам Ворошилов сказал: проморгали Испанию – за что же ордена давать. Возможно, он сказал покрепче, но до нас это высказывание дошло именно в такой редакции.

О том, что я не получила ордена, больше всех жалел Алексей Алмазов, к тому времени уже кончивший университет, а перед отъездом подтягивавший меня по романской филологии. Он был обижен: "Я все говорил – Руфь с орденом будет "хлопский круль". Он и тогда уже был одним из самых гуманитарно образованных людей, каких я знала, – и таким и остался поныне. А я так до сих пор и не знаю, что такое "хлопский круль".

По-моему, никто из нас особенно не "переживал" из-за того, что орденов не дали. У меня было смутное чувство несовместимости: я и орден!? Вообще к наградам – весомым и зримым – я жизнью приучена не была. Не было у

меня отличного аттестата, не было повышенной стипендии, не было в прошлом никаких выборных должностей после того, что я была старостой в первом классе трудовой школы № 58 города Одессы. Куда же мне орден? Я не... в общем, я не такая. Хотя и не отказалась бы.

У меня было другое – другое разочарование. Можно ли так сказать? Не знаю. Не произошло то, чего я ждала – ожидала все эти месяцы в Испании.

И тут я должна рассказать то, что когда-то назвала "Штришок".

В мае месяце тридцать восьмого года (как потом выяснилось, перед самой отправкой в Испанию) я взяла на курсах отпуск. На шестидневку (тогда были шестидневки, а не недели; недели нам вернули в сороковом году и, насколько я помню, никто этому не радовался).

Так вот, я взяла отпуск и поехала в Одессу прощаться – с родителями. И пофасонить перед бывшими одноклассниками, что вот уезжаю в командировку *во Францию*. Говорить про Испанию нам было строжайше запрещено. Когда я приехала обратно, оказалось, что тут побывала комиссия, сделала отбор – кого отправлять, и я в их число, естественно, не попала, поскольку меня не было на месте.

Я кинулась к Тане Вановской.

Таня Вановская. Она была старше меня на два курса и на три года. Жила в общежитии, на том же этаже, что и я. Училась на французском отделении. Училась хорошо и старательно – по ее конспектам весь курс готовился к экзаменам. Несмотря на старательность, была в ней большая прелесть. Настоящий шарм – или, если хотите непременно по-русски, – очарование. Маленькая, худенькая, не слишком хорошенькая – ее лицо портил какой-то расплепанный рот, она нравилась почти сразу: у нее был веселый ум, непринужденное остроумие, счастливое чувство юмора, порою направленное и на самое себя... Притом она была комсоргом курса, и чувство юмора ей не мешало – ни в тридцать четвертом, ни в тридцать седьмом, ни в сорок девятом году. Наоборот, она всегда вела себя как и положено идейной комсомолке, а потом и члену партии. Я этому удивлялась, с некоторой завистью к четкости ее самого пере-

дового мировоззрения. Ее отец был меньшевик, умерший еще в двадцатые годы – своей смертью! Может, это и играло роль? В Ленинград она приехала из Тюмени – кажется, туда был сослан ее отец еще царским правительством.

Она без колебаний изъявила согласие, когда комиссия из Москвы отбирала добровольцев для Испании. И когда ее спрашивали, как же она могла это сделать, ведь она с детства болела какой-то сердечной болезнью, она распахивала свои серые глаза:

– Но я ведь комсомолка!

Мы попали с ней в одну группу на курсах.

И вот к ней я и кинулась – что мне теперь делать?

Она сказала:

– Трудное дело. Но в самом крайнем случае ты поедешь... ты же все равно поедешь, – ну, поедешь со следующей группой. Через месяц.

Я не хотела ехать со следующей группой. И оказалась права: в следующую группу девушек уже не включили.

Подошла Люда Черник и сказала:

– Комиссия на этой неделе опять приедет. Вот ты и пойдешь, объяснишь, что в отпуск ездила, может, и получится.

– Там главный – один человек. С орденом Красного знамени, – сказала Таня. Очень значительно сказала. В смысле – вот какие люди нами занимаются.

– Он из Наркомата обороны, – сказала Люда, теребя свою огромную русую косу. – А фамилия его – Шпилевский.

Почему-то мне помнится, что именно от нее я услышала впервые эту фамилию. В Испании мы работали в соседних дивизиях; ее хефе как-то очень трусливо повел себя, когда началась операция на Эбро – уж не помню подробностей.

Испанцы говорили, что "Лиуда" – храбрая и ничего не боится, и что таких девушек поискать, наверное, даже в России! Про храбрость ее начальника ничего не говорили. В результате нас с ней поменяли местами – мой Василий за меня не держался, особенно после того, как я при нем зашила дырку на рубашке какому-то солдату из штабной охраны. Он долго объяснял мне, как неприлично я поступила

– наверное, так оно и было с точки зрения воинской субординации. В общем, в результате я попала в сорок вторую дивизию под начальство не самого храброго из русских командиров – тогда они еще не назывались офицерами.

Люда погибла в начале войны – в Царском, потом Детском, Селе. На боевом посту. Так и рассказывали об этом – без подробностей.

А Таня Вановская, хотя и училась на курсах вместе с нами, в Испанию не поехала. По состоянию здоровья. Она часто падала в обморок – я в первый раз в жизни увидела, как это делается. На ее лице играла легкая улыбка. Долговязый Валька Столбов, который состоял при ней все студенческие годы, поднимал ее на руки, клал на узенькую общежитскую койку и кричал нам:

– Воды! Воды!

Это именно Валька (впоследствии Валерий Сергеевич Столбов) пошел к Шпилевскому и объяснил ему, что Таня – убежденная комсомолка и рвется поехать в Испанию, но ее нельзя туда посылать: у нее порок сердца. И Таню не послали. Я видела, как Валька выходил от Шпилевского, – я бродила по коридору, дожидаясь своей очереди быть принятой.

"В сердце остро вонзилась тоска, словно соринка в глаз", – это из Валькиных стихов, никогда не напечатанных. "И горький привкус анилина и на губах и на душе", – он же. "Но одну совсем простую песню хочется пропеть: что за землю за такую необидно умереть". Это об Испании, конечно, впервые увиденной с гор Монжуи. После Испании он закончил университет, недолго проработал в Министерстве (тогда Наркомате) иностранных дел, потом был сокращен за то, что потерял свое удостоверение, прошел всю войну – часть ее в штрафбате; после госпиталя остался в Москве, где в шестидесятых, кажется, годах стал главным редактором издательства "Иностранная литература".

А поэтом он оставался всегда. Только не печатался.

Тогда, когда я ходила по коридору, дожидаясь своей очереди, я его стихов еще не знала, мы подружились позже, после Испании. А тогда, в коридоре, ожидая своей судьбы или ее крушения, я твердила две строчки Ахматовой:

Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем...

И опять, и снова эти две строчки. Они отражали, бередили и выражали – не слова, вероятно, а больше звуки, – вот это самое, НевыраЗимо Звеневшая муЗыка. Меня все не звали, и я ходила и чуть ли не вслух произносила эти ахматовские слова (я так никогда ей об этом и не рассказывала), – и наконец открылась дверь.

За столом сидел человек в военном: три шпалы на воротнике, орден Красного знамени. Лет сорок, как мне показалось (теперь я думаю – больше; мне тогда все взрослые, не седые, т.е. не старые, казались сорокалетними). Полный, спокойный, выражение лица доброжелательное.

Дальше – перерыв. Я совершенно не помню, что именно я ему говорила. Не слышу звука собственного голоса. И вспомнить не могу. Вероятно, ничего особенного – все про тот же отпуск, который я взяла официально, и что вернулась вовремя. Но – не слышу себя. Может, так устроена моя память – помню, что говорят другие, а собственных текстов не запоминаю? Или это у всех так?

Но его перед собой вижу и слышу до сих пор. Он сказал, очень серьезно, подумав и заглянув в какие-то бумаги:

– Видите ли. В отношении остальных я уже предпринял некоторые шаги.

Тут все точно, каждое слово. Голос его оставлял мне надежду.

Он подумал еще минутку и сказал что-то вроде: но я надеюсь, что успею сделать... в отношении вас...

И все.

Через неделю, когда он приехал опять, выяснилось, что он успел и все сделал, и я опять была в списке. Это был очень интересный день – он вместе с нами стал подбирать нам псевдонимы. Я и по нынешнее время не знаю, зачем это было нужно, но псевдонимы были у всех – и у начальников, и у переводчиков... Генерал Вечный стал Вековым, мой первый хефе Якименко получил геройскую фамилию Яровой. Валька Столбов уменьшился в размерах и стал Столбиковым. Я избрала себе фамилию Зимина.

Шпилевский сказал негромко:

– Хотелось бы, чтобы две первые буквы совпадали.

И так я стала Зерновой.

Я бы и имя охотно переменяла, но этого не требовалось.

Вот такой у меня оказался крестный.

Написала это слово и ужаснулась. Потому что в лагерях так называли оперуполномоченного. Или просто – "кум". "Иди, тебя кум вызывает". Идет человек и уже не чаёт для себя ничего хорошего.

Я подумала сейчас: а ведь я объяснила одно непонятное слово другим непонятным словом. Или, скорее, понятное слово – непонятным. Кто теперь знает – я не говорю о тех, кто помнит, – что такое оперуполномоченный?

Так вот – оперуполномоченный – это ГБ в ГБ. Оперативник. Интеллигенция, не желавшая пользоваться блатными словечками, – а эти клички шли от блатных, конечно, – говорила "опер" или еще "оперный". Он отвечал и следил за всем тем, за что отвечало и следило ГБ во всех уголках страны: за политическую благонадежность. И делал это через своих стукачей. Так же, как это делалось на воле, – тайно. Потому и считали в лагере всех, кто на воле, "следственными". То есть – подследственными.

Ну вот, опять соскользнула со своей тропы.

* * *

Я его помнила. Вспоминала нечасто, но помнила все время. Вспоминала, когда меня за что-нибудь хвалило начальство, – что бывало нечасто и в основном за качество перевода. Или когда я сама была собой довольна, – что случалось еще реже. Я думала: вот, вернемся, я ему скажу:

– Спасибо вам за то, что вы тогда нашли время предпринять для меня...

Или как-то иначе, но смысл был этот. Иногда в моих мечтаниях он узнавал меня и говорил: ну что вы! А иногда не узнавал – так я переменялась к лучшему! Во всяком случае, так мне говорили.

Я из тех, кто с детства был собой недоволен. Это совсем

не означает, что человек о себе плохого мнения. Я считала себя умной и развитой не по годам, поскольку именно это я о себе слышала. Но я всегда была недовольна своим поведением – не в школьном, а в каком-то совсем другом смысле. Я всегда хотела быть похожей – но не на живых сверстниц, а на книжных героинь. И это делало меня, пока я это помнила, смешной и нелепой. "Она широко открыла глаза", – комментировала я себя, делая это. И наш общий любимец Гриша Бергельсон, студент из старших, в ответ выпучивал собственные глаза так, что они почти вылезали из орбит.

Жизнь моя была скучна и однообразна – и я выдумывала о себе разные интересные, в которые кто верил, а кто и нет. Может, это были упражнения в писательстве? Но до писания дело не доходило.

Я жила реальной жизнью не вровень с собой, какой себе представлялась, – или потенциально была.

В Испании наступило другое.

Тут я и не была сама собой – я была не я. И имя у меня было другое. И фамилия, и язык, и все вокруг, и люди, и вещи, и понятия... Испанцы. Толпа красивых лиц, – сказал какой-то француз об улицах Мадрида. В Мадриде я тогда не была, но в Барселоне было то же самое. Именно толпа красивых лиц. Это создавало какой-то вечный праздник, и все-таки это был театр, которым ты любишься.

И эта война. "Что за землю за такую необходимо умереть". Они за нее готовы умереть – это навсегда их земля. В жизни и в смерти. "И ложимся в нее и становимся ею – оттого и зовем так свободно своею", – это, по-моему, лучшие ахматовские строчки. Правда, тогда их еще не было. Но чувство было.

А интеровцы? Они тоже готовы стать этой землей – и становятся ею, и бьются за нее, пока живы...

А мы – то же самое? Наши тоже ведь "становятся ею" – и немало их успокоилось в этой – не сырой, а сухой и жаркой, – земле.

Но все равно... Все время было чувство вины перед испанцами. Мы, если все кончится, – а все яснее и яснее становилось, как именно кончится, – мы вернемся домой, и

дома... дома это еще станет нашим патентом на благородство. А те, кто останется здесь, потому что не сумел уйти? А те, кто сумел уйти и навеки стал эмигрантом? Ведь это и есть самое страшное – стать эмигрантом!

Об этом я читала – и не только в газетах. Во всех книжках. И в книжках Тэффи и Аверченко, которые папа покупал в вокзальных киосках, когда уезжал в командировки.

За плечами у нас была наша страна – большая, добрая, приветливая – и все более становившаяся такой на расстоянии. И это было наше неравенство. А неравенство с теми, кого любишь, смущает. Даже если это привилегия. Тогда, в моем возрасте, – особенно потому, что это привилегия.

Но было еще одно. И за это одно я и хотела благодарить Шпилевского, когда его увижу.

Внезапное расширение мира. И расширение кругозора. Журналы и газеты – из Европы. Совершенно по-разному видящие то, что происходит. И эти люди вокруг – из стран, которых и названия я не знала. Из Коста-Рики! И их уважение к нам, свидетельствовавшее, что все-таки, все-таки, если они уважают нас как представителей страны, – значит, все то страшное, что в ней происходило в эти последние годы, и им было известно не хуже, чем нам, а может быть, и лучше, – не отталкивало их от нас?

Случилось желанное, случилось неожиданно: то, что было *они*, стало *мы*. "*Нас уважают*"... "*На нас надеются*"... "*Нас упрекают*"... Потом я часто видела это за границей – и один раз опять это пережила, когда в шестьдесят восьмом году с группой писателей ездила во Францию, – но тут, в Испании, я впервые пережила это сладостное чувство. Что-то похожее на чувство подкидыша, у которого вдруг оказалась родная семья.

Перед самым моим отъездом в Испанию отец моей подруги, очень известный в Одессе профессор, кардиолог и музыкант, Александр Маркович Сигал, отговаривая меня, сказал, понизив голос, хотя мы находились в комнате вдвоем, и никто не мог нас услышать:

– И зачем тебе защищать то, что гнило? Ты понимаешь меня.

Я понимала. Вся известная мне Одесса взрослых – ро-

весников моих родителей – именно так и считала: хоть это и существует двадцать лет, но это все равно *гнило*! До сих пор помню: на уроке эконом-географии – проходили Германию – Миша Большун, один из лучших наших учеников, радостно говорил:

– Я понял. Или, вернее, дядя мне объяснил. У них теперь то же самое, что у нас: все силы вложены в военную промышленность...

А на дворе стоял тридцать пятый год. Учительницу географии чуть удар не хватил. Она перебила Мишу и стала объяснять, что у *нас* и *там* – совершенно разные вещи!!!

Но мы знали, что прав Миша Большун и его дядя.

В тридцать шестом году, когда я сдавала экзамены в университет, шел первый знаменитый процесс "троцкистских и иных двурушников", – а я, так случилось, – читала "Боги жаждут" Анатоля Франса. Эта книга должна была бы стать учебником для тех, кто хочет понять годы советского необъявленного террора. "Революция, как Хронос, пожирает собственных детей". Так сказал Верньо – жирондист.

И последовавшие процессы меня уже не удивляли – Анатоль Франс все объяснил.

Но когда Александр Маркович мне сказал "то, что гнило", я ничего не ответила. Промолчала. И поехала. И твердила про себя "Список благодеяний": всеобщая грамотность, бесплатная медицина, разгром антисемитизма, приток свежих умов... Была такая пьеса Олеси – "Список благодеяний".

И про это – про список благодеяний я говорила в Испании тем, кто читал не те газеты, что я, и знал много больше. А я еще там прочла про русского революционера, который сам на себя наговаривает, ради того, чтобы не разрушалась Советская власть!

– В Испании такое невозможно! – сказал мне австриец-интеровец.

– Ты имеешь в виду эту книжку?

– Ну да. Но главное – сами процессы. Здесь есть традиция. Кортесы. И потом... Понимаешь, традиция тут другая. Вот сейчас запрещена коррида – ну, война, конечно... Вот англичане писали, что испанская чернь – самая жестокая в

мире, потому что любит корриду. У англичан с испанцами старые счеты... Но ведь коррида – это поединок! Поединок человека с быком. Один на один. Нет, чтобы все на одного. А в этой книжке – все на одного, все. Мало того: его лишают чести. Перед всем миром! И он это принимает – ради этих *всех*! Ты понимаешь?

Ничего из всего этого сказать Шпилевскому я не могла. Но я была ему благодарна, и очень хотелось это ему сказать.

В Наркомате его не было.

Не я одна хотела его увидеть. Его помнили. Но кто-то уже сказал: он здесь больше не работает. И все стало ясно. И все-таки – а вдруг?

Нас поселили в гостинице "Москва", сказали, чтобы мы сегодня чувствовали себя свободными.

– Можете пойти в театр, если захотите!

Я подошла к немолодой секретарше:

– И на "Анну Каренину" можно пойти?

– Конечно, – сказала она, улыбнувшись. – Покажете администратору свою краснокожую паспортину – и впустят.

Она была симпатичная. Я спросила ее:

– А где полковник Шпилевский?

Негромко спросила. Все ведь было ясно. Но – а вдруг?

Она подняла брови и сказала с удивлением:

– Он тут не работает.

И все стало на свои места. *Они* с ним разделались.

А недавно я получила справку из Москвы. Из архива Министерства обороны. Дана для представления в испанское консульство. Подтверждает, что я участвовала в испанской гражданской войне 1936 – 1939 гг.

Люся Фейерштейн, одна из нас, студенток-переводчиц, вспомнила обо мне и прислала мне эту справку.

Кстати: приглашения из Испании я так и не получила.

Июль – август 1996

ДВА ДНЯ В ВОСТОЧНЫХ ПИРЕНЕЯХ

Александр Богуславскому

Граница была открыта уже третий день, а люди все шли и шли. Шли солдаты с винтовками за плечами – неторопливо, не в ногу, бесшумно ступая пыльными альпаргатами по синеватому отполированному асфальту. Полицейский что-то говорил им – и они снимали винтовки и бросали их налево, на обочину. Затворы лязгали, куча винтовок росла. Солдаты шли дальше, по шоссе, мимо белозубых сенегальцев в алых фесках, и нежное февральское солнце светило им в лицо.

– Сиркуляр! – повторял полицейский. – Сиркуляр, сиркуляр!

Это значило: проходите! двигайтесь!

Люди его понимали и проходили еще сто метров, до следующего полицейского, который повторял то же самое.

Шли женщины: пыльные лица, сухие глаза, тусклые, навечно уложенные локоны. Шли старики, толкая перед собой детские коляски, – в колясках белье, одежда. Вещи. Как же без вещей? Им тоже говорили: сиркуляр, сиркуляр. Они качали головами и шли дальше.

Пронесся мотоцикл. У мотоциклиста поперек туловища была перекинута белая овца, за спиной у него сидела веселая девушка и держала овцу за ножки. Французы, молчаливой стеной стоявшие вдоль шоссе, засмеялись.

– Сиркуляр, сиркуляр!

Опять пошли солдаты; у одного за ухом – веточка цветущего миндаля. Они тихо пели:

Пуэнте де лос франсесес,
Пуэнте де лос франсесес...

Это старая песня. Ее пели еще во время войны с Наполеоном. Кто-то возмутился:

– У них такое несчастье, а они поют!

Ему отвечают:

– Бывает, от радости плачут, от горя поют.

Французы любят афоризмы.

...Пуэнте де лос франсесес,

Мамита миа, я ло ан пасадо!

– Эх, бедняги!

– Сиркуляр, сиркуляр!

Лязгая затворами, падают винтовки. Солнце греет; небо весеннее, легкое. А внизу, в долине, остались цветущие миндальные деревья. Нельзя оглядываться, нельзя оглядываться. Интересно, есть тут миндальные деревья?

...я ло ан пасадо!...

К полицейскому подходит высокий человек в светлом плаще, я его заметила раньше; по-моему, это он сказал: "Бедняги!"

– Я корреспондент польской газеты. Не можете ли вы сказать мне...

– Да, да, бедные люди, бедные люди! – торопливо отвечает полицейский, и на его толстом красном лице появляется гримаса сострадания. – Но что же делать, что делать! Куда! – заревел он, заметив, что какие-то женщины сошли с шоссе на обочину. – Нельзя! Сиркюле! Сиркуляр, сиркуляр!

Мне надо понять, куда угнали нашу машину. Меня и моего начальника высадили, а шоферу Пепе приказали ехать дальше. Пепе – испанец, – вероятно, ему нужно особое разрешение. У него ведь нет визы, он на общем положении. Беженец. Нет, хуже – эмигрант. Пепе – эмигрант, и эти женщины тоже эмигрантки... Сделали несколько шагов по шоссе и стали эмигрантками. Потому что обратного пути нет.

Ужасно стоять вот так на обочине и видеть, как люди становятся эмигрантами. Но мы не можем уйти пешком – моему начальнику совсем нехорошо, я это вижу. Солнце

греет, а он дрожит. Малярия. Полицейский велел нам ждать, пока выяснится. И мы ждем.

– Я хотел спросить вас только... – настаивает корреспондент.

– Да, мсье?

– Остатки интернациональной бригады... Они уже проходили?

– К сожалению, мсье, мы ничего не знаем. Мы только следим за порядком. Сиркуляр, сиркуляр!

Вероятно, он собирается писать чувствительный очерк.

Люди идут, идут... Кажется, будто вся Испания поднялась и пошла на север. Я знаю, тут не одни каталонцы, – тут и Севилья, и Валенсия, и те, кто говорит о себе с несравненной гордостью: "Я – из Форо!"

Форо – так они называют Мадрид. Там еще воюют, в Мадриде. Еще сопротивляются.

Только вчера, в Фигерасе, Карлос сказал мне:

– Мы ведь ненадолго уйдем... День-два... А потом – авион! Мадрид! Мадрид!

Он почти пропел это название. И лицо его – широкое, скуластое, какое-то калмыцкое – выразило такую беззащитную нежность, что я отвела глаза.

Сегодня я думаю: верил он в то, что говорил? Или старался внушить себе веру?

Рядом со мной беседуют двое:

– Тут ведь, кажется, проходил Ганнибал?

– Где только не проходил Ганнибал!

– А Ронсеваль далеко?

– Ну, хватит. У тебя уже кончается пленка. Поехали.

– Еще один кадр. Мне бы портрет старика, типаж. Рибейра, понимаешь?

– Ничего не выйдет. У них не то выражение. Не молитвенное.

– Гм, пожалуй. У них у всех какое-то общее выражение.

Мне надо отойти от них, мне невозможно это слушать, но мне интересно. Скашиваю глаза, чтобы их увидеть. Один совсем молодой, другой, тот, что с фотоаппаратом, – постарше. Кто они? Художники с Монмартра? Журналисты? Или просто собиратели впечатлений, богатые бездель-

ники? Чужая жизнь обступает нас, непонятная, интересная и враждебная – жизнь из рубрики "За рубежом". В Испании было иначе.

– Да, с этой войной все. Конец.

– А Мадрид?

– Вопрос дней.

– Гм.

– В Рибейру не веришь, а в Мадрид веришь?

– Отойдемте немного, хефе, – говорю я своему начальнику. – Сюда подбирается солнце.

"Хефе" по-испански значит "начальник", "шеф". Я привыкла его так называть. Теперь мы еще на несколько шагов дальше от Испании.

– О чем они говорили? – спрашивает хефе. – Ты так внимательно слушала.

Рассказываю и слежу за выражением его лица.

– Наблюдатели! – говорит он.

Это слово можно сказать по-разному. Мой хефе произносит его не впервые, но всегда с одной и той же пренебрежительной интонацией.

Люди идут, идут... Солнце взбирается все выше, и кое-кто уже утирает пот. Какая ранняя тут весна! Теперь и мне кажется, что во всех лицах есть какое-то общее выражение. Это... это недоумение, вот что. У стариков, у женщин, у солдат. Ими управляет сейчас чужая воля. Куда они идут? Полиция, сенегальцы и лязг падающих винтовок, и молчаливые французы вдоль шоссе... А что впереди?

– Зося! – слышу я. – Зося!

Голос задыхающийся, отчаянный... И я вижу: польский корреспондент бросается на шоссе и... останавливается. Солдаты в испанских шапочках текут мимо него, оглядываются с любопытством. Между ними шагает невысокая стриженная девушка в защитной гимнастике... Она вздрогнула, повернула голову, заслонила ладонью глаза от солнца... Он стоит неподвижно на самом краю шоссе, в двух шагах от нее.

Но, наверное, тяжелы эти два шага, если он их не делает.

Вот, вот она его увидела. Губы у нее кривятся, словно

она собирается заплакать, потом складываются в улыбку. Она машет ему рукой. Узнала. И шагает дальше. А он все стоит как вкопанный. К нему подходит полицейский.

– Мсье, сойдите с шоссе, пожалуйста.

И он послушно сходит обратно на обочину.

Кто ему эта девушка? Может быть, роман? Детская любовь, клятвы в верности, он богат, она бедна, она стала коммунисткой, пути их разошлись навсегда... Удивительно, как быстро складываются в голове такие истории. Истории – наборы из готовых деталей.

– Спроси-ка у полисмена, Рита, – говорит хефе, – что там с машиной. Может быть, мы чего-то недопоняли?

"Мы" он говорит из вежливости. Если кто чего недопонял, так это я, переводчица; ведь я его язык и уши.

– Мсье, как же наша машина?

Полицейский смотрит на меня, будто видит впервые.

– Ваша машина?

– Ну да, ведь вы нам велели ждать, пока все выяснится с нашей машиной.

– Ах вот оно что! Но вы меня не поняли, мадмуазель! Вам не следовало ждать здесь. Ведь ваша машина испанская? Заматрикулирована в Испании? Ну, конечно. Так она интернирована.

– Это значит, что нам ее не отдадут?

– Мадмуазель, – торжественно говорит полицейский, – таков приказ.

– А шофер, мсье?

– Он испанец? Значит, тоже интернирован, направлен в лагерь. Нет, не могу вам точно сказать, куда. Кажется, в Аржелес.

Пепе в лагере? Ах, черт, что же это? Все последнее время мы были вместе, все трое; да что вместе! Мы были одно. Несколько раз наша жизнь была в его руках, в его тонких и умных руках. И вот опустился какой-то воображаемый шлагбаум, и все переменилось: у нас с хефе паспорта и визы, а Пепе – эмигрант.

У полицейского начинаются угрызения совести.

– Я надеюсь, вы ничего не оставили в машине, мадмуазель?

Кста ги, да. Там остались мои перчатки, а главное – сигареты. Хотя во Франции сигареты не проблема. А вот догадается ли Пепе взять их себе? Надо бы съездить к нему в Аржелес или куда еще... Если бы только хефе не был болен!

– Мсье, как же быть? Вы высадили нас на дороге, а мой... мой муж болен.

– Мадам! – говорит полицейский. – Мне очень жаль, но я ничего не могу сделать. Вам лучше пойти вместе с мсье, – и он указывает на польского корреспондента, который бредет вдоль шоссе; за тем перекрестком будут попутные машины – вас подвезут.

Мы бредем по обочине, и я слышу, что у хефе лязгают зубы, – малярия взялась за него не на шутку. Хоть бы скорее тот перекресток!

В машине нас пятеро, кроме шофера: какие-то киношники, которые едут в Перпиньян снимать видовой фильм, мы с хефе и польский корреспондент.

Хефе прикрыл глаза, но я знаю, что потом он будет у меня выпрашивать: а этот толстый что спросил? а что поляк ответил? а худой, злющий, что с шофером сидел, – он почему все кидался? И я внимательно слушаю, не вступая в разговор.

Каждые несколько километров нас останавливают: проверка документов. Французы и корреспондент предъявляют свои удостоверения, мы – свои паспорта с французской визой. Перпиньян ограждает себя от испанского вторжения. Когда-то, лет сто пятьдесят назад, в первые годы республики, испанцы пытались захватить край садов и виноградников – Руссильон. Их прогнали, чем бывший Руссильон и поныне гордится. Теперь – иные времена. Провинция Руссильон давно уже называется департаментом Восточные Пиренеи, Бурбонов нет ни по ту, ни по эту сторону границы, оружие испанских солдат свалено в кучу на обочине. Почему же так беспокойно снуют на мотоциклах жандармы, почему сенегальцы оцепили шоссе?

– Война кончилась, – говорит толстый киношник и улыбается. Улыбка у него добродушная, приятная. – Как бы ни

было, война кончилась. Ах, какая бессмысленная вещь — гражданская война!

— Единственная война, которая имеет смысл, — это гражданская война! — огрызается худой, оборачиваясь к нам. У него острые черты и резкий, лающий голос. — Тут по крайней мере знаешь, в кого стреляешь. Ну, да тебе легко говорить, ты никакой войны не видел.

— И надеюсь не увидеть, — говорит толстый.

— При аппетите Гитлера! — язвительно замечает худой. — Мы, конечно, будем придвигать к нему куски пожирней: кушайте, пожалуйста.

— Как бы ни было, — говорит толстый, — война теперь отодвинулась надолго. Можно думать о Мюнхене что угодно...

— О Мюнхене можно думать только одно: это — lacheté — подлость. И тут я согласен с русскими, — легкий поклон в нашу сторону. — Хоть для меня и Россия, и Германия... Тоталитарные страны, черт возьми. Это не по мне.

— Мадмуазель, — лучезарно улыбается толстяк, — вы его не слушайте. Он просто сердит.

— Я не сердит, — говорит худой. — Я разъярен. Вот уже полгода в себя не могу прийти. Сорвали с места, мобилизовали... Обязательства! Чехословакия! Гитлер! Словом — война. Радости мало, что говорить. Но — понятно. И вдруг — здравствуйте: откупились! А теперь что они попросят? Эльзас?

— У тебя нет чувства юмора, — говорит толстый. — Право же, Морис, не стоит нам об этом разговаривать. Ты лучше посмотри, какое солнце. Надо было выехать раньше, полдня пропало.

Остановка.

— Ваши документы, мсье-дам?

Поляк сидит против меня, на откидном сиденье. Мне очень хочется спросить его о той девушке — о Зосе. Но он молчит, и я рассматриваю его лицо: обширный славянский лоб, глубоко посаженные глаза, скорбный рот. Молчание постепенно тяжелеет. Деликатный толстяк прерывает его:

– Как вам у нас нравится, мадмуазель? Вы уже бывали во Франции?

Отвечаю односложно. Тогда он обращается к поляку:

– Специально приехали из Парижа, чтобы написать об этих несчастных?

– Вчера это были солдаты, – говорит поляк, будто думая вслух. – Это была армия, пусть даже разбитая. Сегодня – это только несчастные! Какая страшная вещь – эмиграция!

– Да, конечно, – соглашается толстяк. – Но это, конечно, ненадолго. Они разъедутся. Вероятно, многие пожелают вернуться на родину – ушли в суматохе, от бомбежек или из-за того, что ушли соседи.

– Горек чужой хлеб, и тяжелы ступени чужого крыльца, – тихо говорит поляк. И на недоумевающий взгляд толстяка отвечает: – Это Данте. Он знал, что такое изгнание.

– Да, конечно, – неуверенно соглашается толстый.

Поляк замолкает, но я вижу, что какая-то мысль не дает ему покоя. Наконец он решается:

– Как вы думаете, мсье, какова будет судьба иностранцев, которые воевали там? Ну, немцев, итальянцев, поляков... Вы не думаете, что их могут отправить на родину насильно?

Толстяк возмущен:

– Что вы, мсье!.. Ведь Франция – свободная страна! Право политического убежища – святое право!

– Меня, как вы понимаете, интересуют поляки. Батальон Домбровского.

– Батальон Домбровского! – откликается Морис. Видно, что он опять готов ворваться в разговор. Но поляк этого не замечает и продолжает думать вслух:

– Я там кое-кого знал. Одну девушку.

– Девушку? – оживляется толстяк. – О, это интересно! Поляка?

– Она училась в Париже, изучала медицину. Тихая такая, застенчивая девушка. Мы с ней встречались иногда. Потом она вдруг пропала. Оказалось – уехала в Испанию, сестрой милосердия.

– Женская восторженность! – роняет Морис.

– Не знаю. Никакой такой особой экзальтации я в ней

не замечал. Правда, мы редко встречались. Да я, собственно, и не думал о ней, пока она не уехала. А потом мне о ней рассказали. Два раза была ранена...

– Жанна д'Арк! – говорит Морис. – Мечтала водить в атаку батальоны! Хорошенькая?

– М-м-м... пожалуй, нет. Но что-то в ней было, что-то было. Да, впрочем, какое это имеет значение?

– Может быть, она была коммунисткой? – спрашивает толстый.

– По-моему, нет... Я ее однажды встретил в церкви. Хотя...

– Женщины! – философски резюмирует толстяк. И пожимает плечами. А корреспондент вдруг обращается ко мне:

– Я понимаю, что это глупо... Но... Может быть, вы ее встречали? Ее зовут Зося. Хотя в Испании ее могли называть иначе.

– К сожалению, нет, – говорю я. – Я увидела ее только сегодня, на шоссе. Когда вы ее окликнули.

– А! – он слегка краснеет. – Это было глупо, вероятно. Я даже не уверен, что она меня узнала. В конце концов, мы были так мало знакомы...

– Нет, она вас узнала, – говорю я убежденно. И вижу, как светлеет его лицо. – Я на нее смотрела. Конечно же, она вас узнала.

– Спасибо! – говорит он.

Толстяк смотрит на него с интересом и, кажется, хочет что-то спросить. Но машина опять останавливается, и мы достаем документы, не дожидаясь вопроса.

Скоро Перпиньян. Мы едем молча, каждый думает о своем. Мой хефе, кажется, задремал. А я недовольна собой. Зачем мне понадобилось убеждать этого человека, что девушка его узнала? Пусть мучается, так ему и надо. Разве можно было вот так остаться на шоссе, когда она прошла мимо? Да ну его, он тоже, как говорит мой хефе, наблюдатель. Теперь пишет статью в свою панскую газету. Еще, чего доброго, и мы туда попадем: русские советники, кото-

Вот несчастье!

И вообще поляк мне мешает. Если бы его не было, я расспросила бы хефе, как он себя чувствует, поговорила бы с ним... А вдруг у него начнется бред? Он говорил мне, что, когда его трясет малярия, он бредит. А поляк, вероятно, понимает по-русски. Чертов наблюдатель!

— Грустно все-таки! — говорит он, ни к кому не обращаясь.

— Что именно, мсье? — осведомляется любезный толстяк.

— Я про сегодняшнее утро. Оно войдет в историю, нет сомнения. Представляете, сколько о нем будет написано. А я его видел.

— Можете считать, что вам повезло, — бросает Морис. — Не пойму только, отчего вам грустно. Ведь вы журналист.

— Потому что я видел, а не участвовал сам.

Передались ему мои мысли, что ли? Или я думала вслух?

— Это все молодость, — снисходительно замечает толстый. — Вы просто романтик. Вы завидуете вашей Зосе.

— Может быть, — говорит поляк.

— Ей не завидовать надо, а помогать, — шелкает голос Мориса. — Вы должны ее разыскать и помочь ей. Не теряя времени.

— Я только этого и хочу, — отвечает корреспондент.

Все-таки в нем есть какое-то подкупающее простодушие.

Машина останавливается. Впервые за все время шофер поворачивает к нам немолодое усатое лицо.

— Перпиньян, мсье-дам!

Одна бровь у него ползет вверх, из-под другой, насупленной, он поглядывает на меня и говорит по-русски:

— Вот мы и прикатали, сударыня!

Мы прощаемся. Хефе выходит из машины, не взглянув на шофера: он не любит белоэмигрантов.

Вечером, в гостинице, у хефе начинается бред. Он спорит с каким-то Шевченко: ошибаешься, товарищ Шевченко... врешь, товарищ Шевченко... нет, ты докажи, докажи!

Спор этот его волнует, потому что ответов Шевченко он не слышит и поэтому не может его убедить.

Пришел врач, пожилой, в золотых очках, с брюшком – вылитый буржуй, каким его себе представляют пионеры. Когда узнал, что хефе – не просто русский, но русский из Советского Союза, оживился необыкновенно и признался, что видит такого в первый раз. Однако к больному он подошел с некоторой опаской: вероятно, большевик, даже больной, казался ему страшноватым.

– Ого, сколько ранений! – сказал он. – Вот это воин. Весь вышит, как скатерть. Наверное, был кавалерист?

– Кажется.

– Вот этот шрам... ну, да вам неинтересно. Ну посмотрим, посмотрим. Замечательный все-таки шрам.

Несмотря на свою буржуйскую внешность, доктор, видимо, знал свое дело, потому что от его лекарств у хефе упала температура, и он задремал.

На следующее утро, когда я пришла его проведать, хефе лежал бледный и слабый, но с Шевченко больше не спорил, а приказал мне немедленно купить шляпу – здесь без шляп женщины не ходят! – и ехать в Аржелес.

– Возьмешь такси. У меня в кармане пиджака конверт, написано: "Для Пепе". Там деньги. Может, найдешь его, чем черт не шутит. Только не задерживайся. Вечером мы уезжаем.

Шофер такси всю дорогу угрюмо и невнятно бормотал на каком-то франко-каталонском наречии. Он был всем недоволен: нашествием испанцев, целью нашей поездки, ранней весной... "Весь миндаль пропадет", – бубнил он. Я не поддерживала разговора и смотрела в окно.

Асфальт, солнце, дорожные знаки, пестрый картонный дядька в котелке – реклама аперитива: Перно-фис! Дюбонне! Чисто, нарядно и чуждо. Есть анекдот: рассеянный актер перепугал спектакли и вышел в красноармейской форме, когда на сцене шел водевиль Лабиша. Если бы он задержался на сцене, то, наверное, чувствовал бы то же, что я сейчас. Уже второй день я двигаюсь в какой-то другой, не своей пьесе. Если бы со мной ехал хефе, этого чувства, возможно, и не было бы. Хефе – это связь времен, цельность, твердость. Говорят: дома и стены помогают. Хефе – как домашняя стена.

Врач сказал: весь вышит. Наверное, хефе мог бы порассказать о своих боевых подвигах: ведь участник гражданской войны. Но он — не рассказчик. Он — спорщик, самый непоследовательный и самый упрямый, какого я видела.

Как-то раз в Барселоне мы с ним зашли в кино. Он вышел оттуда очень недовольный.

— До чего некультурно! Курят, орут, на экране певец поет, а они из зала подхватывают. Не могут тихо посидеть. До чего же некультурный народ!

В другой раз жестоко ругал меня за то, что я починила рубашу начальнику штаба.

— Своего достоинства не соблюдаешь! Что о тебе люди подумают?

— А какая разница, что подумают?

— Как это — какая разница? Ты не дома, здесь обычай другой!

То ли он чтит здешний обычай, то ли смеется над ним.

А когда испанцы говорили: он очень умный, твой хефе! — я чувствовала, что с начальником мне повезло. Его уважали — за деловитость, за спокойную храбрость, а главное — за то, что знает свое дело.

— Аржелес! — говорит шофер.

Выезжаем на площадь. Народу много, как в праздник. Как искать, кого спрашивать? Ну, до лагеря доберусь, а дальше?

Расплачиваюсь с шофером, выхожу — и вижу Пепе: он стоит, выставив ногу вперед, смотрит на меня и смеется.

Кидаюсь к нему. Мыжимаем друг другу руки, издаем какие-то нечленораздельные восклицания. Неужели мы расстались только вчера? Сколько всего было за эти сутки!

— Пепе! Как это возможно! Что за чудо! Ведь я думала, что мне придется искать тебя в лагере. Мы ведь не условились!

— Ты бы ни за что не нашла! Такая куча народу! И никто друг друга не знает!

— Но как же ты оказался здесь как раз в это время?

— Ничего удивительного. Я был уверен, что вы приедете, вот и ждал на площади. Другой дороги тут нет. Но почему ты одна? Где хефе?

– Болен. Опять малярия.

Пепе сочувственно цокает языком – он знает, что это такое.

– Я тут с восьми утра. Мы за проволокой, лишний раз оттуда не выйдешь. Ты забыла в машине перчатки, знаешь? Вот они. И сигареты тоже.

– Ну сигареты ты уж кури сам за мое здоровье.

Мы идем куда-то, проталкиваясь между людьми. Постепенно я начинаю понимать, что тут идет какой-то торг, хотя товаров и не видно. Медленно, как лодки против течения, движутся в толпе испанцы – теперь я вижу, что их тут немало, – у них растерянные, озабоченные лица. Проворно снуют какие-то щеголеватые молодые люди, озираются по сторонам, присматриваются, перемигиваются: по видимому, они все между собой знакомы. Вот один из них, скептически скривив рот, разглядывает колечко, которое держит на ладони, а рядом стоит немолодая испанка в трауре и смотрит на него со страхом и надеждой. Ну да, ну да, это ведь черный рынок; воронье налетело на чужую беду, мне приходилось видеть это и в Испании, и раньше, в Одессе... Они всегда чуют поживу там, где голод и слезы. Он купит у этой испанки ее колечко за несколько франков... Ах, черт, какое дурацкое бессилие!

– Не знаешь, Пепе, нет тут какого-нибудь кафе? Я еще ничего не ела сегодня.

– Пошли! – говорит Пепе с готовностью. – Мне тоже противно смотреть на этих... Я бы их расстрелял! Но как же быть? Ведь дети хотят кушать. А где взять денег?

Маленькое кафе полно, несмотря на ранний час. Мы едва находим места. За нашим столиком – два испанца; они едят поспешно, молчаливо; хлеб с тарелки исчезает на наших глазах.

Молоденькая официантка – или, может быть, хозяйская дочка – приносит нам яичницу, масло, кофе с молоком и еще целую тарелку с хлебом. Наши соседи уходят; один из них подмигивает Пепе:

– Французский хлеб – серьезная штука, а?

Пепе того же мнения. Яичница ему не нравится: она не похожа на испанскую тортилью. Но по тому, как быстро

он с ней справляется, я заключаю, что он, пожалуй, со вчерашнего дня ничего не ел.

– Ну как ты тут? – спрашиваю я.

– Плохо, Рита. Очень плохо.

Я молчу. Что тут скажешь?

– У нас в бараке все говорят, говорят. Вчера до поздней ночи не спали. Каждые полчаса новости: то нас выдают Франко, то отправляют за границу. Кто говорит – в Мексику, кто – в Советский Союз. А в Мадриде воют. Можешь ты это понять?

– Мадрид сопротивляется, – говорю я привычную формулу.

– Мадрид сопротивляется, а мы здесь кончили войну. Едим этот французский хлеб – я в жизни такого хлеба не ел. Ну!

Он задумывается.

– Слушай, я всегда думал так: вот кончится война... Не то что: вот мы победим... Нет, просто: кончится война. Давно уже все так говорят, ты, наверное, тоже знаешь. Ну так вот, для меня уже кончилась война. Я понимаю, в Мадрид меня никто не отправит, не на чем; я бы добрался сам, может быть, но... Ладно, не в этом дело. Так вот, для меня кончилась война. И я – самый несчастный человек на свете. Понимаешь?

– Как ты можешь так говорить? Ты молодой, здоровый, у тебя впереди вся жизнь...

– А я и не говорю про то, что впереди. Я сейчас самый несчастный. Не потому, что я в лагере, или в чужой стране, или голодный... А потому, что они в Мадриде еще дерутся.

Он наваливается грудью на стол; его пожелтевшее за один день лицо оказывается так близко, что я могу разглядеть красные жилки в его глазах, выгоревшие волоски в черных недоуменно поднятых бровях.

– Мне стыдно, понимаешь?

Он пожимает плечами – все с тем же недоумением – и добавляет – тихо, чтобы другие не услышали:

– Как будто я себя не уважаю... И не говори мне ничего – я сам понимаю, что это глупости. Но мне плохо. И всем

нам поэтому плохо. И тебе, и хефе тоже, я знаю. Лучше бы мы были в Мадриде.

Мы сидим молча, мы не глядим друг на друга, и я слышу, из-за соседнего столика доносится: Мадрид, Мадрид... Кажется мне, или все только об этом и говорят? Потом кто-то скучливо выговаривает по-французски: бессмысленное сопротивление. И я рада, что Пепе не понимает этих оскорбительных слов.

Но Пепе, который сидит лицом к двери, вдруг оживляется:

– Смотри-ка! Докторша из лагеря. К ней тоже кто-то приехал!

Я оборачиваюсь. В дверях стоят двое: тот самый корреспондент и с ним стриженная девушка в гимнастерке. Они держатся за руки, оглядываются: ни одного свободного столика. И Пепе торопливо говорит:

– Я их позову. Это такая хорошая девушка...

Он вскакивает и машет рукой: сюда, сюда!

Они подходят; обрадованный корреспондент обращается ко мне:

– Вы позволите, мадмуазель? О, это вы! Как удивительно!

– Мы с этим сеньором вчера вместе добирались в Перпиньян на попутной машине, – говорю я Пепе по-испански.

Сеньор в это время что-то объясняет своей спутнице по-польски. Забавно! У нас на четверых нет общего языка: корреспондент не понимает по-испански, а Пепе – по-французски.

Девушка протягивает мне руку и улыбается. Черт, какая улыбка! Кажется, что в комнате одновременно включили все осветительные и нагревательные приборы. Мне сразу становится весело на душе. "Какая милая!" – думаю я.

– Меня зовут Зося, – говорит она. – Но здесь почему-то звали Люсия.

Голос у нее нежный и убедительный, как у учительницы младших классов.

– Рита, – отвечаю я. – Это тоже мое здешнее имя. А это – Пепе, он вас знает.

– Хосе-Мартин Гонсалес Валеро, – торжественно пред-

ставляется Пепе. – Наверно, камарада меня вчера не заметила, там было много народу. Это, когда мы приходили к больной Росе...

– Да, да, – говорит Зося, – я помню. Бедняжка, в таком состоянии шла из самой Барселоны. Это еще счастье... что она дошла... Ведь что это было, особенно по ночам...

Она подпирает кулачками маленький подбородок и смотрит куда-то поверх наших голов. Кажется, что она опять видит ночную приморскую дорогу, запруженную людьми, вспышки ракет, зарево далекого пожара. У нее совсем детское лицо и, задумавшись, она таращит глаза, как ребенок.

Корреспондент тихо прикасается к ее плечу:

– Вернитесь обратно, Зося!

Она вздрагивает и обращается ко мне:

– Вы, наверное, тоже там были, на той дороге. Янек говорит – вы приехали из Испании. Вы были переводчицей? Я видела там русских девушек, но разговаривать с ними не приходилось. Последнее время я работала в госпитале... Я ведь не врач, я простая энфермера, сестра...

– Роса вчера сказала, – вмешивается Пепе, – она сказала, когда вы ушли: какое счастье, что тут есть такие хорошие врачи.

– В самом деле? – Зося даже краснеет от удовольствия.

И Пепе радостно смеется:

– Ну, конечно! Она сказала: никогда еще меня не лечил такой хороший врач.

Подходит официантка. Корреспондент просит два бифштекса и бутылку виши. Официантка, подумав, говорит:

– Видите ли, у нас мясных блюд нет... Но можно сбегать через дорогу, к мяснику, мсье-дам, – через десять минут будет готово.

– Как хочется есть! – вздыхает Зося.

– Ну, еще немножко потерпите! – уговаривает ее корреспондент.

Лукаво поглядывая на своего спутника, она начинает пощипывать хлеб с тарелки. Он говорит озабоченно:

– Позавтракаем и пойдем сразу куда-нибудь обедать.

– Хлеб у французов вкусный, – говорит Пепе. – Но вот яичница... Вам нравится испанская тортилья, камарада?

Зосе, оказывается, очень нравится. Потом она переводит свой разговор с Пепе на польский язык. А Пепе рассказывает мне:

– Вчера вечером какой-то приходил... Уговаривал вернуться в Испанию, к Франко. "Родина вас простит", – так он говорил.

– Испанец?

– Ну да, испанец! Француз! Но ихний, фашист!

– А вы что ему сказали?

– Ну, что сказали! Сказали, что он фашист, козел, и что мы в прощении Франко не нуждаемся. Он, кажется, обиделся. Быстро так ушел.

Зося и корреспондент о чем-то говорят по-польски. Я слышу, она говорит: Мадрид! И опять: Мадрид! Он что-то возражает – я слышу это по интонации. Я не понимаю слов, но чувствую: он говорит про бессмысленное сопротивление. Сколько раз мне пришлось это слышать! И я вмешиваюсь в разговор, которого не понимаю.

– Пепе страдает оттого, что он не в Мадриде. Зося, вы бывали в Мадриде?

– Да. Я не могу объяснить, что это такое. Не могу объяснить, что такое для всех нас теперь этот город.

– Не переводите моих слов, – говорит корреспондент. – Но вы-то понимаете: остались считанные дни! Зачем же тянуть? Мадрид обречен! Надо смотреть правде в лицо.

– Нет! – говорит Зося. – Ты не понимаешь. Пока они борются – они свободны. Еще неделя свободы, еще день, еще минута. Ну? Я не могу тебе объяснить... А потом уже не будет ничего. То есть люди будут жить, и есть, и спать, и все такое... Но уже не будет ничего.

– Свобода! – говорит корреспондент. – Все тираны клянутся свободой. И Франко тоже. Поверь мне, сейчас все устали. Надо набраться новых сил. Может быть, ждать, пока поднимется новое поколение.

– Ого! – вырывается у меня.

Мы с Зосей смеемся, и Пепе вторит нам, хотя и не понимает, о чем мы говорим.

– А нам-то что делать, пока вырастет это поколение? – спрашивает Зося.

– Наслаждаться миром, пока он на земле! – говорит Янек.

У них начинается какой-то важный спор. Теперь настаивает он, она уже не пытается его убедить, она просто молчит, но я чувствую, что она не соглашается. Вот она тихо покачала головой; он опять раздражается потоком слов. Пепе говорит мне:

– Что он от нее хочет? Это ее жених?

– Кажется, нет.

– А я думал...

– Слушай, Пепе, – говорю я, – хефе прислал тебе письмо. Только не читай его здесь, ладно? Прочтешь, когда я уеду.

– Хорошо, – говорит Пепе.

Я отдаю ему конверт, на котором испанскими буквами написано: "Для Пепе". Пепе берет его с недоумением, потом, вдруг поняв все, делает движение, чтобы вернуть его мне. И я говорю:

– Ты обязан взять. Это его приказ.

Пепе смотрит на меня и что-то соображает.

– Ладно, – говорит он наконец. – Здесь без этого нельзя. Там, в Испании, мы уже отвыкли.

– Камарада Люсия! – слышим мы чей-то крик. – Камарада Люсия!

К Зосе подбегает оборванная, но затейливо причесанная девочка.

– Камарада Люсия, – говорит она, задыхаясь (видимо, она бежала всю дорогу), – моей маме плохо. А капитан сказал: беги, найди камараду Люсию, она в кафе, это та самая камарада, что лечила Росу.

– Пошли! – говорит Зоса деловито. – Я вернусь, – говорит она Янеку. И, улыбнувшись нам, добавляет: – Вы еще побудете здесь? Я приду!

Мы смотрим ей вслед, пока она не скрывается за дверью; без нее за нашим столом становится как-то пусто, корреспондент молчит и, кажется, не понимает, почему он оказался рядом с нами. У Пепе такой же вид. Почему это? Ведь только что корреспондент казался нам славным парнем, нам всем было весело.

Корреспондент говорит:

– Она не хочет уезжать отсюда. Я хочу везти ее в Париж, а она не соглашается. Говорит, что она здесь нужна.

– Что он сказал? – спрашивает Пепе.

Я объясняю. Пепе вздыхает и говорит:

– Какая девушка!

– Подумайте! – говорит корреспондент. – Ведь это же простое упрямство. Разве мало тут врачей? Да она даже и не врач, она не кончила учиться; ей никто не разрешит практиковать здесь без диплома!

Пепе напряженно вглядывается в его лицо, стараясь понять, что он говорит.

– Он, наверное, беспокоится за нее, да? Скажи ему: мы все будем заботиться о ней. Она нам будет как сестра. Ее никто не обидит. Пусть он будет спокоен.

– Он говорит, что они все будут заботиться о ней, – отвечаю я на вопросительный взгляд корреспондента. – Он восхищается ею.

– Я сам хочу о ней заботиться, – говорит корреспондент. – Черт возьми, что я, разве не понимаю, что испанцы ее не обижают? А власти? Какие-нибудь начальники, полицейские? А вдруг, мало ли что...

Появляются бифштексы. Корреспондент с грустью смотрит на Зосину порцию, потом принимается за еду. Пепе следует его примеру. Я смотрю на часы: пожалуй, мне пора. Пепе замечает мой взгляд:

– Посиди еще немного, – говорит он. – Надо ее дождаться. Может быть, она захочет тебя о чем-нибудь попросить. Ведь это близко – Польша и Советский Союз; ты сможешь заехать к ее родным. У нее есть родные?

– Не знаю. Нет, не думаю, что я смогу к ним заехать.

– Она очень справедливая, эта девушка, да? И такой хороший врач!

Корреспондент, очевидно, уловил слово "медико" – врач.

– Она еще не врач, объясните вашему другу. Ей еще надо учиться. Ей надо подумать о себе, о своем будущем. Думаете, легко ей теперь будет вернуться на родину? Думаете, там не узнают обо всем?

– Вы спрашивали ее, что ее заставило... Ну, почему она уехала в Испанию?

– Представьте себе, не спрашивал.

– Почему?

– Не знаю. Да какое это имеет сейчас значение? Это кончилось. Она осталась жива, она должна жить и думать о будущем. Выйти замуж, вернуться на родину...

– Кюхе, кирхе, киндер!

– Неверно вы меня поняли. Мир. Любовь. Покой. Война кончилась. Вы не помните той войны, а я немного помню. И помню, что это такое, когда наступает покой. Люди теперь не любят этого слова, я стараюсь употреблять его как можно реже. Но это прекрасное слово. Вы со мной не соглашаетесь, потому что... словом, я знаю, почему. У вас другие слова. И я вам кажусь сейчас стариком из старого мира. Так?

– Я помню, как вы сказали вчера... что завидуете Зосе. Что жалеете, почему вы не участвовали в испанской войне.

– Это другое дело. Я – журналист. Я должен был бы...

– Погодите, – говорю я. – О чем вы жалеете? Что не побывали в Испании во время этих событий с охранной журналистской грамотой? Или о том, что не дрались на какой-нибудь стороне?

– О том и о другом.

Мне хочется спросить его: а на чьей же стороне он дрался бы, если бы дрался?

Но я не спрашиваю.

– Как странно! – говорит Пепе. – Вот как теперь бывает: девушки воюют, а мужчины о них беспокоятся. Почему он сам к нам не приехал? Наслаждался жизнью в Париже?

– Он корреспондент.

– Ну и что?

В самом деле – ну и что?

– Он ей не подходит, правда?

Корреспондент говорит:

– Кажется, таких людей, как я, у вас в стране называют мещанами?

Последнее слово он произнес по-русски.

– Вы говорите по-русски!

– Нет. Но это слово я знаю. Читал Горького. Вы мне не ответили на вопрос.

– Не буду врать. Да.

– А по-моему, – говорит он, – мещанство, или филистерство, – это узость взглядов.

– По-вашему, мир – покой – любовь, когда рядом идет война, – это широта взглядов?

– Ага! Вот этого я от вас и ждал. То же самое и говорит Зося. Откуда это у вас – я понимаю. А у нее?

Ух, как мне трудно с ним разговаривать!

– По-моему, – говорю я, – каждое поколение решает этот вопрос для себя.

– В каждой стране – по-разному.

– Почему? Для наших родителей – моих и ваших – это было отношение к русской революции. Для нас – к Испании. Это вовсе не связано пределами одной страны.

– Ах, да! Ведь вы – интернационалисты!

– А вы националист?

– Вы произносите это слово как "нацист". Я не нацист, я поляк.

– В интербригаде был батальон Домбровского.

– Это запрещенный прием. Вы бьете по больному месту.

– Простите. Но почему?

– Потому что я до конца жизни буду жалеть о том, что не был в этом батальоне.

Вот и ответ на мой незаданный вопрос.

– Вы спорили? – спрашивает Пепе.

– Он говорит, что до конца жизни будет жалеть о том, что не воевал вместе с вами.

– Ну что ж! – говорит Пепе. – А может, еще придется? Э, какие-то новости! Смотрите, кто пришел!

К нам подбегает та самая оборванная девочка, которая увела Зосю.

– Камарада медика велела передать: она не может прийти. Моя мама очень болеет. Она просит, чтобы вы не сердились. И чтобы камарада поляко, если приедет завтра, привез бы лекарства, вату, бинты и все такое... Она говорит, что у меня скоро будет братик, и потому мама так болеет. И просит передать привет камараде Рите.

– Ну что ж! – говорит камарада поляко, выслушав мой перевод. – Пусть скажет ей: завтра приеду!

Он кладет на стол деньги, встает.

– Вы в Перпиньян? Могу подвезти вас. Сегодня у меня машина.

– Спасибо, – отвечаю я. – Я еще побуду здесь.

– Тогда – прощайте. Очень рад был познакомиться с вами обоими.

Мы смотрим ему вслед. У дверей он оглядывается, поднимает руку. Я вижу, как он медленно, словно в нерешительности, сжимает пальцы... Да, это республиканское приветствие. Пепе встает и серьезно, почти торжественно, делает тот же знак. И моя рука складывается сама собой.

– Салют, камарада поляко.

– Хороший он, как ты думаешь? – спрашивает Пепе. – Ты не захотела поехать с ним вместе? Почему?

– Не знаю. Устала.

Неправда. Я не поехала с ним потому, что знаю – хефе бы этого не позволил.

Когда я возвращаюсь в гостиницу, в коридорах уже горит электричество. Хефе встречает меня в полном параде – одетый, побритый и злой, как черт. Похоже, что предстоит длинный разговор о неаккуратности, легкомыслии, недисциплинированности...

– Опаздываете! – холодно говорит хефе.

– Разрешите доложить! – начинаю я торжественно.

– Отставить оперетку! – сердито говорит хефе. – Видела ты его?

– Видела. Конверт отдала. Я должна вам сказать...

– Обедала?

– Обедала. А вы?

– До поезда час сорок минут. Рассказывай.

Я рассказываю.

– Это хорошо, что он ждал, – говорит хефе. – Значит, верит нам. Он крепкий мужик, выстоит. Начнут их теперь вербовать – в иностранный легион, да еще и похуже... Воображаю, сколько тут шпионов бродит! Им сейчас самая тут работа!

– Я встретила там еще этого польского корреспондента, – говорю я. – Того самого, с которым мы в Перпиньян ехали.

Хефе настораживается.

– А что он там делал?

– Он свою девушку нашел, ту самую, которую мы на шоссе видели. Ну, Зося.

– Ты с ним разговаривала?

– Мы вместе завтракали. Или обедали, вернее. Там на весь город, кажется, одно кафе. А Пепе уже знал эту девушку. Это он их позвал за наш столик.

Ведь я оправдываюсь. Конечно, я оправдываюсь, потому что хефе недоволен.

– Эх! – говорит хефе. – Было бы мне не пускать тебя одну. Подумаешь, развела знакомство.

– Я не разводила никакого знакомства. Я даже его фамилию не знаю.

– Он-то твою наверняка узнал, можешь быть спокойна. Чему вас только в университетах учат? Ведем, ведем разговоры о бдительности, а чуть с глаз долой – пожалуйста! – в ресторан с каким-то буржуазным газетчиком. Эх ты, студентка!

– Это не ресторан, – говорю я и чувствую, что с моим хефе необходим переводчик, настолько мы не понимаем друг друга. – Это кафе. Я с ним не ходила – мы случайно оказались за одним столом. Вы просто мнительны, хефе. Ничего в этом нет страшного.

– Страшного! – говорит хефе. – Что я, боюсь, по-твоему? Я тебя просто предупреждаю. Мы не дома.

– Вы просто любите спорить, товарищ хефе. Даже в бреду все спорили с каким-то Шевченко.

Хефе смотрит на меня пристально.

– Я и наяву с ним спорил. Толковый был мужик. Под Теруэлем погиб. Он однажды сказал: а что, говорит, вот мы тут воюем, дело делаем, а может, дома нас уже заочно посадили.

– И вы с ним заспорили.

– Тогда-то нет, – говорит хефе. – Тогда-то не спорил. Время такое было, из дому все писали: грипп свирепствует

– спасенья нет. Ну а теперь вроде бы грипп кончился или поутих. Вот и спорю с ним. Ну ладно. Рассказывай, о чем ты со своим газетчиком разговаривала?

Я рассказываю про корреспондента, про Зосю, про наш спор. Хефе слушает внимательно, не перебивая.

– Да! – говорит он наконец. – У нас в отряде была девушка в этом роде. Институтка, в Смольном училась. Бывает. Ну, а он...

– А что с ней теперь?

– А он, – продолжает хефе, не слушая меня, – все покоя ищет, значит? Ну, ты хорошо ему сказала, молодец. Покой ему нужен, ишь ты! Не-ет, покой придется забыть, товарищ газетчик!

– Он горюет, что в Испании не воевал!

– Ну что ж! – говорит хефе. – Он человек молодой, может, и правда, совесть в нем заговорила. Только совесть – она покоя не любит. Не то время, да! Не то время!

– Товарищ хефе, расскажите про ту девушку, институтку.

– Некогда уже рассказывать, на вокзал пора. Пока билеты купим, пока то, другое... Ты эту шляпу где купила?

– А что? Нехорошая?

– Да нет, ничего вроде. Я-то в шляпах не понимаю. А еще ты на женщинах видела такие шляпы?

– Видела.

– Ну это хорошо. А то хозяйка могла тебе любую заваль продать, благо ты нездешняя. Частный сектор. Ладно, скоро дома будем. Дома! Завтра с тобой подарки покупать пойдем. Только моей жинке ты такой шляпы не покупай – не наденет. Ну, звони портье.

Я позвонила.

– Скоро дома, – повторяет хефе. – Эх, не так бы нам возвращаться. Не с таким тяжелым сердцем.

Мы идем весенней веселой улицей незнакомого города, куда мы, должно быть, никогда не вернемся. Огни и музыка, и лунный свет, и зуавы на улицах. Не город, а роман Лоти, девятнадцатый век... Сегодня воскресенье – вот почему улица полна зуавов; они поют, хохочут и пристают к

девушкам. Прощай, Перпиньян, живи спокойно, если можешь; забудь о тех, кто за проволокой; ведь ты дал им кров, они должны быть благодарны, не правда ли? Ты не знаешь затемненных окон, голодной тоски, воя сирен, унижения побежденных. Не знаешь и не хочешь знать. Тебе обещан мир – или отсрочка, не все ли равно. Прощай, Перпиньян.

В поезде газеты: папа умер, весь мир плачет... Вот, оказывается, о чем плачет мир: умер папа Пий Одиннадцатый. Весна, нежная весна тридцать девятого года плывет над миром... Как быстро несутся французские поезда! Синий ночничок горит в нашем купе, всхрапывают, сидя, случайные попутчики, – они, кажется, сели в Нарбонне. Хефе откинул голову на спинку дивана, вытянул длинные ноги. Спит или думает о своем? О чем он думает? Об Испании, о гражданской войне, о доме? О том, чего не мог спасти? О тех, кто остался?

Мы едем домой. Мы едем домой. У нас спросят: почему так случилось? Почему проиграно дело республики? Не теперь, но когда-нибудь спросят. А у хефе могут спросить и теперь. Он скажет: было уже поздно. Он скажет: мало оружия, самолетов, танков, необученные офицеры... Да у нас в гражданскую войну разве было все это? Ведь он знает, он помнит.

Он сказал: с тяжелым сердцем. А ведь, наверное, приходилось ему оставлять города, уходить... Да, но тогда была молодость и уверенность: еще вернемся. А теперь?

Как они говорили, эти французы: конец, конец! Не может это быть концом. Это зигзаг, петля, отклонение. Но это не конец. Это начало. Ведь и у нас был девятьсот пятый год.

Те киношники, вчерашние... Они, наверное, уже в Париже. И Янек, корреспондент, наверное, вернулся. Хотя нет, он должен отвезти Зосе то, что она просила. Говорит о покое, – а ведь на душе у него беспокойно. Он просто твердит привычные слова, а душа опередила их, уже опередила. И сколько еще таких, чью душу разбудила Испания. Не поздно ли? Нет, не поздно. Ничего не кончилось.

Странно все-таки, что мы уже не увидимся никогда. Бу-

дем взрослеть, стареть, и воспоминания об этих случайных встречах на окраине чужой страны сотрутся. Или, может быть, застрянут в памяти, как осколки. Сколько таких осколков в душе немолодого человека! Одни, наверное, так и лежат мертвым грузом, а другие покалывают, тревожат, не дают покоя.

Летит весна за окном, похрапывают попугачики, синим огоньком мерцает ночник.. Мы едем домой. С каждой минутой, с каждым нетерпеливым гудком стремительного поезда мы ближе к дому. Еще один парижский день, потом Гавр, пароход, море, норвежские шхеры и – дома. Дома! Вернемся домой... Мы стали старше, у нас появились новые воспоминания, значит – мы стали богаче.

Мы увозим улыбку Зоси, доверчивую дружбу Пепе, последний, нерешительный жест польского корреспондента. И все это станет частью нашей жизни, станет нами.

Но что-то и мы оставляем здесь, что-то такое, чего без нас не было ни в Зосе, ни в Пепе, ни в Янеке. И кто еще знает, чем станет для перпиньянского врача воспоминание о первом русском из Советского Союза, которого он видел? Чем станет смятение польского корреспондента? Чем станет ярость Мориса?

Я не знаю, что из этого прорастет, а что умрет, не давши побегов. Но я чувствую: мы все связаны навеки. Мы два дня жили вместе на этой земле.

1962

АХ, САМАРА-ГОРОДОК...

Пожилые супруги и двое их более молодых приятелей в субботу сидели перед телевизором и смотрели русскую программу "Старая квартира".

Это интересная программа. В меру веселая, в меру ностальгическая, в меру страшноватая. Страшноватая, потому что речь в этой серии пошла о сорок девятом годе. Люди вспоминали о разном и по-разному. Оказалось, между прочим, что главным литературным явлением года стала "Книга о вкусной и здоровой пище". Неожиданно по поводу этой книги стали ломаться копы — мужчины, участники встречи (как правило, пожилые), были настроены воинственно. Один утверждал, что это был подарок номенклатуре, и простым людям она была недоступна — как те блюда, которые в ней описывались. Другой с негодованием отвел это обвинение как ненужное очернительство. Потом балерина Лепешинская призналась, что никогда этой книгой не пользовалась, поскольку вообще не умеет готовить, но ее подруга, французская балерина и замечательная кулинарка, была от нее в восторге. Данин и Борщаговский стали рассказывать о борьбе с космополитизмом, развернувшейся в этом году, а "архивариус" программы указал, что все началось с запрещения "Москау Ньюз"... Все время поминали Сталина — показывали кинохронику, портреты... Потом стали спрашивать сидевших в первом ряду детей — кто это? Даже фамилию знали не все. Особенно утешил зал мальчик лет восьми, который решительно заявил:

— Это не русский человек!

Передача кончалась. И в заключение на эстраду была приглашена маленькая женщина с восточным лицом — фамилию я сначала не разобрала, — которая рассказала, что у

нее много гастролей, что она выступает со своими песнями – и русскими, и казахскими – в Париже, в Берлине, еще где-то... И ведущий попросил ее спеть то, что она пела в России в сорок девятом году. Она запела – тонким-тонким голоском:

Ах, Самара-городок,
Беспокойная я...

И тут хозяйка дома завывала – хрипло, жутко...

Этой хозяйкой была я. Но странно писать о себе: завывала хрипло, жутко. Хотя так оно и было – я сама себя услышала и испугалась. И муж испугался. Но тут как раз наступил конец передачи.

Давненько это было. В январе пятидесятого года мы, "политические", – пятьдесят восьмая статья, были отправлены из Ленинградской пересыльной тюрьмы в Бокситогорск.

Что такое Бокситогорск? На карте генеральной? Был ли он городом до советской власти? И как он тогда назывался? БСЭ про это молчит. А в советское время стал Бокситогорск райцентром и, судя по названию, там добывали боксит. Так мы этого боксита и не увидели (кажется, из него делают алюминий), нас ждали там совсем другие работы. Но мы, ясное дело, и представления не имели, куда нас везут. Это всегда великая тайна. Хоть везли нас недалеко – за двести сорок пять километров – и мы их покрыли всего за одни сутки. Вагон был телячий, если кто помнит, что это значит. Там были сплошные нары, верхние и нижние, а в середине вагона – буржуйка (посмотрите в словаре), и мы с Машей Лукиной всю ночь ее топили.

– Ну что, Руфа, хорошо у печки?

Полутыма, полугутина, лицу жарко, спине холодно, ровный стукколес – стукколес, иногда взвизгнут рельсы на повороте. Поезд едет-едет куда-то, не мчится, но тянет ровно. Маша напевает "Прощайте, скалистые горы", я смотрю на ее веселое (да-да, веселое! От природы веселое!) лицо и навсегда запоминаю песню. А где в России Скалистые горы? Вроде, в Америке они? Как бы то ни было, хорошая песня, и с загадками.

Мой первый этап. Бокситы – Чистюнька – Райчихинск – этапы большого пути. На мотив Каховки. Ну, скажем, не большого, а длинного. И долгого. Первый этап был короткий и нетрудный. Предстояло еще два, но тогда, наверное, и сам Бог об этом не знал.

В этапе опытные лагерницы занимают места на верхних нарах. Маша была опытная, она уже полсрока отсидела ("за немцев") – прокантовалась под Ленинградом – но тут ей, видимо, захотелось посидеть у огня. И так и просидели мы с ней – всю ночь. Топили буржуйку.

Мы приехали темным морозным утром. Куда? Это не был город, конечно, – не было городских улиц. Тут память мне изменяет. Помню мороз, редющую темноту, скрип плотного синеватого снега под ногами и наконец – забор, ворота, на воротах освещенный электрическими лампочками лозунг: "Под знаменем Ленина, под водительством Сталина – вперед, к победе коммунизма". Рядом с воротами будка.

– Вахта, – сказала мне Маша. – Ну, теперь настоимся...

Но мы недолго простояли у вахты. Растворились ворота, и нас, с вещами нашими, впустили в лагерь. В зону. Уже рассвело, и я увидела несколько одноэтажных домиков с трубами на крыше, и из каждой трубы прямо в серое небо совершенно вертикально поднимался дым.

– Вот какой мороз. Дым прямо идет, не завивается, – сказала Маша.

Перекличка на морозе, потом баня. В предбаннике какие-то женщины бреют нам всем лобки: лагерная гигиена.

А в бане хорошо. Жарко. Воды горячей хватает, шаек тоже. Никто не торопит, не подгоняет... И кусочков мыла, что нам раздали, хватает и на голову тоже. Хорошо.

Потом мне говорили, что лагерные придурки – нарядчик, его дружки – откуда-то наблюдают весь этот банный маскарад. Возможно. Лагерь этот, как я потом узнала, общий: мужская зона от женской одной только проволокой отделена. И тут и пятьдесят восьмая и разные другие статьи – бытовые, уголовные... Только бараки разные.

Вещи наши тем временем проходят прожарку. А мы, сразу же из бани, голые и теплые, предстаем перед лагер-

ным начальством – оно, в полном составе и в полной форме, заседает в комнате рядом...

Начальство принимало важное решение: на какие работы кого из нас послать. Большого выбора в этом лагере не было: лес или пошивочная, где слабосильные и инвалиды шили варежки. На варежки попадали немногие. Меня спросили – чем занималась на воле. Я сказала, что была переводчицей.

– Ну вот, теперь поработаете в лесу (на вы, однако!).

Я, естественно, не протестовала.

За это интеллигентная Ирина Неудачина обозвала меня Жанной д'Арк. Маша Лукина только руками разводила:

– Да вы на себя посмотрите. Вы ж и топора не подымете!

– Так они же видели!

– Ну и что? Сказали бы: сердце у меня...

– А у меня оно здоровое!

Оно у меня и правда здоровое. Во всяком случае, в Израиле удивлялись: как, вы не получили инвалидности? После лагеря? По сердцу?

Кажется, сейчас оно у меня... в общем, теперь я хоть знаю, где оно находится.

А вообще-то говоря – в этом я бы никому не созналась! – лес казался мне менее страшным, чем швейные машины. Они с детства вызывали у меня – возвращенное мамой и няней – чувство благоговения перед неприступностью. Дивная вещь – но это не для меня. Топора я боялась меньше, мне казалось, что я понимаю, как им машут.

И наконец, после всего этого, нас повели в барак. И тут нас ожидал сюрприз.

– Девки! Кровати!!!

Да, здесь были кровати. Застланные кровати. С одеялами, с простынями, с подушками. Подушки были набиты слежавшейся ватой, одеяла были тонкие байковые, да и кровати были железные с давно прогнувшимися сетками, но все-таки, как мне сразу же объяснили, это была секция "как у придурков", в других лагерях такие секции бывали только у придурков, то есть у лагерной обслуги, а работягам полагались двухэтажные вагонки, по три доски внизу и

наверху; между каждой парой проход. А на ночь сверх оделя наваливали свои телогрейки или, как мы, лесовики, — свои тулупы. И не мерзли.

Тулупы нам выдали в первый же день. Овчинные, не рванные. На левом рукаве моего — и только моего, ни у кого больше этого не было, — красовались выведенные белой масляной краской буквы В/П. Что означало — военнопленный. Принадлежал, видно, военнопленному немцу. Я думаю, этого тулупа никто не захотел брать, потому он мне и достался. А мне было все равно — тулуп он и есть тулуп. Но от мужских разношенных валенок с задранными от старости носами я отказалась категорически.

Дело в том, что у меня, по моим понятиям, уже была теплая обувь — довольно просторные серые фетровые ботики — без каблука, на резиновой подошве. И утром на свой первый развод я в них и явилась. Стою, вдруг слышу:

— Девочка! Да, да, тебя, тебя. Ты что? Ты в этом в лес собираешься?

Смотрю. По виду, по одежде заключенный, как мы, но вроде начальника (оказалось — бригадир уголовников). Не дожидаясь моего ответа, обращается к Полине — нашему бригадиру. Она высокая, ее далеко видно:

— Ты что же смотришь? Она ж там ноги отморозит — а тебе отвечать?

— Да я ей говорила, она не хотела валенки брать...

— Она что у вас, психованная? Беги с ней в каптерку, живо!

И вслед:

— Надумались! Моду тут соблюдать...

Полина мне это долго помнила: перед чужим бригадиром выставила! весь развод остановила! Это же надо!

Я молчала — уже начинала понимать. И эти подшитые валенки, сорокового размера, носила до самой весны. Надо признаться — ногам в них было тепло.

— Разберись по пятеркам!

Разобрались. По пятеркам залезли в грузовик. Уселись на пол, лицом к конвоирам. Ехали быстро, как говорится, с ветерком. Потом шли по лесу — недолго шли. Лес был ничего, не тайга какая-нибудь — так говорили опытные лю-

ди. Елки, сосны, летом вот пойдут грибы, ягоды...

– Вот-вот! Летом как раз тебя сюда и пошлют, на грибы-ягоды! Ты лучше просись печенье перебирать. Где это ты видела – лесоповал летом?

В тот же день моментально выяснилось, что я ничего в жизни не видела, ничего не знаю, ничего не понимаю, и хотя топор в руке удержать могу, но толку от этого – никакого. Однако я понимала, что и в швейной было бы то же самое!

Всю предыдущую жизнь я считалась способной ученицей – а тут оказалось, что я не просто неспособная, а тупая.

– Та не зажимай пилу! Тягны, тягны!

– Та кто ж так сучки рубить? Ты шо, не бачила николы, як...

Первый день мне не запомнился подробностями – не хотелось запоминать. Запомнился отвратительным чувством собственной никчемности.

– Делай, как я, – говорили мне.

Но и этому надо было научиться – усваивать без объяснения, вприглядку. В конце концов – в тот же день, однако! – меня научили поддерживать огонь в разожженном костре. Дым ел глаза, снег их слепил... Но к костру то и дело подходили, на перекур. И подсаживались жарить хлеб, наколотый на палочку. Угостили меня. Оказалось – очень вкусно. Я решила, что завтра тоже возьму хлеб с собой...

Наконец конвоир скомандовал: "Кончай работу!"

Опять грузовик, опять с ветерком... Ветер сек лицо, но ехать было недолго, минут двадцать, и на вахте пропустили сразу... И в бараке было тепло, наши инвалиды – дневальные натопили. Но сразу опять на мороз: в столовую, на ужин – суп и каша, хлеб и чай... Тут я увидела то, чего больше не видела нигде потом: зэка-кусочника. Между столами ходил и останавливался парень в старой военной шинели... Он не выглядел доходягой, но у людей, переживших большой голод, – у ленинградских блокадников, например, – такое бывает: это психическое. Ему давали остатки супа – он доедал.

Тут надо сказать – мы, работяги, не голодали. Мы все,

более или менее ровесницы, хорошо знали, что значит голод. И что значит постоянное недоедание. Фрида Вигдорова говаривала: сыт – это когда и хлеба не хочется. Так вот, разносолов тут, прямо сказать, не было, но хлеба – хлеба! – мы получали восемьсот грамм в день.

Вечное воспоминание. Тридцатый год. Мне одиннадцать лет, Ляле шесть. Папа в тюрьме в Харькове, мама тоже в Харькове, живет там у его сестры, а мы – в Одессе с няней. Няня утром приносит хлеб – тот, что нам положен по карточкам, две детские и одна иждивенческая – и делит его на три равные части. Это не блокада – это год великого перелома. И мне положено целых триста грамм от этого бесценного черного чуть сыроватого кирпичика. И ничего вкуснее этого хлеба нет, и вечно мне хочется еще – и однажды я зачем-то полезла в большой кувшин, который стоял на леднике в передней, – и там был кусок хлеба. Я поняла, что это няня свой кусок припрятала. И я его съела.

Днем няня тихонько меня спросила: это ты взяла хлеб с холодильника?

И я сказала: нет.

Она больше не спрашивала. А я до сих пор помню. И в лагере иногда вспоминала.

В тот, первый вечер я повалилась спать, не дожидаясь отбоя, – благо не тюрьма, лечь до отбоя не запрещается. Сон навалился сразу, без сновидений. И в этом было еще не осознанное счастье, потому что сны – это воспоминания. А вспоминать нельзя!!!

Это я сказала себе – когда? В тюрьме? Нет, все-таки позже – после приговора. Может быть, в общей камере. Я не запрещала себе помнить – это совсем не то, что вспоминать. Помнишь – и помнишь, куда этот груз денется. Лежит себе на дне балластом и лежит. Но вспоминать...

Вот – Ахматова. В "Поэме без героя":

Между "помнить" и "вспомнить", други,
Расстояние, как от Луи
До страны атласных бауг.

Верно. Как от города, означающего для ленинградцев "сто первый километр" (ох, ведь надо и это, общеизвест-

ное, объяснять вам, новым, русским и нерусским. Потом объясню, не забуду!) – до звенящей, карнавальной Венеции. Слово "помнить" отдает вечностью, "вспомнить" – жизненной суетой. А вспоминать?

И тут еще не все точно. Скажем, вспоминать друзей, подруг – сколько угодно. И разговоры с ними, и смешные случаи, смешные фразы, остроты, словечки. И любовников – хотя чаще воздыхателей (с неодинаковыми эмоциями). Но было табу. *Строжайшее* табу. Дети.

То есть, я даже говорить о них могла – даже рассказывать случаи, забавности, даже читать вслух их письма... Помню, письма моего сына всех веселили: в одном было рассказано, как делать яблочный сок: натереть яблоко, налить воды, потом соду и – пшшш! А в другом – вопрос: "мама, напиши, кем ты работаешь". Рита Костюкович, девочка из "полуцвета" – то ли из воровает, то ли не вполне (явно из порядочной семьи, однако), хохотала:

– Директором!

Мы в это время разбрасывали на полях удобрения. Работа как работа – осмысленная, нужная, но не самая директорская.

Но рассказать кому-нибудь – нет, даже вспомнить, как мы с сыном пошли в ДЛТ купить ему бельишко, и он впервые в жизни – а было ему два с половиной – увидел игрушечную лошадку и тихо взмолился: "Мама, купи!" А муж уже был уволен из Гослитиздата, и мы ждали ареста.

А вспоминать, – не рассказывать, вспоминать, – как я разгневалась на дочку из-за разбитой чашки и грозно поднялась из-за стола, а она побежала от меня, твердя: "Мама, я больше не буду, я скажу прощенье"... Да я и сейчас, когда вижу перед собой эти буквы...

Как назвать все эти табу (а их было немало)? Раскайнье? Стыд?

Года два тому назад один российский человек, проживший в Америке лет десять, уверовавший в нее и в ее переловые глупости, сказал мне:

– Стыд – это ведь негативное чувство.

Имея в виду, как вы понимаете, случай с Адамом. А откуда, кстати говоря, взял Адам слово это? Где его нашел?

А он и не нашел его. Нашел слово: убоился. Страх он знал еще и в раю. Но чтобы осознать стыд, пришлось отве-
дывать запретного яблока. То есть стать человеком.

Тот, кто объяснял мне про негативность стыда, усердно проникался американской идеологией. Он даже посещал собрания алкоголиков, чтобы отстать от пагубной привычки – выпивать с друзьями. Попутно им внушали, что каяться им не в чем, и они должны жить в мире с самими собой... а вот их жены, получившие общее определение "ко-
депендент", то есть "зависимые" – ни в коем случае не должны жить тревогами и мучениями своих мужей... Что-то освободительное в этом роде. Я испугалась: проповедь эгоизма?

– Да, да! – был ликующий ответ.

– Разумного эгоизма, да? – спрашивала я с последней надеждой. В ответ недоуменное пожимание плеч. Про женщину, постоянно помогавшую людям, попавшим в беду, – мы всегда ею восхищались – они говорили: "Типичная ко-
депендент!"

Школьницы объясняли мне, что древние египтяне были негры. Кроме того, они вносили свою лепту в современное мировоззрение, разрушая миф о Колумбе: Колумба совершенно не за что славить – он был глуп, не знал, что земля кругла, хотел только "сделать деньги", и вообще, имел роман с королевой... Странно все-таки, что все эти речи я слышала в христианской, когда-то – и не так давно! – пуританской Америке. Надо быть справедливой (ох, как это трудно!). А тот, кто объяснил мне, что стыд – чувство негативное, в самом деле наглухо отказался от алкоголя. И лишился простой человеческой радости – выпить с друзьями, поверив, что он алкоголик.

Я лично не верю, что человек создан для счастья, как птица для полета. Про птицу для полета – верю. Может, и человек для полета создан? Это как-то вероятнее.

И верю в стыд и в совесть, и в поговорку "ни стыда, ни совести", и даже в раскаяние, и – признаться ли? – не стыжусь этого. Хотя это не дает человеку чувства внутреннего комфорта.

И когда мне похвалили американскую школу за то, что

она с младых ногтей воспитывает в детях положительные чувства по отношению к себе и каждый хоть за что-нибудь получает в конце года похвальную грамоту, я грубо спросила:

— А читать они умеют?

— Ну, это может быть... В конце концов — важнее, чтобы у них не было комплексов.

— А писать?

— Ну конечно, пишут с ошибками...

А я думаю, что ученье — свет. И свобода должна включать некомфортное чувство долга.

Далеко меня завело мое лирическое отступление. Но времени осталось немного, а высказаться хочется. По всем вопросам.

Я привыкла. Привыкла к "этой жизни". Даже ходила петь хором под баян и на танцы тоже. Ничего не выдумываю. Лагерь — это был образ жизни того времени. Советский образ жизни. Все слои общества были представлены. И воры в законе, и другие "законники" — те, кто сидел по закону от седьмого-восьмого (7 августа 1932 г., то есть), — и которые не подлежали никаким амнистиям и отсиживали свои десять лет от звонка до звонка, как пятьдесят восьмая. И "бытовики", как правило, расхищавшие понемножку и амнистии подлежавшие, и расхитители в особо крупных размерах, когда подлежавшие — когда и нет... И мы — пятьдесят восьмая, во всех вариантах, во всех призывах, от повторниц "тридцатисемишниц", отсидевших по десятке за мужей и начавших новое десятилетие, до тех, которые сидели "за немцев", — мужчины и женщины, военные и гражданские, как правило, молодые, и число их не таяло, а пополнялось с годами: до самого пятьдесят пятого года на них поступали материалы, их искали — и находили.

Три с лишним месяца мы, пятьдесят восьмая, антисоветчики, прожили в этом, самом советском образе жизни, и даже закрутилось несколько кратковременных романов, и один даже закончился браком на воле, — я говорю, конечно, о малосрочниках. Люди есть люди.

В феврале ко мне приехала на свиданье сестра. Она была у меня и на самом первом свидании — во внутренней

тюрьме, через две решетки, и мы разговаривали по-французски, чем поставили в тупик тех, кто потом прослушивал звукозапись. Я так это понимаю, потому что мне вскоре дали второе свидание, — это никогда не делалось, — через те же две решетки, но с предупреждением, чтобы те, кто знает национальные языки, говорили только по-русски. И на пересылку приходила, вместе со свекровью моей. И в Бокситогорск она приехала одна из первых, и даже обещала привезти с собой, поближе к весне, мою дочку.

Ее внешность — все ее увидели, когда она уходила, — наши бригадники обсудили с пристрастием, и решено было, что она очень интересная. Только Маша Дмитриева, рыжая красотка, сидевшая "за немцев", отозвалась неприязненно:

— Интересная, интересная... Ты пень одень в ясный день — и тот будет хорош. Вот у Рензиной дочка — это да, интересная.

Дочка Рензиной и вправду была очень хорошенькая, но тут дело не в этом. Моя сестра тоже была рыжая, как Маша. А всем известно, что рыжие не терпят других людей этой масти.

Так и жили. Кто покрепче — на лесоповале, — и даже я в конце концов научилась не зажимать пилу. Слабосилка — в пошивочной. А по вечерам все вместе — бытовики и пятьдесят восьмая — и на танцы ходили, и хором пели под баян про партию, которая наш рулевой. Мастер цеха, где наша слабосилка шила самые уродливые в мире варежки, замечательно играл на баяне и возглавлял самодеятельность. И мы даже репетировали пьесу. Знаете, какую? "Вас вызывает Таймыр", пьеса Галича (да-да, того самого) и Исаева. Я рассказала это Галичу лет через десять.

Правда, поставлена она была уже без нас — видимо, пришло очередное распоряжение о необходимости изолировать честных советских растратчиков от злокозненной пятьдесят восьмой. Официальное наименование "враги народа" к тому времени было отброшено.

Зимний световой день короток, и для нас, и, главное, для конвоя. Поэтому нас с работы в лесу снимали в четыре часа. У конвоя даже поговорка была: "хорошая фамилия — четыре часа!" Потому-то и оставалось время у нас еще и

для репетиций. Так и жили, и в бараке засыпали беспробудным сном – до подъема. И ни о чем мы – нет, не смею тут сказать "мы", – ни о чем я не вспоминала. Знала дисциплину.

Однажды мы, "артисты", вернувшись с репетиции, что-то еще довольно долго обсуждали. И тогда бригадирша Полина мне крикнула со своей кровати:

– Руфа Александровна (да-да, по имени-отчеству!), ложитесь-ка спать: завтра вам придется быть лошадю.

– Как так?

– А вот завтра и увидите. Ложитесь лучше.

Легла. И даже не успела подумать, что бы это значило. Оказалось, что быть лошадю не так и страшно, а главное – не требует никакой особой сноровки. Просто на тебя надевают упряжку, и ты впрягаешься в – санки? дровни? Происходит трелевка: поваленные, обессученные (кажется, я это слово сама придумала) и распиленные деревья свозят в одно место и там складывают их в поленицу. А то место, где все эти бывшие деревья валялись, обнажается и превращается в полянку. Вот такая идиллия. Поначалу это не слишком тяжело – и я даже шепотком твердила про крестьянина, который, торжествуя, на дровнях обновляет путь, и его лошадку. Ритм помогал. Но к четырем часам мы – лошади – ну, в общем, устали, и даже предстоящий ужин в столовой не радовал. Тем более, что мы довольно долго кантовались у костра.

В тот день, когда мы вернулись, и нас пересчитывали на вахте ("берегут как золото, ценят как говно" – лагерная поговорка), дежурный спросил что-то у Полины, она указала на меня пальцем:

– К тебе там опять на свиданку приехали – сестра, наверное. С девочкой. Беги скорей в барак, умойся!

Видно, я сильно закоптилась у костра.

Я их ждала. Сестра, когда была у меня в прошлом месяце, обещала, что в следующий раз, если все будет хорошо, привезет Ниночку.

Я не видела ее почти год – с 6 апреля сорок девятого года. Она тогда спросила человека, который меня уводил:

– А мама куда уходит?

И человек этот, маленький и невзрачный, весело ответил ей:

– Вернется мама, вернется!

Словно бы – не ответ на вопрос, а обещание. Он думал – лживое обещание. Оказалось – не совсем. Я все-таки вернулась в тот самый дом, откуда он меня увел. Через пять лет и три месяца – но вернулась.

А тогда он стоял в передней, и сын тоже там был, но вопрос задала она. Скромно, но озабоченно. Ответственно. Она всегда чувствовала ответственность – за меня, за отца, но главным образом за младшего брата. В ту самую весну к нам приходила медсестра и сделала ей укол против чего-то, первый в ее жизни. Она, рыдая, взмолилась:

– Бубика не надо!

Бубик – это она дала ему такое кукольное имя, и он довольно долго на него отзывался. Пока не восстал, заявив, что он Марк Ильич.

Она была такая же – задумчивая, робкая и трогательная. Не помню, какое на ней было пальтишко, какое платье, – хотя, наверняка, это и готовилось, и обдумывалось. Не помню, как "обставлена" была комната свиданий, хотя потом побывала там еще один, последний раз, – на свидании с сыном. Обыкновенная комната, большая, и много стульев. Помню, что у окна сидел немолодой лагерник с женой – тоже свиданье. Они разговаривали – тихо, я не слышала, о чем, но все время разговаривали. А у меня разговор не получался: я посадила ее на руки. Тут это было возможно. Горестное счастье.

Помню поднятые ко мне абсолютно доверчивые глаза. И как она читала слова в газете, тут же в комнате свиданий оказавшейся. Не по складам, а сначала про себя, потом вслух, но с легкой интонацией неуверенности:

– Литература?..

За этот год она научилась читать. Букву "р" я ее научила произносить еще перед нашей разлукой – и всю жизнь этим гордилась.

Старичок-инвалид, который ведал комнатой свиданий, подошел, послушал, как она читает, и сказал:

– А ты мне Расскажи Стишок!

Она смущенно опустила головку, потом поглядела на меня – и опять опустила...

– Прочти, прочти, а я за это маму домой отпущу!

Она посмотрела на него, на меня, потом на Лялю. И на ушко спросила ее:

– Дядя шутит? Не отпустит?

– Конечно, шутит, – сказала Ляля.

Старик отошел. Я тогда на него не рассердилась за "шутку" – чего там, он не хотел ничего плохого нам. Сам такой же, шутил, как всегда с детьми шутят.

А теперь, когда столько лет прошло, я все-таки думаю: зачем же он так! Ведь сам такой же!

Через тысячу лет, уже сюда, в Иерусалим, Ляля мне написала:

"...и, по-моему, на обратном пути она спросила:

– Почему мама не едет домой?

– Она работает.

– Но ведь она уже поработала. Пусть теперь поработают другие".

Свидание продолжалось меньше часа. И вот, твердо произнося букву "р", девочка сказала:

– Мама, а ты знаешь песню "Эх, Самара-городок"?

– Знаю, детка.

– Спой мне!

Может, это было воспоминание? Я каждый вечер – а то и по ночам – им пела всякие колыбельные. "Самара" – это была новость. Я никогда им ее не пела. Видно, она засломила все прежние песни.

Голос у меня – ну, то, что с некоторым допуском можно назвать голосом, – низкий, зато негромкий. И не фальшивый. Я начала "Самару". Но дочка поморщилась:

– Ты не так поешь!

– Почему не так? А как надо?

– Надо тоненько-тоненько... Вот как Лялечка. Лялечка, покажи, как надо.

Сестра сказала:

– Я сейчас не могу. У меня горло побаливает.

Вероятно, у нее ком стоял в горле.

– Лялечка очень красиво поет, – убежденно сказала дочка.

А теперь о воспоминаниях.

В пятьдесят шестом году – когда грянула оттепель, – я написала рассказ "Кузькина мать". Виктор Некрасов, который тогда снимал фильм "Солдаты", читал его своим актерам – Соловьеву, Смоктуновскому, и признавался, что их всех прошибла слеза. В журналах он тоже вызывал чувства, но при первых же заморозках мне его возвращали. Надо сказать, что когда я через двадцать лет принесла его в "Континент", в редакции он вызвал снисходительный смех; нашла, дескать, о чем писать. И в Советском Союзе и за его пределами котиrowался бескомпромиссный героизм, ненависть к угнетателям и всевозможные острые приправы, – но ни в коем случае не тихая покорность судьбе. Фрида Вигдорова передала мне отзыв Оттена: "Да, хорошо написано, но почему она пишет так, как будто все это нормально?"

Я не очень знала, что на это отвечать. Нормально? Ненормально? Миллионы женщин – точных цифр у меня нет, но – миллионы! – живут именно так, год за годом, лето за летом, зима за зимой – это нормально? Это привычно, это их жизнь. Вам не нравится, что автор не гремит обличениями и проклятиями? А автор сам внутри этой жизни и – навсегда. Как писала Ольга Бергтольц о блокаде:

...Я вмерзла в твой неповторимый лед...

За это ей довольно сильно вмазала послевоенная критика.

Милая, мягкая Бетти Шварц – редактор ленинградского телевидения, – прочитав мой первый восьмистраничный лагерный рассказ "Тонечка", вздохнула:

– Зачем вы себя мучаете?

Какая же это мука? Это, скорее, освобождение.

Моя десятилетняя внучка, американка, осторожно спросила:

– Бабушка, а правду говорят, что ты сидела в тюрьме?

И оглянулась – не слышит ли кто.

Нет, я никогда не стыдилась и не боялась своих лагерных воспоминаний. И не терзалась ими.

Но вот – о том, как привозили ко мне на свиданье детей, никогда не рассказывала. И знаю, почему: для меня эта тема – дети – была запретной. Я не только об этом не рассказывала – я об этом не вспоминала. Этому я научилась в тюрьме: не трогать болевых точек.

И тут, когда ее совсем не ждешь, через сорок семь лет – "Самара".

Позвонила из Лондона дочь – раз в месяц, она, как правило, звонит. И я ей сказала:

– А я из-за тебя сегодня ревела.

– Из-за меня?

– А ты помнишь... Наверное, не помнишь, как тебя привезли ко мне на свиданье в Бокситогорск? И ты попросила меня спеть "Ах, Самара-городок"...

– Ой! То есть, как Лялочка меня привезла – помню, и как мы ехали обратно – помню... Автобус застрял, и люди бросали под колеса ветки... Но Самара... Помню, конечно, песню эту, "Самару"... она отовсюду... Из окон, по радио...

– А что меня попросила спеть – не помнишь?

Ах, Самара-городок,
Беспокойная я,
Беспокойная я,
Успокой меня.

1997

ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Мой первый приход к Ахматовой нельзя назвать удачным. Это было в сентябре 1936 года; за месяц перед тем я приехала в Ленинград из Одессы сдавать экзамены в Институт философии, литературы и истории (ЛИФЛИ), который в том же году стал филологическим факультетом Ленинградского университета. Конкурс туда был большой – человек восемь на место (потом, рассказывая об этом, мы, поступавшие, охотно привирали: десять! двенадцать!). Это был первый год, когда в высшие учебные заведения стали принимать без учета социального происхождения (весной, на съезде ударников или стахановцев, Сталин обмолвился: "Сын за отца не отвечает!" – и этой обмолвке почти немедленно была придана сила закона). Кроме того, стали принимать без экзамена отличников, то есть тех, кто кончил среднюю школу на пятерки. Вероятно, из-за этого и конкурс становился больше. Так или иначе, я, к немалому моему удивлению, по конкурсу прошла и даже место в общестии в конце концов получила, и стипендию.

И когда я стала студенткой и ленинградкой, я пошла отыскивать Ахматову.

Я, конечно, совсем не была уверена, что она еще жива. Она принадлежала – и ее беленькие, небольшие книжки тоже – к тому времени, от которого ничего не осталось. Ни поэтов, ни титулов, ни гимназий, ни кушцов. Никого. Если кто и не умер (мы в десятом классе проходили Бунина, Зайцева и Шмелева – всех вместе), то уехал за границу. Практически это было одно и то же. Я знала, что Блока нет и Гумилева тоже, и Сологуба, и Игоря Северянина – обо всех о них рассказывалось в учебнике, с цитатами: "Так, что сыплется золото с кружев, / С розоватых брабантских

манжет". Именно эту цитату вспоминают теперь все, словно все запомнили ее по учебнику Поляк и Тагера.

Я знала, что Ахматова – это псевдоним (наверное, от бабушки-татарки!), и знала настоящую фамилию – Горенко, вероятно, из Литературной энциклопедии. И вот я пошла в справочное бюро – его будочки были тогда на многих улицах – и заполнила справку, и заплатила 20 копеек. И девушка в будочке сказала, чтобы я пришла через полчаса. Я погуляла полчаса по Невскому, все еще как в первый день изумляясь его огромности, простору, излишнему, ненужному: чувствуя, что опустел – опростался – опростился; опустел после тех лет, когда тут ходили другие люди. Вообще Невский и потом меня этим поражал: не пустотой, а опустением.

Через полчаса я получила этот адрес: "Горенко Анна Андреевна, Фонтанка, 34, кв. 44". Помню адрес наизусть с той самой минуты – он легкий, много лет спустя в ее стихах я прочла: "Фонтанный дом". Это получалось вроде Бахчисарайского фонтана, загадочно, красиво, с нежным повтором полугласных "н". То был огромный грязный дом, с огромным темным двором – и, кажется, даже не одним, и это был дом "Главсевморпути", название, знаменитое в те годы. "Главсевморпуть" – это челюскинцы, Отто Юльевич Шмидт, капитан Воронин и девочка Карина, и отважные летчики, Герои Советского Союза, которые их спасали, – Молоков, Ляпидевский, Доронин, Леваневский... Господи, сколько же лет это сидит в моей голове! Факт тот, что тогда, в тридцать шестом, не было в Советском Союзе, за исключением разве НКВД, более популярного названия. Один из родительских друзей работал там и летал с Молоковым. Куда летал? На речку какую-то, где золотые прииски, на Колыму. Вот тогда я услышала первый раз это название.

И вот в доме с самым знаменитым, самым современным названием жила Анна Андреевна Горенко, обломок, остаток чего-то, бывшего так давно, – еще до моего рождения! – что как бы почти не бывшего; Анна Андреевна Горенко, которую никто не вспоминал, вернее, не помнил, кроме меня и, может быть, еще нескольких человек, таких

же несовременных и отсталых, как я.

Я поднималась по узкой черной лестнице куда-то высоко, и позади меня поднимался чужой человек с усами и чему-то усмехался, и я его спросила, не знает ли он, тут ли живет Анна Андреевна (я по южному каждое "е" растянула, потом оказалось, что говорить надо "Андревна") Горенко. Он, кажется, не совсем сразу ответил: "Тут, тут". И потом, помедлив, спросил:

– А отчего это вы ее девичьей фамилией называете – Горенко?

И от этого вопроса я смутилась, я и так только сейчас начала думать: а зачем, собственно, я иду?

И, собственно, с этим недоумением и маленьким ужасом я вошла – вслед за усатым человеком, который, конечно же, там жил. Он мне не понравился – из-за усов, из-за маленького тика, который вздергивал его нос, из-за того, что напоминал мне диккенсовского негодяя-француза из "Крошки Доррит", у которого усы вздергивались к носу, а нос опускался над усами, и потому, что он не входил, никак не помещался в мое представление о маленькой комнатке, где совершенно одинокая, тихая и всеми забытая живет старушка Ахматова. Он оказался Николаем Николаевичем Пуниным. Отродясь я не слышала этого имени и уж совсем не могла понять, что он тут делает.

Комната, в которую он меня впустил, показалась мне огромной. Вообще после Одессы ленинградские комнаты казались бальными залами. У нас тоже была когда-то гостиная, которая всем казалась большой, но какое же может быть сравнение! Хотя в Ленинграде жилплощадь измерялась по-современному – метрами, а в Одессе по-старому – саженьями. Но вот эта комната... Светлая, и пол паркетный, не натертый, только паркетины тоже были другие, не как у нас – крупнее, и посреди комнаты стоял стол, тоже огромный, и на нем была куча неубранной чайной посуды, и были еще какие-то двери, кроме той, в которую мы вошли. И там, мимо дверей, проносились какие-то старухи в капотах – или, может быть, одна и та же? – но мне казалось, что много старух вихрем проносятся мимо. И человек с усами весело и громко сказал: "Аня (!!!), к тебе".

Из другой двери – не той, где носились старухи в капотах, – вышла женщина, такая худая, каких я никогда не видела, с выпученными огромными светлыми глазами, с длинной шеей, с длинной головой и с длинной сизой челкой, непричесанная, в каком-то халате безнадежного цвета.

Из всего, что я ожидала, подтвердилось одно: тишина. И то не тишина – молчанье. Никакой светской беседы. Вообще никакой беседы. Мы сидели рядом на диване – был, значит, в этой комнате старый диван, клеенчатый, – и я что-то лепетала, даже мне самой неинтересное, и только паялилась, паялилась на живую Ахматову, страшную, как баба-яга, которой детей пугают. Потом Гуковский мне сказал, что у нее базедова болезнь.

Меня особенно поразили в ее внешности тяжелые веки. Веки, которых хватало на то, чтобы прикрывать эти огромные, вылезающие из орбит, глаза. Теперь мне кажется, что она, ее внешность и неряшливый вид в том числе, и особенно эти веки, – что все это было воплощением, скульптурным выражением трагедии.

Я что-то лепетала или лопотала, – хотя, в общем, не очень-то умею это делать, но, вероятно, я бессознательно хотела казаться еще моложе, то есть притворялась, как могла, а она все молча слушала.

И только одну ее фразу я помню. Когда я сказала, что не верю себе, что вижу Ленинград, она ответила:

– Да, я тоже так, когда была в Париже.

Каковой фразой она меня окончательно добила, потому что Париж – это уже то, чего в реальности навсегда и окончательно нет. Только в книжках. Мы тогда все знали, что за граница – это миф о загробной жизни.

Были, в основном, ее молчания – она в ответ на мое негромкое лопотанье только опускала голову, как бы медленно кивала. Почти не улыбалась. Что-то вроде прошло около ее губ, когда я враждебно (тихо) спросила об усатом человеке: отчего он тут или зачем он тут?

А он был тут, веселый и довольный, и когда я собралась уходить, он весело говорил мне:

– Приходите, приходите к нам еще! Стихи почитаете!

Я всегда говорю, что никогда не писала стихов. Это не

совсем правда. Пыталась – и все рифмовалось и ритмовалось, как надо, но даже меня эти мои стихи не интересовали; делала я это потому, что хотела быть не хуже Лены Фельдман, девочки моего возраста, которая была прирожденным поэтом, и, кажется, никогда не напечатала ни одной строчки. Но даже я, даже тогда понимала, что ее и мои стихи из разного материала: мои как из детских кубиков, а ее словно бы сгущены из неких благородных газов, которые только по колдовству и могут быть соединены.

И я с ужасом еще раз подумала: ну, с чем я могу еще раз сюда придти? Но неужели – никогда больше?

Едва выйдя, я стала думать словами: "Я видела Ахматову. Я видела Ахматову".

И девочкам в общежитии я рассказала: "Я видела Ахматову". Я рассказывала это всем сразу (нас было шестеро в комнате) и потом по одиночке, особенно напирая на тяжелые веки. И иногда, когда я прикрывала глаза (была у меня такая привычка – или появилась?), кто-нибудь говорил:

– Руфа опускает веки. Как Ахматова.

И еще рукой показывали, как я это делаю.

И все-таки со страхом и вожделением я думала о том, как опять пойду туда, в дом Главсевморпути.

У меня был номер ее телефона. Видимо, я тогда же и записала, не иначе – Пунин продиктовал. Усатый Пунин, который оказался не только мужем Ахматовой, – это я узнала довольно скоро, тоже от Гуковского, – но и знаменитым искусствоведом. Это я узнала гораздо позже, через годы. Тогда я даже слова этого не знала – "искусствовед".

Гуковский – несравненный, ни с кем не сравнимый, да никто и не пытался сравнивать, – только историки говорили: "А у нас Тарле!" – Гуковский читал у нас на первом курсе введение в литературоведение. Раз в неделю, в Малом зале, который окнами выходил на Неву, и мы видели Исакиевский собор и позднюю зарю за ним и повторяли – всю зиму! – друг другу ахматовские строчки: "вновь Исакий в облачении – из литого серебра". Потому что золотой его купол покрывался льдом и снегом. Лекции Гуковского были для нас, первокурсников, но в Малый зал (не такой уж малый, кстати!) набивались студенты со всех кур-

сов, и красавица Таня Иванова неизменно садилась на подоконник, и ленинградское солнце бледно сияло в ее светлых волосах. Гуковский – ему было тогда тридцать четыре года – говорил о ней старшим студентам, с которыми дружил: "Княгиня Волконская! Княгиня Волконская!"

Для введения Гуковский читал нам четырех поэтов: Пушкина, Державина, Маяковского и Блока. Как читал! Как рассказывал! Сейчас о нем говорят с придыханием, а в пятидесятом году он умер на Лубянке. Но тогда, в тридцать шестом, он еще только защитил диссертацию и стал доктором наук, и вся жизнь была впереди.

И вот, говоря о Маяковском, он вдруг сказал:

– Он был гораздо шире, чем его представляют теперь... Надо было видеть, как он носился с пастернаковскими "в тот день всю тебя от гребенок до ног...", говорил, что это можно сравнить только с пушкинским: "я утром должен быть уверен, что с вами *днем* (мы-то все ждем *вечера*, а тут – *днем*) увижусь я..." И Ахматову любил. Да-да, Ахматову! Удивляйтесь!

– И пел на мотив "Ухарь-купец"...

– Да-да, конечно, "Сероглазого короля". И это еще одно подтверждение.

Разговор пошел в сторону – так всегда у него бывало; потом он широким витком возвращался к предмету. Речь пошла о звукописи. Он сказал:

– Помню, Владимир Николаевич Шилейко, муж Анны Андреевны, все ее поддразнивал: "Мне дали имя при крещении Анна – сладчайшее для губ людских и слуха". И удивлялся: для губ, для губ!

Вот тут-то я и решила ей позвонить, обязательно. И услышала в трубке ее голос – глуховатый, носовой, очень, показалось мне, петербургский. Я спросила, можно ли прийти.

– Можно.

– А когда?

– Сейчас, – сказала она.

Через много лет я рассказывала об этом Лидии Корнеевне. Она усмехнулась:

– Она всегда так. Если можно – то сейчас!

И я помчалась. Все уже было знакомо – двор, лестница, темнота. Дверь открыл мне светловолосый молодой человек с аккуратным бледным лицом, очень гладко причесанный, очень чужой. Он сказал: "Можно, можно!" – и повел меня в ту самую большую комнату. Кроме него, там никого не было.

– Мама сейчас выйдет, – сказал он. – Садитесь.

Гумилев. Сын Гумилева. "Так, что сыплется золото с кружев..."

Он со мной разговаривал вежливо, без особого интереса, но очень вежливо. А я, конечно, пялилась. Как это возможно. Быть сыном Гумилева и Ахматовой. Я читала ростановского "Орленка". Там была строчка: "Мы, сыновья великих людей!"

Вот! Сын великих людей! Двух!

Отвлекусь. Потом оказалось, что Лев Гумилев бывает раз в неделю у нас на факультете. Он учился на историческом, но какие-то лекции историки слушали у нас. Я так думаю – политэкономии или, может быть, диамат-истмат. Потому что он эти лекции иногда пропускал (я свои тоже), и мы сидели на окне в коридоре и разговаривали. Правда, это не сразу наладилось. В первый раз я радостно поздоровалась, а он сделал вид, что меня не узнал. Я была оскорблена и унижена и на следующую неделю, когда он поздоровался, его не заметила. А коридор был вроде театрального фойе – все на переменах разгуливали там взад и вперед и не встретиться несколько раз было невозможно.

Он громко сказал: "Здравствуйте". Я смотрела в другую сторону. На третий раз он меня остановил за локоть. Я локоть вырвала (семнадцать лет!), но остановилась. И он сказал мягко, убедительно, чуть шепелявым, очень чужим по интонации голосом:

– Вы меня не узнаете? Помните, вы к нам приходили?

И вот мы сидим на окне и разговариваем. Он рассказывает про своего лучшего друга ("Николка мой"). Про этого Николку моя товарка по комнате, историчка, рассказывала: "Он влюблен в такую девушку Нину и ходит за ней и повторяет: "Нина, вы – ландыш! Вы ландыш!" И я своему собеседнику это рассказываю, конечно, и он снисходитель-

но смеется – "он у меня романтик!" Только теперь мне пришло в голову: может быть, этот "Николка мой" – Николай Давыденков, которого я никогда не видела, но о котором почему-то периодически что-то узнавала. В первый раз – вот тогда, в тридцать шестом году (если это он), потом во время войны от жены его однодельца Али, или Шуры, как мы ее тогда звали (он сел в тридцать восьмом, с целой группой, но тут пришел Берия и выпустил эту группу), потом от мужа своего после лагеря (они вместе сидели в Карабасе), от Лидии Корнеевны, от Нины Николаевны Берберовой, наконец (она рассказала о нем в книге "Курсив мой").

И если говорить о литературе, то надо сказать, что я читала его воспоминания об этом аресте, напечатанные при немцах под другой фамилией. Видимо, очень хотелось ему это напечатать, потому что он густо заправил книжку антисемитизмом – нельзя было без этого, или полагалось так, или редактор потребовал? Между тем, те, кого с ним вместе посадили, не все вероятно, но именно тот, кого он в книжке вывел, – принадлежали к этому племени.

Той осенью в ленинградской газете появилось интервью с Анной Ахматовой!

Там она говорила о том, как ценит и уважает Пастернака, и цитировала свои строчки: "и вся земля была его наследством, а он ее со всеми разделил..." И в следующем, кажется, номере – ее стихи, может быть, именно эти, с обычным тогда: гонорар за эти стихи прошу передать в фонд помощи испанским детям.

В августе 1936 года, когда я сдавала экзамены, происходили три начала: первый процесс – Зиновьева и Каменева; перелет Чкалова – Байдукова – Белякова. "Они опустились в заливе Счастья – Счастье – это не только залив", стихи Долматовского; видно, с этим полетом было не совсем благополучно, но все равно Чкалов стал чем-то вроде "советского Линдберга", его любил Сталин (даже как-то укрывал ему, сонному, ноги), о нем ходили легенды и снимались фильмы. Слава была больше гагаринской.

И вот третье – испанская гражданская война. Боже мой, сколько плохих стихов тогда было напечатано. Помню,

Эренбург особенно злился, что имя Долорес (Ибаррури, конечно!), где ударение стоит на втором "о", "маниакально" рифмуют со словом "наперерез". (Кстати, я знаю, почему "Долорэс": потому что "три красавицы небес", из знаменитой песенки, требовали именно этой рифмы). Но стихи низвергались потоком. Наша университетская поэтесса Серебровская, незадолго перед тем ставшая матерью, тоже написала стихи об испанских женщинах, и там даже была хорошая строчка: "две капли молока", которые выступили на кофточке у матери...

И вот Ахматова просит отдать гонорар испанским детям.

— Да, — говорит мой собеседник.

И рассказывает, что в доме не было ни копейки, и мать сказала: вот получу гонорар из газеты, купим водки, колбасы... И тут позвонили и говорят: Анна Андреевна, не хотите ли вы пожертвовать свой гонорар в пользу испанских детей? Ну что было делать?

И то. Кажется, я в первый раз услышала, как это делается. И помню, меня очень поразило, что — "водки". В интеллигентной среде, кажется мне, тогда водку не очень пили, с радости, во всяком случае. Но — могу и ошибиться, будучи одесситкой. Тогда там считалось, что водку ни с того ни с сего пьют только биндюжники.

Он первый заговорил о своем отце, я бы, вероятно, не посмела. Он рассказал, как, когда ему было четыре года, отец дал ему какую-то очень серьезную книгу (не помню названия, потому что оно ничего мне не сказало), и он попытался ее читать. Ничего не понял и бросил. Отец очень сердился. Но через некоторое время он опять попросил какую-нибудь большую книгу, и отец дал ему толстенную книгу по истории...

— И вы опять не прочли?

— Нет, прочел. (Он самодовольно усмехнулся.)

— И не поняли?

— Все понял.

И тогда я его спросила:

— Ну, а если вас спросить, как детей спрашивают, кого вы больше любите, папу или маму?

(В детстве на этот вопрос полагалось отвечать: одинаково! И родители на ревнивые вопросы старших детей, кого ты больше любишь, меня или ее (его), отвечали: одинаково.)

Я, помню, сконфузилась, когда этот дурацкий по бестактности вопрос задала. Но, против ожидания, он ответил очень серьезно:

– Папу, разумеется.

Он еще что-то сказал, но я была оглушена ответом и тем, что он совпал с предвидением.

– Я все читала, – хвастала я, вероятно, ответив на вопрос, в свою очередь. – И "Стол", и "Мика", и даже статьи. Даже наизусть запомнила: "А что стихи есть более высокая ступень, знает каждый, кто, долго обтачивая кусок прозы, силится сдержать рождающийся ритм".

Я и сейчас эту цитату привела наизусть, так она меня когда-то поразила точностью наблюдения.

– А вот вы не читали "Стихи о голубой звезде". (Так мне запомнилось, наверное, он сказал "К синей", но я пишу только, как запомнилось.)

Я с огорчением призналась, что нет, не читала. Но он объяснил, что я и не могла читать, потому что вышла эта книжка за границей.

– А вы сами... вы пишете стихи?

– Пишу.

– Хорошие? (Это я спросила.)

– Хорошие, – сказал он убежденно.

Он держал себя так, как и должен был, вероятно, и произвел на меня впечатление абсолютного "контрика", и я – еще одесситка в душе, еще не ошарашенная тридцать седьмым и последующими тридцатыми годами, – приняла это тоже совершенно естественно.

Он рассказал мне анекдот про неверующего пономаря. Священник захотел просветить его душу: "Ну, вообрази, ты забрался на колокольню, упал оттуда и не разбился. Что это будет?" Пономарь ответил: "Случай". – "Ну, а если ты второй раз упадешь и не разобьешься, тогда что это будет?" – "Совпадение", – отвечает пономарь. У батюшки, видно, не было в запасе ничего другого. "Ну, а в третий раз упа-

дешь, то это..." – "Это будет привычка", – ответил пономарь.

– И вот я тоже говорю: если меня в третий раз посадят, и я выйду – это будет привычка.

Я слышала в этих словах – пожалуй, тогда же слышала, – и браваду, и рисовку (привычную), и самую подлинную игру с огнем. И подумала с уважением: наследственное! И ужаснулась – вот к чему он себя готовит.

Я думаю, он не старался быть, как отец, но, скорее всего, судя по воспоминаниям о Гумилеве, которые мне довелось читать, он был на него человечески похож. Он, по моему, был, как это в моем одесском детстве называлось, "фасонщик", в литературном переводе это означает, вероятно, – воображала. Только для того, чтобы соответствовать созданному образу, готовый на все. Но по собственному кодексу. Как-то наши встречи и разговоры тогда прекратились сами собой – по-видимому, историки стали слушать лекции в другом месте. А потом его и в самом деле арестовали в третий раз, в тридцать восьмом году. Потом я его видела всего однажды – после войны, на Дворцовом мосту. Он остановил Юру Макогоненко, с которым мы шли. Я сразу его узнала – он не изменился. Ему предстоял – но мы еще об этом не догадывались – еще один, четвертый арест. Наверное, он вспомнил пономаря тогда, когда в четвертый раз освободился. И может быть, признал, что это было чудо. Чудо смерти Сталина.

Признаюсь, вот этот второй свой приход я запомнила только как встречу слевой. Вероятно, Ахматова в конце концов все-таки вышла в столовую. Ничего не помню, только Леву, вежливого и незаинтересованного, за обеденным столом.

Но зимой, в декабре, я опять позвонила и на вопрос "когда можно придти?" услышала: "Сейчас".

И вот это была встреча, которая сохраняется в памяти, как в морозилке, но оживает во всей свежести. Несмотря даже на то, что я столько, так часто и так подробно о ней рассказывала. Я помню, вижу ее и слышу. И еще помню осязательно тепло и уют. Правда, не помню, на чем сидела, но это, думаю, от восторга.

Это была крошечная комнатка, в которой мы сидели, — туда попадали прямо из столовой, мимо стола, мимо дивана. И там горела одна лампочка в одну свечу, как мне показалось, и она освещала книги — мне страшно хотелось посмотреть, потрогать книги эти в каких-то несовременных переплетках; они были на этажерке. А над тахтой, где сидела Ахматова в синем трикотинном платье, — была, была тогда такая материя, из которой в Советском Союзе шили платья, а на Западе — белье, — так вот, сидела она в этом платье, и на плечах у нее была шаль, а на стене над тахтой были две картинки: на одной какие-то нарядные бабы, на другой — длинное, некрасивое мужское лицо. Про лицо Анна Андреевна сказала, что это портрет Хлебникова работы Маяковского, а про баб — что это Судейкин. Имя Судейкина тогда мне ничего не говорило, но Маяковский, да и Хлебников — ого! Она небрежно сказала: Маяковский подарил.

Мы разговаривали. В первый раз. Я осторожно спрашивала, она легко отвечала. Я спросила, кого она любит из поэтов. Она сказала: Пастернака. Вы же, наверное, читали, в газете я приводила: "Он, сам себя сравнивший с конским глазом..."

И дочитала до конца четверостишие. Ее чтение мне не понравилось, хотя я много лет себе в этом не признавалась. Она не читала, не декламировала — она гудела, как-то в нос, на "у". Рот у нее был маленький и узкий — или таким мне казался, — и все гласные получались очень закрытые. Примерно: оун сом себио... И в этом роде. Никогда не слышала ни такого гуденья, ни такого произношения. Я уже слышала поэтов — и школьных, и университетских. У плохих была восторженная интонация, у хороших — задумчивая интонация, но никто не гудел, не "гундел". Правда, я сразу поняла, — и не скидку на это сделала, а, скорее, "накидку", то есть прибавила цену: так это делали тогда.

Не так давно я прочла в воспоминаниях Бориса Анрепа: "Н.В. [Недоброво — Р.З.] никогда не пел своих стихов, как большинство современных поэтов".

Это воспоминание относится к 1916 году. И об ахма-

товском чтении стихов в 1965 году: "Певучее чтение мне казалось вытъем, я так давно не слышал ничего подобного".

Даже на чтение стихов существует мода. Помню, в начале семидесятых я прочитала дочери какие-то стихи. Она поморщилась: "Ты читаешь с выражением". Тогда – да, похоже, и сейчас – и в России и на Западе стало модно читать стихи тихо и тускло. И не только стихи. Вероятно, в этом сказывается весьма почтенное нежелание навязывать свое понимание, свою волю.

Я спросила Анну Андреевну, любит ли она Блока? Рассказала, что у нас Гуковский читает Блока, – вы ведь знаете Гуковского?

– О, конечно! Он был мужем Наташи Рыковой, моей любимой подруги. Ему тогда было девятнадцать лет – но он уже и тогда был такой, как теперь. Все знал!

– А знаете, он на лекции рассказывал, как Шилейко (я не знала имени-отчества Шилейко, так бы я сказала, например, Дельвиг, – кто же его по отчеству?), как Шилейко про эти стихи: "Мне дали имя при крещении Анна, сладчайшее для губ людских и слуха..."

Она усмехнулась воспоминанию, но возразила:

– Я вовсе не хотела сказать, что это был губной звук.

Много – двадцать девять! – лет спустя я брала у нее интервью для журнала "Произведения и мнения" (на иностранных языках) – там оно, в причесанном и отглаженном виде было напечатано. Так вот, когда я уже уходила, взяв интервью, она сказала:

– Только, пожалуйста, не давайте прямую речь. Это всегда... не точно.

Я обещала. И теперь, когда даю тут ее слова, то только те, что врезались. И то – стараюсь без кавычек.

Я рассказала, что, по слухам, жена Блока была очень красива. Женщина, видевшая их после свадьбы, восклицала: "Весна! Совершенная весна!" (Имела она в виду, вероятно, оперу "Снегурочка" – ее семья была музыкальная.) И Анна Андреевна возмутилась:

– Ну какая там красивая! Белая, толстая... купчиха... Нет, конечно!

И лучше, чем слова, помню голос, а лучше, чем голос,

– телодвижение: передернула плечами. И на лице гримаса отвращения.

Не принимала. Потом, через десятилетия, я прочла в чьей-то статье (не Филиппова ли?), что Анна Андреевна не любила *всех* жен (Н.Я.Мандельштам, кажется, исключение единственное). От Гончаровой начиная, конечно, и кончая этой: "Красотка очень молода". Ревновала? Как бы это сказать поточнее: негодовала, что первые движения мысли, духа шли не туда, не по адресу, а в пропасть, в ничто. Безответно.

Марина Цветаева – тоже ревнивая – это очень понимала и именно она нашла утешительный ключ: полнота стремится к пустоте.

Но одно дело в воображении, другое дело – в реальности, в быту, во всамделишности. Ведь она ее встречала, знала в лицо. Да и тогда, в тридцать шестом, Любовь Дмитриевна жила тут же, в Ленинграде. Басаргина, кажется, была ее сценическая фамилия?

Толстая, белая...

Помню, про Есенина (я тогда доживала свою отчаянную в него влюбленность) сказала: с Клюевым приходил... Такой мальчик-мальчик...

И про Брюсова: это не поэт (кстати, от нее я впервые услышала слово "поэт" через полное, круглое "о" и сама стала так говорить, хоть и стеснялась. А сейчас все так говорят). Не поэт... (жест). Века и народы!..

Повторила: века и народы.

И легко махнула рукой.

О Мандельштаме – ни слова. Я тогда и имени его не знала. До самого сорок третьего года, когда мне прочли "Волка".

И вдруг посреди разговора она сказала:

– Хотите, я вам стихи почитаю?

И мой чуть не вскрик.

Она прочитала четыре. Первое было "Когда я ночью жду ее прихода...". Это то самое, которое 28 лет спустя она читала в Италии, когда получала премию Таормина. (В прелестных воспоминаниях Ирины Пуниной (дочери Н.Н.) рассказывается, как это было. И как Твардовский

одними губами беззвучно повторял: "Что почести, что слава, что свобода".) В ту минуту я не задумывалась, запоминала, присваивала, заглывала – и для того, чтобы потом повторить другим, похвастать. Не собой, но все же...

И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: "Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?" Отвечает: "Я".

Я думала тогда, это – личное. Про то, что тогда еще, кажется, не называлось "личная жизнь". Грядущий Ад еще не наступил – только кончался тридцать шестой. И несмотря на тот первый, августовский процесс, – становилось легче. И в высшие учебные заведения принимают по знаниям – ну, по отметкам, если хотите. И Демьяну Бедному попало за "Богатырей" – историю как бы реабилитируют в ее классическом виде. И вот Ахматову напечатали...

– Ты вспомни, – сказали мне теперь, недавно, когда я об этом говорила, – ведь она-то все помнила, она же всех потеряла...

Да, но в это, как раз в это время, когда она прочла мне "страницы Ада", у нее-то пошло все лучше?

И все-таки, думаю – нет. Я знаю – поэты что-то слышат, чего не слышим мы. Чего не слышат другие. Словно бы себе напроорочила и "Реквием", и "Падишаха", и блокаду... Потому что до этого – не было оснований узнавать в милой гостье дантовскую музу. А вот узнала. До всех очередей на улице Воинова.

И другое стихотворение – опять про Данте: "Он и после смерти не вернулся... в старую Флоренцию свою".

Сразу вспомнила ее голос, похожий на ветер в трубе. Этим голосом она говорила: "Я видела приговор... Он должен был пройти по улицам Флоренции босой, в рубаше, со свечой... Старинная бумага, очень плохая латынь..."

Странная вещь. В это время Данте в Ленинграде, да позволено мне будет так выразиться, "вошел в моду". Всюду говорили о переводе Лозинского. А немного раньше начинающий писатель Кронид Гарновский – я прочла об этом в его неопубликованной повести-воспоминании – стал пе-

реводить "Божественную комедию" в честь Ирины Кнорринг, своей Беатриче. (Ирина Кнорринг – не известная парижская поэтесса, а ее тезка и младшая современница, ленинградская студентка 30-х годов.) Гарновский перевел несколько песен, и хорошо перевел, и в издательстве понравилось, и ему сказали, что уже сдан в редакцию перевод Михаила Лозинского.

И это, ахматовское, осенью тридцать шестого года созданное "Он и после смерти не вернулся..."

Третье было: "Не прислал ли лебедя за мною..." Там были слова: "Ты весной шестнадцатого года..." Теперь это печатается иначе: не "ты", а "он". Но тогда было "ты". Кто? Откуда мне было знать тогда? Это теперь я знаю благодаря Филиппову и Струве, благодаря сэру Исае Берлину, благодаря тартуской школе, благодаря времени, которое все засыпает своим песком, и сыпет, и сыпет, и сыпет, пока вдруг само не сдует его прочь. Но услышь я тогда имя Бориса Анрепа, к которому эти стихи обращены, я бы не поверила. Это должен был быть кто-то знаменитый, кто-то вроде Блока. Первое, что я услышала об Ахматовой: "Она любила Блока". Легенда, к которой она, по-видимому, сама была причастна. Иначе откуда же у матери Блока рассказ:

"...Я все жду, когда Саша встретит и полюбит женщину тревожную и глубокую, а стало быть, и нежную... И есть такая молодая поэтесса, Анна Ахматова, которая к нему протягивает руки и была бы готова его полюбить. Он от нее отвертывается, хотя она красивая и талантливая, но печальная. Он этого не любит. Одно из ее стихотворений я Вам хотела бы написать, да помню только две строки первые:

Слава тебе, безысходная боль, –
Умер вчера сероглазый король...

Вот можете судить, какой склон души у этой юной и несчастной девушки. У нее уже есть, впрочем, ребенок".

Это из письма, написанного в начале 1914 года. Слухи, легенды, иная реальность.

А реальный Борис Анреп через шестнадцать лет после

того, как Ахматова прочла мне эти поразившие меня стихи, увековечил ее лицо в мозаике.

А теперь обратно, в ту крошечную комнату. Последнее, что она прочла, было:

От тебя я сердце скрыла,
Словно бросила в Неву...
Прирученной и бескрылой
Я в дому твоём живу.

Тут уж, казалось мне, я поняла все: конечно, это "тому человеку", Пунину. "*Одинокой*" и бескрылой я в дому твоём живу... одинокой и бескрылой"...

Так мне тогда запомнилось – "*одинокой*", и так я повторяла. Хотя "*прирученной*" куда лучше. Но, видно, "*одинокой*" больше соответствовало моему представлению.

Я шла домой и повторяла стихи – как оказалось потом, когда я прочла их глазами, почти не переверивая, только вот это – "*одинокой*"... Некоторые я вспомнила вечером. Слова Ахматовой сами помогают себя вспомнить – уж очень они точные. Я вспоминала и повторяла. И ликовала: в первый раз мне в этом доме было хорошо. Как-то вдруг Ахматова и все, в чем она жила, перестало принадлежать к поколению родителей. Она стала такая же живая, как мои подруги... Словно вышла из портретной рамы – зашевелилась, потеплела, а потом и вовсе соскочила в нашу трехмерность из своего четвертого измерения. Потому что живет она там – в весне шестнадцатого года. А сюда соскочила на часок – ко мне.

И голос с подвывом, которым читались стихи... Когда я шла домой, это тоже стало подарком – вот никто не знает, как это делалось "тогда", а я знаю... Боже, сколько я узнала, сколько услышала, увидела, поняла, наконец. И обогрелась – у какого-то неожиданного, чуждого, странного, как бы иностранного, а может, инопланетного тепла...

И теперь вдруг понимаю – если так чувствовала я в тридцать шестом году, то что же это было через двадцать, двадцать пять лет для тех, новых, в тридцать шестом еще и не родившихся? Для тех, кого потом называли "ахматовские сироты", – для Бродского, Бобышева, Наймана, Рей-

на? Впрочем, они были поэты, а кроме того – ленинградцы, а кроме того, в памяти у них был не семнадцатый, а сорок шестой. И вообще – рука, протянутая через поколение, – не отцам, которых не приемлешь, а дедам, и в литературе и в жизни несомненное, как выбор, а не данность.

И еще одно важное. Они не только связи с прошлым искали. Помню, редактор последнего прижизненного сборника Ахматовой говорил ей:

– А не лучше ли вместо того, чтобы вводить все новые и новые стихи, расширять сборник за счет моих любимых старых – ну, например, этого: "Звенела музыка в саду..." Или, например, – "Ты верный и нежный..." Читатель ведь их любит, их ждет...

Вероятно, такие изъявления любви особенно больно ранят поэта. Пушкин не хотел оставаться для новых поколений "певцом Людмилы и Руслана". Пастернак не любил своих молодых стихов. Маяковский удивлялся, что его "Облако в штанах" еще помнят... Поэт может мечтать о славе или пресытиться ею, но ему важно быть живым среди живых. И четыре непочтительных мальчика не просто ловили слова и суждения Анны Ахматовой, не только читали ей свои стихи, но и, сознательно или бессознательно, включили ее в свое соперничающее содружество. Она стала не только центром этого маленького кружка, но и его равноправным членом, где ее поэтическое слово существовало, обрело существование в поэтической реальности шестидесятых и предстоящих годов.

Все это пришло мне в голову теперь, когда стала вспоминать. В 1936 году, выходя от Анны Ахматовой, я просто была счастлива – словно меду напилась.

Очень скоро после этой счастливой встречи начались зимние каникулы, и я уехала домой и рассказывала тем, кому это могло быть интересно (их в Одессе тогда немного было – из этого города была выпущена литературная кровь), и читала наизусть то, что запомнила. Я вернулась в Ленинград только в марте 1937 года. Позвонила – "нет, сейчас нельзя". Еще позвонила, и еще – но ни разу не было: "Приходите сейчас!" Ни разу. И я отстала.

Шел тридцать седьмой год.

Тридцать седьмой год катился мимо меня. Собственно, по-настоящему все началось после того, как товарищ Сталин сказал, что нельзя объявлять троцкистом того, кто случайно по одной улице с троцкистом прошел. Это было весной, я слушала эту речь его по радио, раздававшемуся из соседней комнаты. В нашем лифлийском общежитии на Мытнинской набережной была хорошая слышимость. В соседней, 13-й комнате, жили мужчины, в том числе Ахилл Левинтон, скептический одессит. И когда речь закончилась, он, скептик, захолопал. Мы тогда еще не знали, даже Ахилл не знал, что каждое такое сталинское тактическое отступление, словесная рокировка – сигнал к избиению неверных, к варфоломеевской ночи на годы и годы; не умели еще расслышать "ату его!" в кавказском неторопливом голосе. Потом научились.

И все-таки и тридцать седьмой, и следующий – тридцать восьмой – а я до самого мая, до отъезда в Испанию провела его в Ленинграде – прошли, прошли мимо, все-таки мимо, и это значит, не по костям. Я не была не только комсомолкой – меня даже в профсоюз не приняли. Единственный, пожалуй, на факультете случай: профорг нашей группы, очень активная девушка из Киева, совершенно неожиданно, когда на приемном собрании дошло до моей фамилии, сказала: "У меня есть отвод". Отвод за то, что у меня бывают пропуски (прогулы, по-тогдашнему). Я сказала – это же университет, не обязательно же на все ходить. Тут я сразу получила по рукам от секретаря профкома, тоже активистки: "...может быть, это очень милая наивная первокурсница, но..." И не приняли. В коридоре меня ждал будущий профессор Тураев: "Ну, приняли?" – "Нет". Он удивился безмерно, спросил: "Шутка?"

Это я к тому, что меня исключать было неоткуда, и об исключениях, которых становилось все больше и больше, так что к тридцать девятому году, по определению Ахилла Левинтона, двести пятьдесят человек исключило из своих рядов шестьсот, – так вот об этих исключениях я узнавала только из "рассказов по секрету". Комсомольцам не полагалось делиться своими делами с внесоюзной молодежью. Но, конечно, я читала объявления на стенах факультета.

На обоей бумаге, крупно: персональное дело... И еще крупнее – фамилия. Навеки запомнились две: Борщ и Гроза. Это были молдаване, их посадили. Как и немцев, как и финнов, и северян, и каких-то невнятных нацменов... Помню немца, Арно Плантаера: он был романтик, носил на груди в прямоугольном медальоне фотографию Тани Ивановой (той самой красавицы "княгини Волконской") и говорил: "Это моя иконка". Он исчез раньше всех, и я ничего не знаю о нем, кроме имени и этой знаменитой на факультете "иконки", но пусть сохранится его имя, пусть кто-нибудь подумает о нем хоть в эту минуту.

Из простенков университетского коридора исчезали портреты профессоров, пока, наконец, кто-то не догадался вообще уничтожить эту портретную галерею. Потом из витрины на Невском исчезли три маршала – осталось два. Время катилось под грохот и скрип невидимых тележек с приговоренными. И в это время пришлось нам жить, ходить на лекции Гуковского, целоваться на спусках Невы – "у шаров", сдавать политэкономии по первому тому "Капитала", процарапывать первые углубления в стенах каменеющего общества – для будущей экологической ниши, хотя мы сами этого не понимали. Мы читали старые книги в то время не по курсу, не для экзаменов, не для наслаждения даже и не для эскепизма: мы искали и находили в книгах объяснения и исторические параллели.

...Я видела Ахматову несколько раз за тридцать последующих лет. В Ташкенте, на улице – если бы я не знала, что она там живет, может, и прошла бы мимо. Она пополнела и ничуть не была похожа на себя зимы тридцать шестого года: красивая, элегантная старая дама. Благополучная. У меня была уже ее крошечная ташкентская книжка. Я знала, что раньше вышла в Ленинграде другая, – "Из шести книг". Это все было очень удивительно, и радостно, и почти невероятно. Я поздоровалась, остановилась, что-то сказала про то, как она прекрасно выглядит. Сказала, что приходила к ней в тридцать шестом году.

– Ах, да, – сказала она приветливо. – Вы, кажется, стихи читали.

И то сказать, зачем бы я приходила, если бы не свои стихи читать.

И еще раз я видела ее зимой сорок пятого – сорок шестого года, в Ленинграде, в гостиной Дома ученых. Это был ее вечер. Горел камин, она читала стихи стоя; Борис Михайлович Эйхенбаум тогда говорил (почему-то мне кажется, после стихов) о том, что женщине дано сохранять и передавать память. Это были удивительно свежие слова – для меня, во всяком случае. Как сказали бы теперь, "нормальные". То есть естественные, выражавшие мысль, результат мышления. И это было удивительно, потому что несмотря на тихий жар камина и мягкую мебель, и даже приглушенное освещение, это было официальное "мероприятие" Дома ученых, внесенное в календарный план работы, и что бы ни читал приглашенный поэт, пусть даже Ахматова, но слова о ней ожидалось привычные, клишированные, жестяные...

Через полгода был доклад Жданова и "Постановление", и там слова были уже не жестяные – свинцовые. Девять граммов свинца весило каждое слово.

Передавали: Сталин сказал, что он два года будет заниматься только идеологией. Кажется, так оно и было, ну, с некоторым перевыполнением. Два с половиной. До весны сорок девятого, когда закончился первый всплеск антикосмополитической кампании. Дальше он, видимо, пустил дело на самотек. И перешел к языкознанию.

И как-то очень быстро или, может быть, очень закономерно, после сорок шестого наступил сорок девятый год и новый – по убывающей – всплеск террора, на этот раз нас с мужем не миновавший. В течение двух лет мы, каждый дорогами собственной лагерной судьбы, неуклонно двигались на восток; муж достиг Колымы, а меня остановило в Райчихинске: есть такой небольшой город в Уссурийском крае – там уголь залегает неглубоко, и его добывают не в шахтах, а в открытых "разрезах".

Вот там, в Райчихинске, девочки, с которыми мы вместе приехали из Чистюньских лагерей, решили раздобыть мне блатную работенку, чтобы я могла возглавить нашу театральную самодеятельность, которую они, конечно, называ-

ли "агиткой". Почему они так решили и как это сделали – до сих пор не знаю, но меня вызвали к начальнику лагпункта на "интервью", чтобы сделать начальницей ларька.

Мне совершенно не хотелось никакого ларька, я денег боялась, как огня, и к счастью, начальство, проводившее интервью, сразу поняло, что я для этого не гожусь. Но первый вопрос, который был мне задан, заслуживает внимания.

Начальник, крупный мужчина, похожий на медведя, с медвежьей невнятной речью, спросил:

– Из Ленинграда, значит? И эту... Ахмакову... знаете?

На дворе уже был пятьдесят первый год, но для этого человека, вряд ли проводившего много времени за чтением художественной литературы, два понятия, нет, не понятия, просто два слова – "Ленинград" и "Ахматова" – слились воедино. Бедняга, он, конечно же, прорабатывал на партсобраниях "Постановление о "Звезде" и "Ленинграде" и задолбил фамилии Ахматовой и Зошенко... К тому времени никто уже не помнил, что Ленинград – колыбель революции. Ленинград был городом, про который надо было заучивать длинное и совершенно загадочное постановление: ни шпионажа, ни вредительства, слова непонятные: "блудница", "моленная"...

И все-таки странно мне было услышать эту перевернутую фамилию в семи часовых поясах от Невы.

Нет, я ни разу не встретилась с ней больше – до самого 1964 года. Когда она уже была в полной славе, когда уже был в ссылке Бродский, когда уже позади были и Таормина (первая и последняя полученная ею литературная премия), и Оксфорд, когда Вера Панова, услышав от Евгении Гинзбург, что она была у Ахматовой, спросила язвительно:

– Ну, что, водила вас по себе, как по музею?

Меня не водила. Меня к ней послал журнал "Советская литература" на иностранных языках, точнее – его отросток, который назывался "Произведения и мнения" (тоже на иностранных языках). В общем, мое интервью с Ахматовой вышло в обоих одновременно – в марте 1965 года: очень скоро, необычно скоро после того, как я его взяла.

Интервью было как интервью, вопросы самые ординар-

ные – над чем работаете, есть ли у вас определенные рабочие часы (ее этот вопрос даже развеселил – она ведь и за пять минут до того, как начнутся стихи, этого не предвидит!), правда ли, что она считает наше время золотым веком русской поэзии (да, потому что никогда не было к поэзии такого широкого, общего, универсального интереса. Попутно я узнаю от нее – опять узнаю! – что выражение "серебряный век" принадлежит Бердяеву). Я ушла довольно скоро, озабоченная тем, что надо будет придти еще раз, чтобы авторизовать интервью и ни в коем случае не допустить там прямой речи. Я-то не допустила, но редактор немедленно преобразовал косвенную речь в прямую, – и убрал все мои реминисценции 1936 года. Лозунг в это время был "не надо сыпать соль на раны!"

Я пришла еще раз, прочла свой текст... Кстати, там было единственное наблюдение: классической челки не стало, лоб открыт... Я скосила глаза на Анну Андреевну и увидела: она с лукавой улыбкой выпускает челку на прежнее место.

Комната была не та, и Ахматова была не та, и окружена она была плотно молодыми поэтами, годившимися мне в сыновья, – а у нее к ним возрастной ценз не применялся: она была в кругу поэтов. И в Италию она ездила, и в Оксфорд, и слава уже не погремушкой трещала, а облекла ее, как облако, и начальство преклонилося... Ей удалось немыслимое: она добилась у Суркова московской квартиры для Надежды Яковлевны Мандельштам. Она была этим смущенно счастлива, так мне показалось. Я сказала, что даже Фриде это не удалось. Она спросила с удивительной, незнакомой мне прежде, от глубин души, интонацией:

– Что с Фридой?

Она еще не знала, что у Фриды рак. Я сказала, что мы все надеемся.

Она показалась мне в тот раз счастливой. Во всяком случае, таким представлялось мне возможное счастье: человек чувствует себя уютно в собственной коже. И Модильяни – ее портретик – уже висел чуть не во всех интеллигентных обиталищах Ленинграда, вытеснив Хемингуэя. Она много улыбалась, шутила, охотно читала отрывки из

своих литературоведческих штудий: "Не бойтесь, я не стану вас душить трагедией в углу", – и о Лермонтове фрагмент, не знаю, напечатанный ли когда: "В прозе он сам себя опередил на целое столетие..."

Прекрасный вечер жизни.

А вот стихи того времени. Того счастливого времени:

Как идола, молю я дверь:

Не пропускай беду!

Кто воет за стеной, как зверь,

Что прячется в саду?

Вспоминаю: зимой шестьдесят второго года в Комарове я спросила Лидию Корнеевну, кто это в "Поэме без героя" – "гость из будущего"? Она засмеялась и сказала:

– Английский лорд!

Я была так потрясена, что больше ни о чем не расспрашивала. Лет через пять, в Зеленогорске на даче, по Би-Би-Си – его не глушили, значит, это было до Чехословакии, – я услышала лекцию об "Отцах и детях" – да-да, просто о тургеневском романе. Голос был незнакомый, я включила радио с запозданием, так что знать не знала, кто это так прелестно и умно и даже весело о Тургеневе рассказывает. И язык был такой – не советский русский, но очень русский, прежний русский, и в манере говорить такая естественная свобода...

Потом, когда он закончил, диктор сказал, что лекцию об "Отцах и детях" прочел сэр Исайя Берлин. Он сказал о нем всего несколько слов – о его ученых заслугах и о том, что он ездил в Советский Союз вскоре после войны.

Тут я поняла, кто же был "английский лорд".

Мы встретились с сэром Исайей через много лет, в Пизе, на симпозиуме по Просвещению. Пиза для меня – одно из сильнейших итальянских впечатлений. Во-первых, самое первое; во-вторых, Площадь Чудес, которая полностью оправдала свое название, реализовав детскую мечту о рафинированном городе; в-третьих, и, пожалуй, в самых главных, сэр Исайя. Нас к нему подвели во дворе университета. Его держал под руку кто-то из молодых профессоров, и я уже подготовилась к встрече с развалинами Помпеи. Худой, вы-

ше среднего роста, в темных очках... И тут он заговорил – весело, оживленно, засмеялся – не рассмеялся, а просто закатился смехом. Это когда его называли Энеем.

– Эней? Да, да, я знаю, что я в Советском Союзе получил эту репутацию. Ну как же! В Лондоне живет Саломея Андроникова – может быть, слышали? Она не то чтобы красная, но, скажем, розовая. И вот она мне написала, что больше не может со мной поддерживать отношения, раз я так поступил с Ахматовой.

"...Всегда нарядней всех, всех розовой и выше..."

Знаменитая история о том, как сэр Исая Берлин посетил Ахматову в Фонтанном доме (она считала, что именно это вызвало ждановское постановление и даже холодную войну), рассказана им самим, и этот рассказ вышел на русском языке (в переводе). Я впервые услышала эту историю из его уст тогда, в Пизе, а потом еще раз, десять лет спустя. Все дело в том, что крепко выпивший Рандольф Черчилль (сын Уинстона Черчилля!), который на беду в то время случился в Ленинграде, с решимостью британца среди ночи пришел искать Берлина во двор Фонтанного дома. Он не знал номера квартиры, более того, не знал, к кому тот отправился. Но он твердо решил его найти. И, остановившись посреди огромного двора, рявкнул что было мочи:

– Изайя!

– Представляете себе? Я своим ушам не поверил. Мы и знакомы-то почти не были. Но опять слышу свое имя. Выглянул в окно. Да, он, Рандольф Черчилль, стоит посреди двора. Ну, я, конечно, помчался вниз – он мог бы вызвать у вас новую революцию!

Если допустить, что по чьему-то недосмотру – мало вероятно, но все-таки! – за профессором Берлиным никто не пошел следом... Да нет, и этого не могло быть, конечно, кто-то потащился. Но уж Рандольф Черчилль, да еще и пьяный, не тот зверь, которого можно выпустить на ночные улицы Ленинграда без наблюдения. Интересно, сколько человек было поднято на это дело? И прочтем ли мы когда-нибудь в "Огоньке" их воспоминания?

Сэр Исайя и сейчас, сорок с лишним лет спустя, человек обаятельный, притом из тех, кто никаких усилий к этому не прилагает. Ему просто очень интересен тот, с кем он в данную минуту разговаривает; он без напряжения улавливает ход его мысли, мгновенно и деликатно угадывает подтекст, радуется шутке; он не монологист, хотя и великолепный рассказчик; он – собеседник, не подавляющий ни на минуту ни своей образованностью, ни своим изысканным чувством юмора. Тогда, в сороковые годы, он был уже очень знаменит в Англии; о нем рассказывали анекдоты (в пушкинском, старинном смысле), повторяли его словечки. Он был первым профессором Оксфорда – евреем, кем-то вроде Дизраэли от литературоведения. И он один из тех немногих, кто чувствует себя вполне уютно в собственной шкуре – ни кокетства, ни позы, а если и есть поза, то – "ваша правда, так надо играть". Когда его спросили, как его отчество, он сказал:

– О, меня называют и Максимовичем, и Михайловичем. А на самом деле я – Менделевич.

Умный человек. Умнейший. Прочно стоящий на земле, но понимающий тех, кто живет в ритмах и синкопах собственного воображения. Человек, ставший при жизни поэтической легендой, и этим нимало не озабоченный, слушающий, умеющий слышать других.

Но понял ли он, что и в самом деле стал Энеем? В поэтической реальности. И что розовая Саломея, давно уже "Тень", тут была права?

– Впрочем, мы с ней довольно скоро помирились, – сказал он.

Рассказывают, что он немало ей помогал в последние годы ее жизни. Как и многим другим, впрочем.

Года полтора назад мне опять посчастливилось увидеть этого удивительного человека в его кабинете в Оксфордском колледже "Всех душ". Вот тогда-то он и велел посмотреть Анреповские мозаики.

– Скажите там работникам, что вы от меня. Пусть они вам дадут фотографии этой мозаики. У них есть.

Он произнес "мозаики". С ударением на первом "и".

Конечно, мы пошли в Национальную галерею на следу-

ющий же день. Стихов Ахматовой я не пересчитывала давно, но дала себе слово – как только вернемся домой, непременно...

Вот эти стихи, которые я помнила (с пропусками) более пятидесяти лет:

Не прислал ли лебедя за мною,
Или лодку, или черный плот?
Он в шестнадцатом году весною
Обещал, что скоро сам придет.
Он в шестнадцатом году весною
Говорил, что птицей прилечу
Через мрак и смерть к его покою,
Прикоснусь крылом к его плечу.
Мне его еще смеются очи
И теперь, шестнадцатой весной.
Что мне делать! Ангел полуночи
До зари беседует со мной.

Под стихами стоит дата: "Февраль 1936".

Через шестнадцать лет, в 1952 году в Лондоне состоялось открытие мозаики Бориса Анрепа, выложенной на полу вестибюля Национальной галереи. Он считал, что на полу мозаичные портреты доступнее смотрящему. Мозаика имела общее название – "Современные добродетели". Добродетелей – то есть сюжетов картин – пятнадцать. Это одновременно и портреты. Так, сюжет "Вызов" изображает Черчилля, который вызывает на бой чудовище в виде свастики, поднявшееся у белых скал Дувра; поэт Элиот (сюжет "Досуги") созерцает добродушное чудовище Лох-Несс; актриса Лоретта Янг (сюжет "Компромисс") олицетворяет англо-американскую дружбу; в сюжете "Сострадание" изображена Анна Ахматова.

Вот и не верь после этого в ритмическую мистику чисел. "Ты в шестнадцатом году весною" (то есть когда миновало 16 лет) – и открытие мозаики через шестнадцать лет после проставленной под стихами Ахматовой даты.

В брошюре, посвященной мозаикам Анрепа, – мы-таки выпросили ее, сославшись на профессора Берлина, – об "ахматовском сюжете" говорится: "русская поэтесса Анна

Ахматова, которую ангел спасает от ужасов войны".

Интересно, доложили ли тогда в Москву об этом? Пятьдесят второй год в Советском Союзе был мрачный...

Когда рассматриваешь "Сострадание", в первую минуту чувствуешь – это не то, чего вы ожидали. Вы думали увидеть сострадание ее, героини, к другим. И вдруг – она оказывается не субъектом, а объектом сострадания: среди скелетов и обрушившихся кирпичей блокадного Ленинграда ангел с опущенными крыльями и поднятыми, оберегающими руками отделяет упавшую, но живую женскую фигуру от хаоса смерти. Ахматова узнаваема, пожалуй, только по нехарактерной для времени челке и потому, что мы знаем, что это она.

Этот ангел – единственный, на других мозаиках – чудовища, злые и добрые, апокалиптические, сказочные, мифологические. А тут ангел, может быть, даже ангел полуночи, прилетевший сюда из стихов...

Конечно, Анреп мог знать эти стихи – они были напечатаны в сборнике 1940 года "Из шести книг". Мог и не знать – он был далек от русской эмиграции. Как бы то ни было, знал или не знал, он откликнулся. Ахматова же впервые услышала про этот свой портрет только в шестьдесят пятом году в Оксфорде, от сэра Берлина.

"Она ничего об этом не знала, и была глубоко тронута", – вспоминает он.

В ахматовской поэтической реальности Анреп и Берлин, живущие в Англии, появившиеся там почти в одно время, давно уже бывшие и адресатами и персонажами ее стихов и оказавшиеся почти рядом в "Поэме без героя", стали ее вечными космическими спутниками.

Всем обещаньям вопреки
И перстень сняв с моей руки,
Забыл меня на дне... –

писала она об Анрепе в 1961 году. И Анреп, когда в 1966 году Глеб Струве переслал ему эти стихи, отозвался:

"Одно из самых мучительно-трогательных стихотворений А.А. Почти каждое слово основано на пережитом, одето пронзительной фантазией, незабвенным чувством".

Основано на пережитом – и одето пронзительной фантазией.

И о Берлине:

Он не станет мне милым мужем,
Но мы с ним такое заслужим,
Что смутится Двадцатый век.

Я уже говорила: Анна Андреевна считала, что встреча сорок пятого года положила начало холодной войне. "Я не мог и подумать, чтобы возразить ей, – пишет Берлин, – ...это был бы удар по историко-метафизическому видению, которым проникнуто так много ее стихов..."

И он же писал про ее "иронический юмор... сосуществовавший с представлением о мире... иногда – провидческим и пророческим".

Мне рассказывали, что Лев Николаевич Гумилев выступал по телевидению и сказал, что время все равно проходит через поэта, хочет он того или нет. И оно диктует поэту – поэт не "сам пишет".

Пожалуй, это верно.

Только слышит поэт во времени не всегда то, что слышат его современники, и очень редко то, что его заставляют слышать. Как бы ни старался.

Время – понятие для поэта странное. "Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?" Кажется, это самая расхожая, самая бытовая, самая реальная категория – бывает, что этой реальной категории он и не слышит.

Потому что и в самой бытовой реальности его реальность – другая.

1989

ДАЧНЫЕ СОСЕДИ

Парней так много холостых,
А я люблю Довлатова!

Он рассказывал, не без удовольствия, что, когда он был студентом, это спели с эстрады девушки из факультетской самодеятельности. Надо думать, они этого не забыли, а я удостоверяю: Довлатов их музыкальное признание помнил до конца жизни.

Основа этого текста – песня из кинофильма сорокалетней давности "Дело было в Пенькове". С очень молодым Тихоновым в главной роли. Чуть-чуть измененная. Там пелось "а я люблю женатого".

Мы с Довлатовым познакомились в начале семидесятых годов в Шереметевском доме на улице Воинова, ныне дважды сожженном. Там помещалось Ленинградское отделение Союза писателей. Довлатов в то время был секретарем Веры Федоровны Пановой. Ходили слухи, что он тоже что-то пишет и что он побывал в лагере, но не так, как его двоюродный брат, который там сидел, а совсем наоборот – как вохровец. Горышин говорил даже, что он охранял этого самого брата. Я тогда думала – для красоты сюжета. Оказалось – правда.

Собственно, брат и послужил причиной нашего знакомства.

С виду и по фамилии я знала Сергея Довлатова и раньше – видела в ресторане Союза писателей. Попробуй, не увидь. Он был похож на смущенно движущийся буфет – народ в Союзе был довольно мелкий (имею в виду рост, а не художественную значимость).

Сейчас о нем пишут "красивый". Не знаю. Мне он красивым не казался. Может быть, потому, что я продолжала

видеть в нем вохровца. Он сам упоминает, явно кого-то цитируя, свою неаполитанскую внешность, хотя неаполитанцы, могучие духом, невысоки ростом.

Одно можно сказать: внешность у него была самая не секретарская, какую только можно было себе представить.

В те времена в Ленинграде раз в два года устраивались семинары молодых (это означало – не охваченных Союзом) писателей Северо-Запада. Несколько дней подряд в разных комнатах Шереметьевского дома заседали небольшие группы начинающих прозаиков и их руководители – члены Союза, более или менее известные читающему народу. Происходило обсуждение представленных молодыми творений, довольно нелицеприятное. В шестьдесят первом году я была участницей такого семинара; вели его Вера Панова, Геннадий Гор и Ричи Достян, а семинарцев было человек шесть – Сергей Тхоржевский, Рид Грачев, Элигий Ставский и я – ленинградцы; еще двое периферийных, чьих имен я не запомнила. Рид Грачев представил два рассказа "Подозрение" и "Зуб болит"; я – "Скорпионовы ягоды", Ставский – главы из романа, Тхоржевский – рассказ "Ключ", который мы все почему-то разругали, хотя сам Тхоржевский нам понравился.

И тут я не могу не рассказать о Риде Грачеве. Он был самый молодой из нас – ему было года двадцать три, может, немного больше, но во всяком случае до тридцати ему было еще далеко. Фамилия Грачев была псевдонимом – кажется, она принадлежала его деду – а его фамилия была Вите. Нет, он не был потомком "того Витте", тем более, что тот писался через два "т"; он объяснил, что его фамилия английская, "Уайт", в русской транскрипции... Про Рида стало известно, что он вырос в детдоме. Кто были его родители, где, когда они сгинули? Что тут было правдой? Он кончил к тому времени университет, жил в какой-то каморке – на какие средства, никто не знал. И не задумывался. Он выглядел, как школьник, маленький, худой, неприметный; голос был мальчишеский, лицо, небольшое и угловатое – тоже. Правда, глаза, узкие, зоркие, были гораздо взрослее лица. По мнению Веры Федоровны Пановой, он был похож на молодого Горького.

Рассказы его – два маленьких рассказа, которые мы все прочли, – нам очень понравились, а Веру Федоровну просто поразили. Теперь, когда я их перечитала – через столько лет! – я поняла, в чем дело. В них прозвучала совершенно необычная для того времени нота, может быть, та самая, крепко забытая всеми, кроме литературоведов: оставьте меня, зачем вы меня обижаете? И еще там было глубочайшее одиночество человека среди людей, и щелчки, и обиды, и непонимание. Герой рассказов – маленький человек, подросток... И злобная, ощеренная жизнь вокруг него...

Я теперь перечитала книжку Рида – единственную его книжку, которую ему, наконец, удалось выпустить в 1967 году. Через шесть лет после того семинара, на котором все мы – и первая Вера Федоровна – с таким восторгом его признали. Перечитала – и по-старому изумилась: как же все-таки ее выпустили?

Говорили, что сама Вера Федоровна его придерживала, – чтобы он не выходил с отдельными рассказами, – чтобы сразу вышел книжкой... Он стал переводить – у него появилась жена, надо было зарабатывать. Ему дали для перевода книгу Сент-Экзюпери "Земля людей". Я помогала ему ее редактировать. Это была веселая работа – мы радостно понимали друг друга, что нечасто возникает между переводчиком и редактором.

На следующий день после того, как мы закончили работу, Рид позвонил, спросил разрешения зайти, получил его и явился с большим плоским пакетом, обернутым в газету.

– А это что? – спросила я.

– Щас-щас... – он разворачивал пакет, неловко и довольно долго. Наконец развернул и повернул плоскость ко мне лицом. Я ахнула.

– Это вам, – сказал он. – Если, конечно, хотите.

Это была картина, которую он написал. Игра в волейбол, лес рук, молодые спины, затылки, черные круглые головы – и над ними мяч, такой же черный и круглый... Он эту картину мне уже показывал раньше.

Меня вообще изумляет, когда у человека несколько талантов: мало того, что он пишет, он еще и музыкант, или

художник... В воспоминаниях Толстого – Льва Николаевича – есть такие слова о музыке: у меня к ней было что-то вроде таланта. Я прямо зашла от справедливого негодования. Зачем ему столько?

И у Довлатова было "столько", а может, и больше. Он рисовал. Несколько его книжек вышло в его оформлении. По-английски так и написано: "дизайн автора". У нас на книжной полке стоит обложка, которую он сделал для невышедшего журнала "Петух", и гости спрашивают: а это кто рисовал? Про его бархатный баритон вспоминают все; к тому же у него был великолепный музыкальный слух (знаю, потому что мы вместе пели "Гимн коммунистических бригад"). Правда, он сознавался, что не любит Генделя, – но ведь и это свидетельство музыкальности.

А Рид как-то сказал мне: я все пробовал. И музыку, и вот это...

Вот тогда он и показал мне свой волейбол. А теперь принес. Я бормотала, что мне неудобно, что как же так, что я... Он эти жалкие отговорки пресек и спросил:

– Вам нравится?

– Ну конечно, нравится. Вы ведь знаете. Но как же...

– Ну и все. И больше не будем об этом говорить.

Больше я ничего не говорила. Картина и сейчас висит у меня – в Иерусалиме. Черные головы, черный мяч, лес молодых рук.

Он подружился с Тамарой Юрьевной Хмельницкой – умным и тонким критиком, душевным человеком; она искренне восхищалась его талантом и сердилась на Панову, которая по литературно-политическим соображениям придерживала его выход в свет. Дебют книгой – такой книгой! – должен был произвести шум.

Но Рид уже был болен. Говорили – наследственность. Это выражалось сначала в подозрительности. Потом начались разговоры про черную и белую магию. Он утверждал, что белая магия опаснее, – и Тамара Юрьевна Хмельницкая, которой тогда было далеко за шестьдесят, именно белой магией его удерживает. И другие дорожившие им люди попадали под такое же подозрение. Кончилось дело больницей.

И все-таки книжка вышла. Она передо мной. Называется "Где твой дом". Сто двадцать три узеньких страницы. Цена десять копеек. Восемь рассказов. Первокласных. И надпись:

"Р.А.Зерновой, боевому товарищу по литературной жизни и вообще, надеюсь, не врагу.

Автор. 31.3.67."

Он скрылся с горизонта. Шизофрения. Где Рид? В больнице. И – опять в больнице. И опять... Тамара Юрьевна собирала для него деньги, каждый месяц. Но помочь ему уже нельзя было. И он умер.

Через несколько лет я доросла до руководителя такого же семинара – с новыми молодыми участниками. Собственно, главным руководителем был Горышин, а я была "членом тройки". На заключительном заседании, которое имело иногда даже судьбоносное значение, члены "тройки" не вызывались. Другой семинар вели Игорь Ефимов, уже известный писатель, и Майя Данини.

Майя Данини. Ее тоже нет больше. Я узнала об этом здесь – и для меня опустел Ленинград.

Ее первые рассказы меня поразили. Не сюжетами, не картинками, не "образами", а речью. Авторской речью, говором персонажей. Подлинность интонации – и чуждость ее. Так не говорили в книжках, так не говорили вокруг меня, так говорил другой, незнакомый мне клан, семейный клан – которого в литературе еще не было... "Будь ласточкой", – упрашивала кого-то девочка. Про клубнику: "взял в рот и стал добрым и счастливым, независимым, мудрым и красивым"... "место было влажное, пахучее, дремучее", "море было все в блестинках"... Да нет, не передать, что именно так меня поразило. Я поняла, что с ней не сравняюсь никогда – и чуть ей в этом не призналась.

Первый ее сборник (1967) назывался "Живые деньги". Откликнулся ли хоть кто на него? Не помню. Ленинградская проза редко удостоивалась откликов в столичной критике. Да и слишком неординарной, независимой, безбланковой была Майина книга. Куда ее отнесешь, в какой разряд поставишь? А через несколько лет Андрей Скатов выпустил рассказ, а позже сборник – *под тем же* заглавием!

– и сразу же был зачислен по ведомству писателей-деревенщиков.

А тогда Майя и Ефимов были в самом боевом настроении. У них в семинаре был Сергей Довлатов – со специально для этого написанным проходным рассказом. Рассказ должен был произвести сенсацию, они готовы были принять бой. Дали мне его прочесть – рассказ как рассказ, про человека, которого не включили в заграничную делегацию. И – без всякого юмора. На меня никакого впечатления не произвел. Видно, нельзя работать с установкой на проходимость – талант мешает.

Лет через десять, когда он опять попал мне в руки (Довлатов хотел напечатать его все в том же затевавшемся "Петухе"), я его узнала. И он опять мне не понравился, о чем я честно сказала автору. "Петух" не состоялся, рассказ остался неизвестным читателю.

А в нашем семинаре был Довлатов Борис. Тот самый двоюродный брат. Его рассказы мне понравились, и сам он тоже... О том впечатлении, которое Борис Довлатов производил на женщин любого возраста и социального положения, лучше всех рассказал его брат, – и потому отсылаю вас к главе девятой его сборника "Наши". И завидую тем из вас, кто прочтет это впервые – если еще остались такие. Впрочем, не знаю, что лучше – читать Довлатова, или его перечитывать. Так вот, Борис Довлатов – безусловно – тоже писать умел. Видимо, это у них было семейное. Не помню, о чем были его рассказы, – я их ни разу не перечитывала, но впечатление свое помню, очень радостное – я всегда радуюсь, когда читаю то, что мне нравится. И на обсуждении его рассказов высказалась именно в этом смысле.

Однако Горышин меня не поддержал – уж не помню, кто ему из семинаристов больше всех понравился. Во всяком случае, на заключительном заседании он не сказал о Борисе Довлатове ни слова.

В день заключительного заседания я сидела в писательской столовой и пила чай. Подошел Борис.

– Разрешите?

– Ну конечно.

Он сел. Я посмотрела на него и увидела, что он – не то, чтобы мертвецки, но крепко. Разговора не получилось. Только когда я поднялась уходить, он скорбно сказал:

– И вы... уйдете... вот так...

И я ушла, вот так. А через месяц – а может быть, через два, меня позвали в кабинет секретаря – кроме хозяина там был Довлатов Сергей. Он организовывал письмо в защиту своего брата, который опять находился под следствием. Этот случай подробно описан в той самой девятой главе: Борис "на казенной машине задавил человека". Я всегда все подписывала, когда ко мне обращались, а уж тут!

Вот так мы с Довлатовым познакомились – и он мне этого не забыл: лет через десять, уже в Америке, объяснял редактору "Панорамы" Половцу, что я всегда была прогрессивной и подписывала все, что надо. Половец напечатал мою статью о Фриде Вигдоровой, но меня, по словам Сергея, с тех самых пор невзлюбил. Подозреваю – потому, что эту статью я напечатала сразу в трех газетах.

Вскоре после нашего знакомства Довлатов, в ту пору рабобатвший в "Костре", позвонил мне по телефону:

– Это Довлатов беспокоит (ей-Богу, именно эту бюрократическую формулу – и безо всякого юмора – он употреблял!). Я хотел бы попросить у вас что-нибудь для нашего журнала. У нас так давно хорошей прозы не было!

Голос у него был совершенно бархатный, даже когда он не старался, а тут он еще явно "распускал обаяние". И я бы, конечно, с радостью согласилась, если бы у меня была хоть какая-нибудь проза. Но – не было.

Про себя я подумала: умеет подлещиваться, собака. А еще более про себя я была польщена. Все-таки именно мне так сказал. И как хорошо и правильно сказал. И вспоминала, что, по словам Лены Клепиковой, на редсовете "Авроры" говорили... Одним словом, этот звонок привел меня в хорошее настроение.

В конце семьдесят шестого года мы уехали. А летом семьдесят восьмого приехали из Югославии (тогда она еще была) в Вену встречаться с нашими друзьями – Игорем и Мариной Ефимовыми. И у них неожиданно встретили Довлатова.

Впрочем, не очень неожиданно. Мы уже прочли в Израиле "Невидимую книгу", изданную Профферами в издательстве "Ардис", — и кое-что в разных "тамошних" журналах. После такого в Ленинграде не остаются. Отправляются или на Запад или на Восток. Второе — не по личному выбору.

Сегодня, когда перечитываешь эту, когда-то "Невидимую", вспоминаешь слова Синявского: эмигранты сообщают одну Жалобную книгу. Тоже был мастер определений. И сейчас видно, что он был прав.

Но тогда! Какой эстетический восторг вызывали эти жалобы, обжигавшие подлинностью неостывшей обиды. Впервые — впервые — мы читали на русском языке то, о чем все знали, все говорили, и что все — или почти все — покорно принимали как должное. Это была жизнь, наша жизнь, и к ней следовало приноравливаться — не будет же она приноравливаться к нам. Была даже рубрика такая в "Литературной газете": "Прекрасное — это наша жизнь". В сорок девятом году она появилась.

Сейчас мы, избалованные книгами Довлатова, последовавшими за этой, удивляемся, встречая в ней какой-то перегруз наивной, недоуменной серьезности, незамаскированной печали. И нас уже не занимает подробное, документированное "досье" на советскую власть, от стукачей и прочих малых ее представителей до неких высоких, так и не разгаданных имен. Мы уже и сами все это знаем. Да-да, теперь знаем. А тогда, в этой книжке, прочли впервые, глазами, черным по белому... И смеялись, и радовались, что это уже позади. Для Довлатова — и для нас.

Но горько это звучало в конце: "Словом, а не делом отвечаю я тем, кто замучил меня. Словом, а не делом!" Не замучили Вас, слава Богу. Помучили — и отпустили. На радость всем нам.

Совершенно не помню, о чем тогда в Вене мы разговаривали — но общее впечатление было приятное. Через год, когда мы несколько месяцев прожили в Нью-Йорке (муж читал курс в Колумбийском университете), мне захотелось возобновить знакомство. Я позвонила по телефону. Бархатный голос, рокоча российскими "р", ответил непререклемо:

– Ррронг намберр!

Кто-то из "Нового русского слова" – которое впоследствии мстительный Довлатов перекрестил в "Слово и дело" – объяснил, что номер-то я набрала правильно, но "Сереза просто нездоров". Я не стала спрашивать – все поняла.

И все-таки потом мы подружались – уже после того, как президентом выбрали Рейгана, хотя его успех на выборах не имел к этому касательства. Наш сын с семьей перебрался в Форест Хиллз, мы у них останавливались, а жили они от Довлатовых так близко, что не подружиться было невозможно.

Сначала они подружались, а потом и мы. Сначала с его женой Леной, а потом и с ним.

Мы даже стали переписываться. Удивительное дело. Тогда люди еще переписывались не по Имэлу, а просто – вы не поверите! – от руки. Не жалея времени. И посылали письма авиапочтой. Письма по воздуху иногда доходят даже быстрее, чем по морю.

С 1983 года наши семьи жили в Кэтскилле. У Довлатова Кэтскилл представлен в повествовательной прозе двумя рассказами – "Ариэль" и "Игрушка". Я их впервые прочла в Арьевском трехтомнике, Довлатов нам их не показывал. Зато "Наши", "Чемодан", еще что-то, мы читали постепенно, расказ за рассказом. Вот было счастье!

Иногда слышатся обиженные или негодующие, или недоуменные комментарии персонажей, героев и не-героев: "у нас все совершенно не так было", "да ничуть не похоже, все он выдумал!"... "Когда это я у него спрашивал инициалы Лермонтова?" Но – поздно. Все так и останется, как рассказано у Довлатова. И ныне и присно. Это не правда, это эссенция правды. Она крепче, потому она и остается.

Обиженных много. Бывало и так, что обиженные говорили нам: вот вы с ним дружите... Он вам рассказывает о нас – и очень смешно, и вы, наверное, хохочете... Но ведь он и о вас рассказывает так же смешно, и мы хохочем.

Господи, да за этот смех и надо быть ему благодарным! Не буду врать, тогда эти сообщения не доставляли мне удовольствия. Вероятно, они были правдивы – ну и что? Я никогда не проверяла.

Даже в России – где степенство искони почиталось выше всего, научились смеяться над куклами Шендеровича. И кто смеется? Те, кого эти куклы изображают. Над собой смеются! И "новые русские", похоже, не стремятся к степенству и позволяют смеяться над собой тем, кому только эта возможность и осталась. И вопль Городничего не раздастся в зрительном зале. Ура.

А совсем недавно прочитала я в статье Поповского (вот уж никогда бы не заподозрила его в недостатке чувства юмора!), что это, мол, все пасквили, а пасквили писать безнравственно.

А куклы? А карикатуры Кукрыниксов? А дружеские шаржи всех на всех? Это тоже пасквили?

И становится скучно на этом свете, господа. И вообще, пенять на зеркало в комнате смеха – последнее дело. Тогда уж лучше сидеть дома и слушать тихую музыку.

Я думаю, что многое из того, что он, Довлатов, печатал, он сперва прокручивал в разговорах с нами. Наблюдения, клочки разговоров, цитаты из писем "оттуда". "Оттуда" – значило тогда из России. Точнее – из Ленинграда. Он появлялся под окном – потом появлялся в квартире – потом шел разговор, веселый разговор... Удивительно, сколько у нас находилось друг для друга новостей и тем... Больше, чем с родными детьми. А впрочем – не так и удивительно. И он, и мы жили литературой. Жили – в смысле "дышали".

Но однажды прошел слух: у Довлатова запой.

Утром я услышала – зовут!

Подошла к окну. Под окном стоял Довлатов, твердо стоял, не качаясь. Мягко, чуть смущенно сказал:

– Запой происходит, Руфь Александровна!

Что-то я ответила невыразительное.

– Можно к вам?

– Пожалуйста.

– Тогда я сейчас... Возьму в магазине и зайду.

Позвонил в дверь минут через десять – магазин был близехонько. В руках у него была... как бы это по-русски выразить – маленькая. Но не водки – виски.

А дальше пошло такое, что мы себе и представить не могли. Рассказать – никто не поверит.

Разговора никакого не было. Было другое: Довлатов читал стихи. Наливал себе в стакан из фляжечки, выпивал плоток и читал, читал... В основном Мандельштама. Без комментариев. Просто читал.

Потом за ним пришли – Лена и его отец. Он поднялся уходить – и упал. Они его подняли и увели.

Вот такой это был пьяный угар.

Его стали посещать видения. Он отчетливо видел на белом потолке своей комнаты людей, знакомых и незнакомых, улицы, какие-то квартиры – в общем, настоящее кино. Мы ехали в машине с нашим молодым приятелем Сашей Бенинсоном, и Довлатов рассказывал ему все это. Саша выслушал и равнодушно сказал:

– Белая горячка. Если не бросите пить – скоро умрете.

Саша Бенинсон закончил медицинский факультет в Москве.

Может быть, его слова произвели впечатление. Во всяком случае, то лето в Кэтскилле – а мы жили, можно сказать, бок о бок, вспоминается мне как безоблачное и трезвое. Это был, кажется, восемьдесят четвертый год. Довлатов, похоже, сел на диету – он похудел, постройнел... Однако, когда он погружался в бассейн, – на той даче был бассейн! – вытесненная им вода грозила затопить асфальтированные берега.

Это было веселое лето. В наших домиках росли дети – у нас наши внуки, тринадцатилетняя Саша и пятилетняя Лиза; у Довлатовых почти взрослая Катя и всеобщий любимец Коля, лет трех от роду, единственный из всех, имевший перспективу стать когда-нибудь президентом Соединенных Штатов, поскольку он тут родился. Кроме того, у нас жила Сашина подруга, а у Довлатовых – дочь каких-то гастролирующих актеров, в возрасте нашей Лизы. Все эти очень молодые люди – да еще их гости с соседних дач – очень оживляли обстановку: ссорились, мирились, влюблялись и давали старшим обильную пищу для разговоров. Помоему, работала только Лена на какой-то печатной машине, поглощавшей, по мнению хозяев, львиную долю всего Кэтскиллского электричества. Мы разговаривали, конечно, не только о литературе, но и о людях, хорошо и не очень

хорошо знакомых... Очень многое из того, что говорилось, вошло в довлатовские рассказы и записные книжки. Он был рачительный хозяин.

Бывало, и не входило. Незабываемый случай: наша Лиза подошла к актерской дочке и вежливо спросила:

– Девочка, как тебя зовут?

Обычный для девочек ритуал начала знакомства.

Актерская дочка ответила:

– Какое тебе дело?

Я, потрясенная, рассказываю Довлатову, а он только хмыкнул. Наверное, у мальчиков ритуалы знакомства другие. Никакого впечатления. Я искала эту историю в его напечатанных записных книжках. Но – нет. Не оказалось.

Не оказалось и другой истории. В день рождения Лизы, 8-го августа, когда дачные и окрестные дети в выданных им бумажных шапках пировали за накрытым на воздухе именинным столом, неожиданно подкатили на велосипедах два мальчика. Одного мы не знали, а другого дети уже давно не любили. Они потоптались, потоптались и уехали на своих велосипедах, не солоно хлебавши. И тут я увидела, как у Довлатова перекосилось, перекорежилось лицо. Я спросила: что с вами? Он сказал:

– Нехорошо. Надо было их пригласить к столу. Угостить.

Что-то я возразила – но со стыдом, который и сейчас помню.

Да, так разговоры о литературе.

– Мы с вами средние писатели, Руфь Александровна.

("Мы с вами" – это для того, чтобы я поняла, что он думает обо мне. Разумеется, я понимаю.)

– Я так не думаю.

– А что же вы думаете? Думаете, мы с вами...

– Я думаю, мы с вами – хорошие писатели. И разные притом.

(Я и сейчас так думаю.)

Его это явно не удовлетворяет. Он возвращается к мотиву "мы с вами" не один раз. Это как зачин. Я отвечаю, что придется. Иногда признаю его бесспорное преимущество.

Например, говорю:

– О себе я уже не заплачу. Но про вас думаю, что вы надолго останетесь. Юмор живет дольше всего остального. Вон, мы все еще хохочем над "Недорослем"...

Ах, если бы он прочел, какие философские глубины открывают в нем нынешние критики!

– ...Я приехал – звоню Бродскому. "Ося, – говорю, – как ты понимаешь, я очень хотел бы тебя увидеть". А он говорит: "Мы, кажется, были "на вы"?"

Я немею. Он торопливо продолжает:

– Но потом – все было. И переводчица, и издатель.

Я говорю:

– Переплюнул Сталина.

– Как это?

– Сергей Кавтарадзе, незадолго перед тем возвращенный из тюрьмы, пришел к Сталину докладывать, как идет перевод "Витязя в тигровой шкуре"... Сталин сидел за письменным столом. Кавтарадзе подошел и сказал: "Здравствуйте, товарищ Сталин". А тот посмотрел искоса и сказал: "Мы, кажется, были "на ты"?"

(Это рассказывала мне когда-то дочь Кавтарадзе Мая, которая в ту пору была пионеркой.)

В Нью-Йорк приехала из Ленинграда Вика Беломлинская. Ее рассказы я помнила еще с прежних, доэмигрантских времен. Сережа их прочел – ему они тоже понравились. Он рассказывал:

– Я ей говорю: "И главное, это совершенно непохоже на..." ну, тут я назвал одну здешнюю писательницу. А она говорит: "Как можно даже сравнивать!"

И посмотрел на меня с пытливым ожиданием.

Я не спросила, как зовут писательницу. Не доставила Сереже этого маленького удовольствия.

– Руфь Александровна! Вот у вас в статье о Вигдоровой говорится: "Вокруг нее, где бы она ни жила, возникало телемское аббатство"... Почему вы не объясняете, что такое "телемское аббатство"?

– А зачем я буду объяснять?

– Так люди же не знают!

– Так пусть спросят у тех, кто знает.

– По шотландскому анекдоту. Висит объявление: кузница в третьем доме от угла. – А если человек неграмотный, как он узнает? – Пусть спросит у грамотного!

– Правильно, пусть спросит у грамотного. Литература должна развиваться!

– Гм!..

– Я считаю, что Битов – скучный писатель.

– Я так не думаю. Мне он очень интересен. И с самого начала был интересен. Мы с ним дружили в Ленинграде. Он к нам часто приходил...

– А зачем?

– То есть как – зачем?

– Ну, Битов не такой человек, чтобы просто приходиться...

Молчу, перевариваю. Потом спрашиваю:

– А вы зачем приходите?

И он... промолчал.

– Бабушка, – говорит Лиза, – а завтра ты не будешь паянс раскладывать. Завтра суббота, придет дядя Сережа с пирогом.

– Вот вы, любители Пановой... Она записывала: "Читала Томаса Манна. Люди лучше у меня, эпоха – у него".

Как-то раз Довлатов похвастался:

– А я купил новую зажигалку!

– И я!

– Вчера?

– Вчера.

– Махнемся не глядя?

Махнулись. Зажигалки оказались вполне равноценными. Сложился обычай. Каждое лето мы обменивались зажигалками.

Мы дарили друг другу свои книжки. Неравноценный обмен: у него за это время вышло одиннадцать книжек, у меня – две. Вторую – "Это было при нас" – я послала из

Израиля. Ответ пришел очень быстро.

"Как однажды сказал Миша Юпп – Анне Ахматовой по поводу ее сборника стихов: "Многое понравилось".

"...Готовлюсь к лету, в частности, репетирую несколько историй про мою дружбу с семейством Гетти".

И приписка на полях письма:

"Признайтесь, что из всех *русских*, кому вы послали свою книгу, откликнулся пока я один".

Пришлось признаться.

Но этим он не ограничился. Через месяц сообщил:

"Я написал скрипт о вашей книжке (позитивной направленности) и огласил его. Копию сохраню".

Скрипт был написан для радиостанции "Свобода" и действительно был сохранен до нашего приезда. Я прочла и предложила:

– А давайте пошлем это в "Русскую мысль". Хоть небольшие, но деньги.

– Ну... Пошлите вы.

Послала. Напечатали. Одна любительница моих произведений на Би-Би-Си осталась недовольна – она ждала восторгов. Вскоре появились рецензии Хейфеца и Капитайки на эту же книжку, и недоволен остался Довлатов:

– Пишут то же самое, что я. Я пишу про чувство истории, и они про чувство истории. Что они, сами ничего не могут придумать? Как сговорились.

– А может, оно в самом деле там есть?

– Что? Где?

– Чувство истории. В книжке.

Довлатов подумал и сказал:

– Может быть.

Из апрельского письма: "Вы спрашиваете: где вы летом? Ничего себе. Мы сняли два, так сказать, бангало через дорогу от вас, пляж общий, короче – соседи".

В то время шли у них разговоры о покупке дома, отсюда и мой неуместный вопрос. Дом был куплен в следующем году – к нашему огорчению: мы перестали быть соседями.

В том же письме про текущие "там" события:

"Закономерность такова: чем умнее советский интелли-

гент, тем мрачнее его отношение к перестройке. Фазиль Искандер сказал: "Кошмар". Соснора (человек умный) высказывался в том же духе".

Наступило долгожданное лето. И между нами возникло неудовольствие. Литературное.

В наши края приехал польский, кажется, театр с Барбарой Брыльской в главной роли. Играли на английском языке. Сережа должен был написать скрипт об этом представлении. Ехать в театр ему не хотелось. Упросил меня это сделать – посмотреть, написать и получить причитающиеся ему деньги. Принес мне билеты.

Мне понравилась пьеса, спектакль, Барбара Брыльска. И про все это я написала, по моим понятиям, хорошо. Довлатов оставил от моего текста одну фразу – про воспоминания, которые вылезают из-под кровати. Свой совершенно новый текст он дал прочитать мне, а потом заставил меня еще и деньги взять. В общем, повисло между нами некое неудобство.

– Он должен был понимать, что я пишу иначе. На что он рассчитывал, не понимаю! – жаловалась я мужу.

Неудобство некоторое время повисело, потом отодвинулось. Под влиянием других событий.

Открылась железная дверь, упал железный занавес, из России в Америку стали приезжать старые друзья и новые знакомые. А в самой России стали печатать "бывших". И одним из первых – Довлатова.

В марте восемьдесят девятого года Довлатов пишет нам:

"Там что что-то происходит, хотя ничего не меняется. Я наконец-то сформулировал метафорически свое отношение к сов. литературе, и вот разрешите мне вас с этой формулировкой-метафорой ознакомить. Представьте себе, что некий юноша влюбился в красивую, развратную, взрослую женщину, а она им пренебрегла, и тогда он уехал с горя в Америку, женился, родил детей, стал человеком, и вдруг он узнает через 10 лет, что эта женщина замуж так и не вышла, и более того, проявляет к нему интерес и готова встретиться. И вот он, с одной стороны, взволнован, а с другой – думает: ты уже и десять лет назад была не очень молодая и к тому же неверная и бесчестная, а теперь, когда

тебе ампутировали ногу, вставили железные зубы и так далее, ты меня и совсем не должна интересоваться. Но какое-то волнение и беспокойство остается, хотя и жениться, и даже просто "в койку" уже поздно. Вот так".

И: "К вашему приезду у меня выйдет 3 книжки, но нового я ничего не пишу, и не тянет. Настроение отвратительное. Ваш С."

Три книжки – вероятно, переводы. Переводов он не дарил: они были среднего качества. Сравняться с Довлатовским текстом переводчику нелегко. А оригинальные книжки у нас собрались все, и только одна – "Филиал" – оказалась без надписи. Она вышла в девяностом году. Вероятно, мы ее приобрели, когда автора не стало.

Среди надписей есть забавные. Например, на книжке "Иностранка": "Серманам-старшим на предмет безудержного восхищения". И мы восхищались – и тогда, и теперь. Безудержно.

А сейчас я сделаю подарок любителям Довлатова. Настоящий.

Надпись на книге "Заповедник". Издательство "Эрмитаж", 1983:

"Экспромт (извините за качество)

Позвольте новый "Заповедник"

Преподнести вам от души,

Не все из книг моих последних

Так безупречно хороши!

Пускай Илья Захарыч Серман

Истреplet этот экземпляр

В своем стремлении непомерном

Подметить мой растущий дар.

Пускай строчит мой благодетель,

Не зря его всегда любил:

Старик Державина заметил,

Да и меня благословил.

С."

Эта книга была подарена после того, как в 1985 году в журнале "Грани" появилась статья Ильи Захаровича Серма-

на "Театр Сергея Довлатова". Это была первая большая статья о Довлатове, появившаяся на русском языке.

Володя Соловьев, с которым Довлатов был дружен и каждый вечер гулял по сто восьмой улице, написал, что ни одна из статей, о нем написанных, Довлатову не понравилась (к тому времени статей уже было много). Это меня ничуть не удивляет.

Есть у меня рассказ "Лето девяностого года", написанный о жизни в том самом Кэтскилле. Довлатов проник в этот рассказ без фамилии – и даже против моей воли, но, проникнув, он, как всегда, сразу же всех собой заслонил. Дора Штурман написала, что Довлатов был бы этим прощением доволен. Ох, не знаю.

Авторы вообще народ неблагодарный – им всегда кажется, что критик, даже самый восторженный, не уловил главного.

А что главное?

Вот как писал Антон Павлович Чехов за сто лет перед тем:

"Литературное общество, студенты, Евреинова, Плещеев, девицы и проч. расхвалили мой "Припадок" всюду, а описание первого снега заметил один только Григорович". Горькая обида, не правда ли?

И в заключение – чуть-чуть мистики.

Летом девяносто первого года мы гуляли по Кэтскилльскому лесочку с моей подругой и переводчицей Леной Рив. Вспоминали Довлатова. Я рассказала ей о нашем обычае обмениваться зажигалками.

Через несколько шагов я увидела – что-то заалело в траве. Нагнулась – зажигалка. Маленькая, красная.

Она и сейчас у меня.

1997

ПАРИЖ СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ

Так можно истолковать название выставки, которая в разгар юбилейного лета 1989 года открылась в Париже, на его Дальнем Западе – под новой Аркой, украсившей район "ла Дефанс". Я почтительно пишу слово "Арка" с большой буквы, ибо по-французски она называется "ла Гранд Арк".

Это очень необычная выставка.

Ее осмотр рассчитан на четыре часа – во всяком случае, такова длина сопровождающей вас звуковой дорожки. И вы совершенно не устаете, хотя очень энергично трудитесь все это время, поглощая и эмоционально обрабатывая получаемую информацию. Дело в том, что на этой выставке полагается то и дело присаживаться – то на скамью под деревьями Пале-Рояля, то на бочку, то на лавочку перед киноэкраном. Но, перестав на несколько минут (а иногда и на полчаса) передвигаться в пространстве (7000 квадратных метров на 13-ти уровнях), вы ни на минуту не прерываете своего путешествия во времени. У входа (вход по билетам, и билеты недешевы, однако!) вам вручают наушники; вы их надеваете – это ваша шапка-невидимка – и с этой минуты вы катите в машине времени по длинной звуковой дорожке. Вы отделились от сегодняшнего дня, вы отброшены на триста лет назад, вы в Париже XVI века, в Париже последних Валуа, который протянулся панорамой вдоль Сены немного ниже того места, где вы стоите. И вы уже стали его невидимым обитателем; вы слышите сначала его слитный шум – шум города прежних, безмашинных времен, потом начинаете различать крики лодочников, детские возгласы, степенные голоса родителей, объясняющих своим отпрыскам, что именно они видят перед собой: слышим глашатая, возвещающего, что сегодня на Гревской площади бу-

дет по королевскому приказу казнен преступник и злодей, слышим, как судачат по этому поводу горожане... Звук настолько реален, что кажется – мы вот-вот увидим говорящих.

Голоса живые, конечно, сегодняшние, но тексты, которые они произносят (вы ведь догадались, что это актеры!), взяты из Корнеля, из Сен-Симона и даже из Савонаролы. Впрочем, эти тексты тоже живые.

Когда же тексты начинаются опять сначала – шум, лодчики, дети и проч., – вы понимаете, что наше время в XVI веке истекло, пора двигаться дальше. И вы двигаетесь, не переставая слушать и смотреть – документы на стенах, пояснения, музыка, ступеньки, новый уровень; вы успеваете прочесть, что Людовик XVI приказал обсадить Елисейские поля вязами, а также, что ось, пересекающая Париж с востока на запад, от площади Бастилии до вот этой самой Арки, особенно нагружена историей города и страны – и вот вас уже обступил XVIII век.

Вы, как когда-то Блок, слушаете нарастающие шумы революции, которые он назвал "музыкой". Кстати, так в программе и называется этот раздел выставки: "Шумы революции. От 1787 до 12 июля 1789. Пале-Рояль". Заметьте – до 12 июля. Вы слушаете эти шумы в декоре Пале-Рояля – владении Филиппа Орлеанского – на трех уровнях: на галерее, в книжной лавке, в доме, где Шодерло де Лакло (тот самый, чьи "Опасные связи" недавно обрели новую, театральную-кинематографическую славу) неторопливо беседует с друзьями о происходящем (фигуры трех собеседников сделаны из воска), и, наконец, в саду, где вы видите театр "Китайских теней", представляющий знаменитое заседание Национальной Ассамблеи, когда король приказал Генеральным Штатам разойтись и заседать по сословию, отдельно, – и слышим ответы Байи, Сийеса и Мирабо: "Национальная Ассамблея не может слушаться приказов", "Нас можно заставить уйти только силой штыков".

13 июля. Предмесье Сент-Антуан; длинная улица, в конце которой можно различить силуэт Бастилии. Обрывки песен. Не помню, тут или позже – "са ира!" женскими голосами, в невероятном темпе, и вы понимаете вдруг, что

такая песенка может звучать угрожающе.

Взятие Бастилии не показано: мы видим только канун этого дня. И слышим крики с требованием оружия.

Революции – до самого 18 брюмера, когда Бонапарт возвращается из Египта и становится консулом, – отведено еще три полных сюжета – или, точнее сказать, три части, три места, где разыгрывается сценарий. Выставка? Какая же это выставка, если тут выставлены только две статуи – мраморный Виктор Гюго Родена и еще Жорес. Картин нет вовсе, разве что несколько исторических изображений. Это спектакль, современный исторический спектакль в тринадцати частях.

Итак, взятие Бастилии – 14 июля – нам не показали. Зато мы получаем возможность невидимо посидеть в первой зале Национального собрания и послушать ораторов революции. Мы услышим тут всех, и Гору, и Жиронду, и Дантона и Робеспьера, и Марата и Колло д'Эрбуа. Все они еще живы – это только начало, гильотина начнет работать только весной 1792 года, а пока все еще имеют право голоса. Какие слова они произносят! Свобода! "Французы рождаются и остаются свободными и равными в правах!" Равенство – прежде всего, равенство. Равенство прав, равенство возможностей, равенство полов (об этом кричит Теруань де Мерикур). Веротерпимость, права нацменьшинств... Аббат Грегар, борец против рабства негров, раскрывает объятия евреям, "нашим братьям, потерпевшим столько несправедливостей". Мирабо и Талейран требуют – и добиваются – для них гражданских прав. Ораторы, правда, уже спорят, – но до обличений еще далеко. Самый популярный – Дантон, и мы не только слышим его, – мы его видим, в отрывках из фильма Анджея Вайды, в отрывках из очень старого фильма Димитрия Буховецкого (1921 год)...

Это уже другая часть, впрочем. А время движется к 93 году, и вот уже казнены почти все они, провозвестники свободы, равенства и братства, почти все окончательно уравнены гильотиной; остались только Робеспьер, Кутон, Сен-Жюст – но термидор уже не за горами. И ждет своего часа в старом фильме Абея Ганса худенький артиллерийский офицер-корсиканец, которого еще никто не называет

по имени... И уже идет война, и уже гремит "Марсельеза", совсем еще молодая.

Эти фильмы... За 18 минут мы знакомимся с "Мадам дю Барри" Любигча (1919), "Мадам Тальен" Гуадзони (1916), с Гриффитсовскими "Сиротками" (1921), которые столько лет шли на сцене МХАТа (и вдруг узнаем Лилиан Гиш)... За 18 – восемнадцать – минут, подумайте!

Но все-таки не подумайте, что это короткометражки. Это полнометражные фильмы, которые шли во всех кинотеатрах планеты под рояль, пианино или скрипочку, над которыми рыдали мы даже еще в эпоху звукового кино. Но один человек – Паскаль Кане – сделал из всего этого сначала сценарий, а затем и фильм, озвучил его и назвал "разговор с теньями". Разговор, который идет в бешеном темпе: бушующая толпа сменяется крупными планами, только что была взята Бастилия, – и уже Дантон стоит перед судом, и уже гремит выстрел, раздробивший челюсть Робеспьера... Благодаря всему этому, а также "дьявольскому монтажу Жана Равеля, – как пишет Даниэль Хейман, – мы получили восемнадцать минут современного кино".

Заметим в скобках, что Дантону даже на этой выставке повезло: о нем показано два фильма – Буховецкого и Вайды. И с какими актерами! Чем-то он мил французам – вот и памятник ему стоит у "Одеона", неподкупному Робеспьеру, небось, не поставили. Ни Кутону, ни Сен-Жюсту.

Если говорить о памятниках, больше всего когда-то поразила меня – и обрадовал – памятник в Бордо. Памятник Жирондистам. Тем самым, скомпрометированным, униженным, казненным "через одного". А родной город взялся и увековечил их память. К столетию революции. Без особого шума, так что об этом памятнике даже историки не знали.

О другом – подобном – памятнике знали в Европе и в Америке, не знали только мы, в Советском Союзе. Я говорю про тот огромный крест, который виден, когда подъезжаешь к Эскуриалу. Крест в память погибших в гражданскую войну в Испании. Общий крест – франкистам и антифранкистам, фалангистам и анархистам, – всем. Последнее примирение. Вечная память.

Площадь Конкорд – то есть площадь Согласия – когда-то называлась площадью Революции. Находится она на этой самой, перегруженной историческими воспоминаниями, оси. В декорациях этой площади мы и смотрим удивительный фильм, сотканный из материалов начала двадцатых годов.

И еще один фильм, среди прочих.

Он называется "Я не помню", режиссер и автор – Ромэн Гупиль. Но я к этому фильму еще вернусь, он как бы подводит итоги нашему, еще не закончившемуся, двадцатому веку. А сейчас – сейчас мы все еще в восемнадцатом и, прощаясь с ним, мне хочется сказать несколько слов.

Мне жаль, что "звуковая дорожка" существует только по-французски и по-английски. Мне хотелось бы, чтобы она приобрела и русское звучание. Русских сейчас в Париже много – ни для кого, ни для американцев, ни для англичан, ни даже для французов она не звучит так пронзительно, так актуально. Все это очень празднично, театрально и нарядно, и мысли высокие, и мы с детства их знаем, не только мы, а целые поколения русских и нерусских людей, от Фонвизина и Шиллера до наших не очень грамотных учителей обществоведения. Но мы ведь помним – эти слова, эти мысли, эти призывы века разума, просвещения-света были потоплены в крови, головы канули в корзину гильотины, а кровопролитие продолжалось еще много лет, на разных европейских полях сражений... Ничего этого нам не показали – финал мы все знаем, мы рассказываем его себе сами. И многочисленные группы школьников, которые тут ходят почти бесшумно, тоже знают, и в этом – истинная, извините меня, дидактика. И множество открытых вопросов, на которые нет ответа, – тоже черта нашего времени.

Конечно, этот год – юбилейный. Год двухсотлетия. И, наверное, потому тема революции оказалась центральной. Не только для восемнадцатого века, но и для девятнадцатого. На той же оси, все на той же оси оказалась революция 48 года, "мятеж Гавроша", судьба героев Гюго, словом, роман "Отверженные". И тут, признаться, меня поразило сценическое решение: квартал баррикад. Одна из тех баррикад, на которых погиб Дмитрий Рудин, – помните? Груда

камней, вывороченных из тротуара. И за углом – опять такая же груда камней, еще более внушительная. И Парижская Коммуна, конечно. Портреты коммунаров, и стена...

Мне довелось побывать во Франции в декабре 1968 года. Париж все еще жил воспоминаниями о майских событиях; еще не были стерты надписи со стен, еще кое-где мелькали самодельные афиши. Приятельница, блестя глазами, рассказывала:

– Открываю окно и слышу – молодая соседка кричит: они уже разбирают мостовую!

По-французски это гораздо короче: ils dépaient déjà!

Откуда это "déjà", это "уже"? Ведь та, что кричала, никогда этого не видела, не могла видеть.

Народная память. Кто-то сказал, что цель этой выставки – пробудить народную память. По-моему, у французов с этим все в порядке. Даже и теперь, когда весь Париж залили асфальтом, чтобы неповадно было разбирать мостовую на баррикады. Каждое поколение тинэйджеров мечтает о "своей" революции, клянется, что они-то не станут другими в тридцать лет, а потом вспоминают те времена лирически: "Это было так поэтично!"

Ромэн Гупиль, которому в 1968 году было семнадцать лет (потом он был ассистентом у Годара, у Поланского, снял собственный фильм "Умереть в тридцать лет"), получил заказ: создать "объективный" портрет парижан эпохи между 1914 и 1944 годами. Так родился фильм "Я не помню". С первого же кадра вы слышите суховатый голос режиссера: "Я помню, – говорит он, – что война началась 3 августа 1914 года. Но я не помню, что это было воскресенье". Стоп! Ведь война началась *первого* августа, – вспоминаем мы. Оказывается, обы правы: 1-го для России, 3-го для Франции.

Мы давно уже в XX веке. Смотрим у самого выхода крошечные, очень смешные фильмы. А дальше – телевизор, и на экране – самые последние новости, самые-самые последние.

Пусть они будут хорошими.

1989

ПОПУТЧИКИ

Феликсу Ингольду

В один прекрасный день – собственно говоря, день был холодный и серый, – мы сели в поезд Париж-Бордо и поехали в Пуатье.

В купе был всего один пассажир. Пассажир был средних лет и одет по возрасту. Никаких джинсов: модная тройка, белоснежная рубашка, галстук. Бордо, страна Мориака, крупная буржуазия, крупные деньги, крупные дела. Все было похоже.

Поезд тронулся, вошел еще один пассажир, тоже средних лет, тоже в тройке и при галстуке. Только первый был блондин, а второй – яркий брюнет испано-грузинского вида. Они заговорили.

У них нашлось много общего: блондин был коммерческим директором фирмы, которую брюнет хорошо знал. Мориак продолжался. Говорили о положении в металлургической промышленности, о забастовках, о патернализме. Какой-то им обоим известный Дюпон слишком надеется на патернализм, а время сейчас не то. Блондин в разговоре вел: брюнет с жаром соглашался. Между ними протягивались теплые нити взаимопонимания. Брюнет сказал, что он тоже представляет фирму и что его фирма будет сливаться с фирмой Леблана – знаете?

– Еще бы, – сказал блондин. – Кто же его не знает? Конечно, я его знаю. Он даже предлагал мне у него работать. Но я не согласился. Мне показалось, что в нем что-то есть антисемитское.

– О, мсье, что вы! Я его хорошо знаю. Нет, нет. Я женат на его сестре!

Мсье продолжал:

– Что-то антисемитское. Видите ли, я еврей, и...

– Я тоже! Но уверяю вас, что вы ошибаетесь! Я говорю вам: я женат на его сестре!

– ...и я о-чень к этому внимателен. Хорошо, конечно, если я ошибаюсь. Но, в общем, что-то показалось, и я не согласился.

– Конечно, вы сами понимаете, я бы не стал говорить, если бы не был уверен! Но тут я уверен, больше, чем уверен!

– Может быть, вы и правы. Впечатление... Я привык присматриваться. У нашей фирмы много дел в Германии. Ну, а теперь еще китайский рынок открывается...

Опять пошел Мориак. Но нет.

– А вы родились во Франции, разрешите спросить?

– Нет, я родился в Голландии. Но деды мои из Центральной Европы. Из Польши, вероятно, а может быть, это Россия. Вот эти господа говорят по-русски, и я кое-что понимал.

– Мы из Иерусалима, – говорю я. – То есть мы русские, но мы из Иерусалима. То есть мы русские евреи...

– Про вашего мужа я сразу понял, что он еврей, – говорит голландец.

– Скажите, – с жадным интересом спрашивает брюнет, – ну как там, в Израиле? Вы в самом Иерусалиме живете? В самом Иерусалиме? Я так хотел туда поехать! Я непременно туда поеду! Вот моя мать – она туда ездит! Она уже два раза там была!

– А вас легко выпустили из России? – спрашивает голландец. – Об этом много пишут. Я читал книгу этого... Владимира Буковского. Что вы о нем думаете? По-моему, очень порядочный человек.

– Да-да, я тоже читал! Это ужасно – так жить! Какое мужество! Это настоящий мужчина, конечно! Я вас понимаю, что вы уехали! Ну, и как вы теперь устроились? Вы счастливы, что уехали? Для моей матери это вопрос! Конечно, мы все очень хорошо устроены во Франции, и я, и мои братья, но она хотела бы, чтобы мы жили там! У нас там есть родственники, она к ним ездит! Как вы думаете,

договорятся Бегин с Садатом?

– Мы надеемся, что договорятся.

– Договорятся, – говорит голландец, – они оба в этом заинтересованы. В Европе этого не понимают, и в Америке тоже не понимают, но это просто ближневосточная манера вести дела.

– О да, да! Моя мать говорит, что это обыкновенный восточный базар: нельзя купить сразу, надо торговаться, отходить, кричать, возвращаться, потом опять отходить... Вероятно, она права. Мы все так хотим, чтобы у вас там наступил мир! Но, конечно, палестинцы!

– Да, палестинцы, – говорит голландец.

– А скажите, – спрашиваю я, – ваши родители живы?

– Они погибли в Освенциме. А меня взяли иезуиты. Но в двадцать два года я опять вернулся, стал евреем. Впрочем, я не сионист. Я еврей, но не сионист.

– По-моему, государство Израиль необходимо! – говорит брюнет.

– Я не против государства Израиль, я просто не сионист, не думаю, что всем евреям надо жить в Израиле.

– Разумеется, нужны и те и другие!

– А вы сефард, не так ли?

– Ну, конечно! Вы как увидели?

– Я всегда узнаю сразу.

– Скажите мне, но как это можно? Вот меня часто принимают за итальянца!..

– Я обычно сам говорю, что я еврей. Во избежание...

– А зачем? Я никогда не говорю! Если меня спрашивают – ну, тогда... А если меня спрашивают: какой вы религии? – я спрашиваю: а вы?

– Ммм...

– По-моему, это очень правильно, спрашивать: а вы? В конце концов, я так же мало обязан отвечать, как они! Франция – свободная страна!

– Свободная-то она свободная. Знаете, какой антисемитизм сейчас в Америке? Профессора-евреи – там очень много профессоров-евреев – все время посылают запросы в Европу. Хотят переезжать, потому что там им трудно. Нет, конечно, там нет такого открытого антисемитизма, но

тем не менее. Нет, я был в Америке, мне там не понравилось.

– Мне тоже не понравилось! Но американцы – деловые люди! Хотя, по-моему, лучше всего иметь дела с евреями. Вот в делах я сразу понимаю, что имею дело с евреем! Это как-то сразу ощущаешь...

– О да, в делах сразу ясно. Но я все равно евреев узнаю, не только в деловых отношениях.

– Но как? Как?

– Привычка, наметанный глаз, называйте, как хотите. Вот видите, в вас сразу узнал сефарда. Марокко?

– Ну, что вы! Алжир! Алжирская община почти целиком во Франции. Это самая культурная община, самая европейская. Да, вот меня обычно принимают за итальянца, а вы сразу... Нет, я не скрываю, что я еврей, зачем? Франция – свободная страна; здесь можно быть кем угодно! Хочешь – ходи в церковь, хочешь – в мечеть, хочешь – в синагогу! Я, например, хожу в синагогу! Мы, сефарды, вообще очень привязаны к своей религии, больше, чем ашкеназы.

– А жена у вас католичка? – спрашиваю я.

– Католичка (вздых).

– У меня тоже жена католичка, – говорит голландец. – Надо сказать, это создает много проблем.

– Массу проблем! Конечно, для моей матери это трагедия! Ведь мы, сефарды, были всегда очень привязаны к религии. А дети мои – у меня двое... И притом сыновья!

– У меня четверо. Две дочери, два сына.

– С дочерьми легче, не правда ли? Конечно, я мог бы сделать их евреями! Но ведь даже по закону они не евреи! По еврейскому закону, правда? У вас в Израиле они ведь тоже не считались бы евреями?

– Все зависит от них самих, – говорит голландец. – От их сознания.

– Но сейчас ваши дети ходят в церковь или в синагогу?

– В церковь. Я тоже ходил в церковь, до двадцати двух лет. И, как видите, остался евреем. Или, вернее, опять стал им. Никто меня не заставлял, как вы понимаете, я был христианином, и имя, и фамилия...

Совсем недавно, в Медоне, молоденькая парикмахерша-блондинка, узнав, что я из Иерусалима, говорила, делая страшные глаза:

– Для меня это не понятно! Сколько люди делали евреям зла! И эти иезуиты особенно – вы знаете, что они творили?

То ли это смутные воспоминания об Эжене Сю, то ли народная память, загадочная штука, может быть, та самая, которую позитивистская литература объявила "ложной памятью". Блондинка во Франции не такая уж редкость, но она родом из Арля или из-под Арля, в общем, откуда-то с юга, где белокурые волосы в диковинку. "Все дело в том, что наш прапрадед был из Польши, он поселился в этой деревне в 1815 году. И с тех пор все женщины в семье блондинки, а все мужчины – брюнеты..."

Видно, воевал в наполеоновской армии тот дальний поляк, побоялся возвращаться, и южная земля Прованса его приняла. Зато и он отплатил: у парикмахерши не только светлорусые волосы, но и тонкий нос, и уголки глаз приподняты с польской затейливостью.

У голландца тоже что-то польское осталось в лице от его лодзинских или виленских предков. Какая-то тонкость. Была бы даже заостренность, если бы не десятилетия обеспеченной европейской жизни. В самом деле, как он может определять еврея? Разве он сам похож на моих родственников с Днестра – высокоскулых и темноглазых?

А они перебирают:

– Энрике Масиас тоже еврей...

– Да неужели? Я не знал. Я знал, что Ги Беар...

– Ну, этот – всем известно. Он ходит в синагогу.

Похоже на наши разговоры в России. На те разговоры, о которых вздыхает иерусалимский знакомый, москвич:

– Мы говорили совершенно свободно! На нашей кухне мы говорили совершенно свободно! Нет, конечно, не с кем уютно, но со своими. И, может быть, в этом и было самое главное, самая прелесть этих разговоров.

В подразумевании, в тайной общности, в риске была маленькая привилегия, о которой тоскует наш знакомый.

У Окуджавы хорошо о привилегиях:

Здесь остановки нет, а мне – пожалуйста!

Шофер автобуса – мой лучший друг.

Ученый с мировым именем объяснял, почему его не любит директор института:

– Вот, например, идем мы с ним в пивную. Гармонист непременно ко мне подсядет и будет играть все, что я попрошу. А к нему – никогда. Ну, как ты думаешь, может он это простить? Да ни в жисть!

Тоже привилегия.

Есть в ностальгии тоска по привилегиям, есть! И в том числе по невозвратимой привилегии – молодости. Сколько бы ни было тебе лет там, ты был моложе. И по исключительности положения, потому что на какое-то время мы, каждый из нас, приобрели исключительность не только в собственных глазах.

В одном из немецких университетов мы встретили поволжского немца, бывшего спецпереселенца. Он был рослый, рыжевато-белокурый, с голубыми глазами.

– Похож на русского, правда? – спросил профессор Л.

– Он? Для нас он типичный немец.

– Разве? А на наш взгляд, это русский.

Профессор задумался и добавил:

– Глаза другие. Или точнее, из глаз другое.

Переселенец тосковал. Все, все было ему тут чужое – и больше всего язык. Он не хотел учить немецкий – он никогда не сможет выразить на нем все то, что выражал на русском: свою тоску по Германии, по земле отцов, прадедов, когда-то легкомысленно покинувших ее по призыву матушки-Екатерины; свое понимание прав человека и немца; свое негодование, свое возмущение несправедливостью; все то, что много лет составляло содержание его жизни.

И вот – кончилось это содержание, а другое не пришло. Все достигнуто – и наступила пустота.

– Мы здесь совершенно одиноки, – говорил он нам. – Не с кем слова сказать.

А о чем говорить? О том, как он боролся за свой отъезд?

– Как вас отпустили? – спрашивает сефард. – Это было очень трудно?

– Нет, у нас фактически никаких трудностей не было. В нашем возрасте...

– Ах, ну да, ну да!

Щекотливая тема – возраст.

– Вы довольны? – спрашивает голландец. – Я понимаю, что вы оставили там друзей, связи, но как вы считаете... То есть вам нравится в Израиле?

– О да!

Они смотрят пытливо, оба. Они хотят понять. Как им объяснить? Другим я рассказываю про холмы, про нестерпимый свет, про некий оптический феномен. Когда смотришь на эти холмы, то все приближается, – в пространстве, во времени, в реальности. Иисус Назорей и Те, Кого принимал у себя Авраам, здесь ничуть не менее реальны, чем, скажем, Ричард Львиное сердце. Каждый должен побывать здесь, хоть раз. Потому что здесь – Начало.

Но однажды мне возразили:

– Почему – здесь? А Индия? А Китай?

По этому поводу Гегель когда-то все объяснил – насчет мирового духа. Мы приняли его объяснение и с тех пор не проверяли. Может, пора уже проверить? Китайцы выдумали порох задолго до Бертольда Шварца, но употребляли его на пиротехнику. Они тогда не стремились еще к самоуничтожению – мировой гегелевский дух их осенил. А индийский покой, нирвана, согласие с природой? Это тоже не бег к самоуничтожению. Дремлющий в покое дух.

Но только все это похоже на тургеневский сон: человек сел на землю, чтобы не попасть в яму, и тогда яма стала двигаться к нему. Не избежать, не уйти.

Жалко только деточек, мальчиков да девочек, солнышка на небе, да любви на земле.

Человек, который возразил мне про Индию, – мусульманин. Мусульманин по выбору. По рождению он русский, сын эмигрантов второй волны; вырос в Америке. В юности, когда другие играют в регби, он искал Бога; попал в Марокко переводчиком, услышал призывы муэдзина и пошел в мечеть.

– Может быть, – говорил он, – если бы меня позвали евреи...

Лицо у него русское, акцент польский, манеры американские, деньги швейцарские – он там работает.

– А вам нравится в Израиле? – спрашивал он.

– О да!

– Почему?

– Мы там дома.

И голландцу я отвечаю:

– Мы там дома.

– Я *там* был дома, – кричал наш иерусалимский знакомый. – *Там*, на Третьей Мещанской! Я рвался сюда, я был сионистом! А теперь понял – я русский.

– А в России вас считали русским?

* * *

А за окном хорошая погода. Солнце. Мы перегнали снег. Он отстал, он задержался в Париже – просто прилег отдохнуть в сквериках, садиках, у подножий бесчисленных статуй. Набушевался в новогоднюю ночь, разыграл свой собственный бал, показал парижанам, кто хозяин, вывел из строя автомобили, заставил женщин подметать вечерними юбками эскалаторы метро. Сейчас он там лежит, смирный, и даже под ногами не похрустывает. Мы от него уехали. А в Иерусалиме бывшие ленинградцы будут жадно спрашивать: там снег? Снег?

Соль-до, ля-ре, ленинградская песня про снег...

– Мы там дома.

– Я это понимаю! – с жаром говорит сефард. – Моя мать тоже говорит, что нигде не чувствует себя так, как в Израиле.

– А я там никогда не был.

– И я еще не был. Но поеду обязательно! Обязательно! Киббуцы! Вы бывали в киббуцах? Ну, конечно. А скажите, трудно вам было решиться – вот так, оставить все? Ну, конечно, что это я спрашиваю! Но вы не жалеете? Вы сошлись с сабрами? У вас есть друзья среди них? Или вы живете своей, русской общиной?

В Америке, в Беркли, москвичка сказала:

– Я здесь уже пять лет. Но телефон мой звонит только

по-русски. Хорошо это или плохо – но мы не стали американцами.

Стали ли мы израильянами? Наш телефон тоже звонит по-русски. Иврит мой годится только для базара – и то не всегда. Из газет мы читаем "Джерузалем пост". По телевидению смотрим "Французский час" и английские детективы. И до сих пор в магазине, когда предстоит серьезная покупка, я спрашиваю продавца: ата медабер рак иврит (вы говорите только на иврите)?

Откуда же это чувство принадлежности, общности, кровности?

Я не зажигаю свечей – не хожу в синагогу – не знаю молитв – негодую на отсутствие транспорта по субботам...

Откуда же это странное живое чувство к холмам, к земле?

Я не думаю, что все должны сидеть дома, и евреи должны жить только в Израиле. Подозреваю, что есть у них и другое назначение. Вероятно, прав был Бердяев, когда говорил, что они – дрожжи в любом обществе. Может ли существовать общество без дрожжей? И к чему дрожжи без общества?

Когда я вижу на улицах июльского Иерусалима маленьких девочек в толстых чулках и зашнурованных ботинках (Господи, где же это они достают такие ботинки?), – я их жалею и возмущаюсь нелепостью их вида. Потом я смотрю в лицо человеку в шляпе, который ведет девочек за руки. Я вижу лицо своего деда, своего отца, своего дяди, своего одноклассника в советской одесской школе. Я встречаюсь с ним глазами, и то, что идет из глаз, – знакомо, узнаваемо, передает, сообщает какой-то знакомый код. И я думаю, что без них мы не были бы собой.

Кто-то сказал: это наше мясо. Не мясо – хребет. Не дрожжи, а заостенелость. Не будет этого хребта, не будет оостенелого позвоночника – все размякнет, расплывется, растворится в национальном перегное.

А так – может, одна из этих девочек в ботинках родит человека, который забродит и пойдет бродить по миру, оставляя на пути свои дрожжевые грибки, свой заквас. И будет вино для всех. Или пена.

– Ну, конечно, у нас есть друзья-сабры. И родственники, которые живут здесь с одиннадцатого года. Их дети родились здесь – настоящие сабры. И зовут их по-здешнему. Например, моего двоюродного брата зовут Узи.

– А на ком женат ваш брат? Тоже на русской?

– Нет, его жена из Германии.

– Ну да, это все Восточная Европа.

– Ашкенази, – говорит голландец и улыбается. Улыбка у него тонкая, понимающая, невеселая.

– А скажите, правда... Мне это очень странно, но говорят, что так и есть. Скажите, правда, что у вас сефарды – *сефарды* – считаются, ну как бы людьми второго сорта? Это просто невероятно!

– Мама, почему я ашкеназия? – спрашивала восьмилетняя девочка. – Я не хочу быть ашкеназия. Я хочу быть сфарадия!

– Почему? Что плохого, если ты ашкеназия?

– Хм! Все говорят, что ашкеназим – грязные.

– А ты разве грязная?

– Да нет, это просто так говорится. Мерав мне сказала: неужели ты ашкеназия? (Мать Мерав из Йемена, отец из Ирака). Я не хочу быть ашкеназия. Нельзя что-нибудь сделать?

– Можно. Найти себе других родителей.

Разговор в России. "Мама, разве я еврейка? И ты еврейка? И папа? Как же так? Я не хочу быть еврейка. Я хочу – как все!"

Рассказываю это сефарду. Он смеется, показывая белоснежные зубы.

– Нет, а если всерьез?

– Президент у нас сефард.

– Ну да, Навон, это известно. Но другие?

Как известно, йемениты прибыли в Израиль тридцать лет назад прямо из средневековья. Они знали только то, что знали во времена царя Соломона, когда он послал их туда, где теперь Йемен. Свое ремесло и Тору. Неграмотных мужчин среди них не было.

Кстати, о грамотности. Один университетский профессор в Ленинграде говорил: это все-таки поразительно! Все

они – все! – были поголовно грамотными еще три тысячи лет назад! Нет, как хотите, правильно, что для них существуют ограничения в приеме. Представляете, какое у них преимущество? Три тысячи лет сплошной грамотности! Нет, я согласен: нельзя их пускать без ограничения.

Он, конечно, шутил.

Так вот, йемениты. Тридцать лет назад прибыли они сюда из времен царя Соломона "на птице" – так они называли самолет, который их ничуть не удивил: им так и было обещано, что они вернутся на птице. Теперь они – лучшие врачи, офицеры, учителя. Кажется, даже инженеры. А уж их иврит! Самый чистый, самый образцовый, неподражаемый, некартавый...

– Да, йемениты, я слышал... А те, что из Марокко?

– По-разному. Кажется, самый культурный слой перекочевал во Францию?

– В общем, да. Почти все наши родственники – у нас там тоже были родственники. И все-таки, все-таки... Значит, и у вас неравенство!

– Как в любой семье, – говорит голландец. – У меня четверо, и все разные.

– Ну, это совсем другое! Это просто несходство! Нет, говорят, раньше было по-другому. Нам рассказывали, как раньше это было... Ни воровства, ни хулиганства, двери не закрывались нигде...

В ленинградской пересыльной тюрьме в 1949 году польская еврейка рассказывала про Израиль:

– Вы думаете, это такие же люди? Маленькие, очкастые, заросшие? Вы знаете, какая там молодежь? Это полубоги! Рослые, сильные, прямые! И знаете, что удивительно? Они блондины!

– Ну да?

– Вот именно. Это самое удивительное. Все поголовно – блондины!

– Что ж тут удивляться. Время проходит. Люди есть люди.

– Да, конечно, люди есть люди!

– Всем хочется жить лучше.

– Ну, понятное дело!

– Но от евреев требуют еще чего-то. Чего-то другого.

– Чтобы они были какие-то полубоги!

(И блондины!)

Поезд делает поворот, солнце ударяет в стекло, в смуглое веселое лицо сефарда; он отклоняет голову назад, и его правильные черты успокаиваются: губы смыкаются, брови перестают играть. Лицо подсыхает, и в нем проступает скорбь. Такие лица я видела в огромной толпе перед Харьковским эвакопунктом в августе сорок первого года.

– Вы хотите знать, чего они требуют от евреев? – говорит голландец. – Да очень простой вещи: чтобы они перестали существовать.

– Нет, нет, не могу с вами согласиться! Не все! Нет-нет!

Голландец поворачивается ко мне: его лицо выражает приветливый интерес:

– По-моему, в Израиле думают так, как я.

– Послушайте, я вам расскажу про себя! Когда мы приехали во Францию, первый человек, который нам помог, был не наш родственник! И даже не еврей! Это была французенка, настоящая французенка, графиня...

– Графиня?

– Да-да, графиня, настоящая графиня, не только по мужу! Ее фамилия – вы ее в любой истории Франции найдете! Да, французская графиня. И она нам помогала!

– Из марранов?

За несколько месяцев перед тем знакомый испанец, довольно левый, на приглашение приехать посмотреть Иерусалим ответил:

– Пока не будет заключен мир – не приеду. Пока евреи не проявят соображения и воображения.

– Последние две тысячи лет они только это и делают.

– Я не про две тысячи, а про два пятнадцатилетия. Ты бывала в лагерях беженцев?

– Видела Газу.

– Ну?

– Ты знаешь, он очень любит арабов, – вступила его жена, учуяв, что возникло какое-то напряжение. – Он даже

выучил арабский язык, он говорит по-арабски. Он бывал в лагерях, он принимает к сердцу их дело...

– Левым сейчас хорошо. Наконец-то они откровенно стали на сторону богатых против бедных.

Он онемел.

– Если бы я не была еврейкой, – говорит жена, – то, кто знает... он бы совсем стал антисемитом!

– Ну, уж в антисемитизме меня не упрекнешь. Я читаю курс об арабо-еврейских влияниях на испанскую культуру. Как раз я именно сейчас, именно сейчас этим занимаюсь...

– Ну, и как – большой вклад?

– Немалый. Сервантес, например, был "новый христианин", это уже, я считаю, установлено. Знаешь, кто такие "новые христиане"? Те, что крестились в четырнадцатом-пятнадцатом веке. Евреи и мусульмане. И женились они на своих, на таких же. Жена Сервантеса была родня Рохасам. Знаешь, кто такой Рохас? Автор "Селестины"?

– Марран?

– Не марран, а "новый христианин". Из этих, "острых и беспокойных". Да, да, именно так их называли, такие были тогда синонимы. (Сейчас в России говорят "шустрые".) У старых христиан были обратные свойства: спокойствие, степенство и неторопливость.

(Насчет степенства мы тоже кое-что можем вспомнить из русской истории.)

– У Лопе де Вега (у вас в России его очень поднимают, Лопе де Вега, а ведь в "Фуэнте Овехуна" все дело в том, что у крестьян кровь чистая, а сеньоры роднились с неверными, потому-то они и плохие) есть такой диалог: "Ты еврей? – Нет, сеньор. – По остроте ты похож на еврея".

Да ну, эту самую "остроту" найдешь в протоколах Святой инквизиции, сколько хочешь. У Рохаса отец был, по всей вероятности, сожжен инквизицией. Да, Рохас был "острый". Как и Гонгора.

– Гонгора?..

– А как же? Кеведо писал: я свои стихи натру шпиком, чтобы ты, Гонгорилья, их не попробовал!

Они были соперники, Кеведо и Гонгора. Такой юмор: натереть стихи шпиком.

У Сервантеса чувство юмора было другое.

В московской школе в пятьдесят третьем году учительница сказала:

– Чему вы улыбаетесь, Визен? Ирония – не русская черта.

Визен, правда, был немец, но учительницу ввела в заблуждение фамилия, какая-то нерусская.

Сефард недоволен.

– Ну, это вы шутите! Графиня не из марранов! Ведь марранов во Франции нет, это – испанские дела! Там, говорят, даже теперь есть евреи, которые соблюдают все обряды, но – тайно! Тайно!

– Там теперь синагогу открыли в Мадриде, даже королева присутствовала на открытии.

– Ну, это для тех, кто там появился во время войны! Франко ведь евреев пускал! Открыл им границу, а потом и вообще пригласил – чтобы развивали экономику и торговлю!

– И они поехали.

– Да, поехали! Говорят, сефарды там сразу получают гражданство.

– Я тебе скажу большой секрет, – сказал Исааку Цукернику испанский солдат.

Дело происходило в 1938 году, во время гражданской войны. Цукерник, студент-лингвист Ленинградского университета, тот самый, который впоследствии напечатал статью о Христофоре Колумбе, вызвавшую некоторый шум, был в Испании военным переводчиком.

– Ну?

– Я видел еврея.

– Ну?

– Ты что, не понимаешь? *Я видел еврея!*

– Где? – спросил Исаак, смекнувший, наконец, что Испания – не коридор филфака.

– В деревне около Лериды.

– А как ты узнал, что он еврей?

– Я догадался.

– Как?

– Ну, догадался. Ты бы тоже догадался. Понимаешь, он... он молился. Я так думаю, что молился. Он меня не заметил, я видел его в окно. Он по книге молился, но не по такому молитвеннику, как у всех. Я неграмотный, но все же знаю, в той книге были совсем другие буквы.

– И что же ты сделал?

– А ничего. Все равно в той деревне уже ни церкви не было, ни падре – кому скажешь?

– А надо было сказать?

– Ну, все-таки... А с виду никогда не подумаешь. Такой, как все.

– Я видел евреев, – рассказывал через сорок лет бывший комиссар республиканской дивизии, в 1939 году эмигрировавший в СССР. – В Болгарии я видел евреев. Из Толедо.

– Давно из Толедо?

– Ты смеешься? Это те, которых выгнали из Испании... когда это было? Ну, в тот год, когда Колумб открыл Америку. Понимаешь, они говорят по-испански, до сих пор. Такой испанский язык, как в "Дон-Кихоте", красивый. Но даже не в этом дело. У них ключ от их дома в Толедо. Представляешь? Сколько лет они сохраняют его. Огромный такой ключ! Я знаю Толедо, там есть Пласа Худиа – Еврейская площадь. Наверное, там они и жили. И они думают, что вернутся. Очень приятные люди, совершенно похожи на испанцев.

– И ведь не скажешь, что у евреев короткая память, – говорит голландец. – У них очень хорошая память. Но как они могли вернуться в Испанию? После всего?

– Америкго Кастро пишет, что "золотой век" Испании – XVI век – был веком противостояния двух каст – "старых" и "новых" христиан. Он подчеркивает, не *рас*, а *каст*: для него и те и другие – испанцы. "Израильтянам не хочется признавать того, что испанские евреи были прежде всего испанцами, и что Испания была для них вторым Израилем. Испанцы же, со своей стороны, хотели бы освободить свою страну от всякого еврейства, не понимая, что так они лишают Испанию самого ее нутра – ее междукастовых связей, того самого, что сделало из испанской цивилизации нечто единственное, не имеющее параллелей в Европе... Могла

ли бы произойти в другой культуре титаническая встреча романа Сервантеса и драматургии Лопе де Веги?.. Эти две, с виду такие разные Испании, в действительности были тенью и отражением одна другой и стимулировали друг друга. Ибо так называемые новые христиане наложили на Испанию свой неизгладимый отпечаток. ...Создали новую литературу, непохожую на общепризнанную; замалчивание этого феномена исказило образ и идею "золотого века" испанской литературы".

Все это напечатано в Мадриде, не сегодня, а в конце 1957 года. Через триста сорок лет после смерти Сервантеса, через четыре года после смерти Сталина. В Москве, в Ленинграде уже начинали забывать кампанию против безродных космополитов, скрывшихся под русскими псевдонимами. Начались реабилитации, и погибших реабилитировали посмертно...

Правда, слово "еврей" было как-то не в чести. На дворе бушевала оттепель. Еще партийцы, сделавшие карьеру, говорили партийцам, вернувшимся из лагерей: да, прошли страшные времена! Еще пели лагерные песни на вечеринках – и уже писали о лагерях, с робкой надеждой: а вдруг напечатают? Еще профессора говорили своим вернувшимся из Воркуты аспирантам: вы, небось, думаете, что самое страшное было там? Не-ет, самое страшное было здесь! И аспиранты соглашались – они понимали.

Взаимопонимание воцарилось вокруг. Свидетели обвинения протягивали руку тем, против кого они свидетельствовали, – и те принимали. "Простите их, – говорили вернувшимся. – Простите их, по-христиански". Те соглашались, потому что понимали. Все все понимали. А уж евреи-то понимали лучше всех. И прощали, по-христиански. Раз уж наступило такое взаимопонимание, то, стало быть, все равны, и несть ни эллина, ни иудея. Прошли, прошли, прошли страшные времена. А если кто из новых друзей и не любит евреев – то это его дело. Почему он должен их непременно любить? *Ergo* можно понять.

Растворялись, сливались, готовились служить верно и нелицеприятно – при чем тут еврейство, мы воспитаны на Пушкине, мы прошли такие годы вместе, мы вместе дро-

жали в наших коммунальных квартирах, мы вместе валили лес в тайге, мы вместе...

Дорогой профессор Коган,
Знаменитый врач,
Ты обижен, ты растроган,
Но теперь не плачь.
Потрепали ваши нервы,
Доктора наук,
Из-за суки, из-за стервы
Лидки Тимашук.

В конце концов, может, даже она, Тимашук, не так уж виновата? Тимашук-Чеберяк, Чеберяшечка... Все он, все Сталин, параноик, культ личности!

Как мы любим понимать! Понимаем Гоголя (как Ян-кель понимал Тараса Бульбу), понимаем Тургенева, понимаем Чехова. Понимаем Булгакова, понимаем Хемингуэя ("ах, Брет! ах, тореадоры!"), который на заре тридцатых годов вошел в славу, объяснив восхищенному читателю, что не любит он еврея Кона просто потому, что он такой, – не любит, и баста!

А в пятидесятые годы – о, какой это был разгул понимания. Теперь, когда они сами сказали, что больше это повториться не может! Теперь, когда все началось-то с дела врачей – весь откат! Теперь, когда Никита во всеуслышание произнес...

Нас ведь позвали, позвали обратно! В университеты, в научно-исследовательские институты, в литературу! И мы пошли, не помня зла, воздавать за благо, не пошли – кинулись, и не только за твердой зарплатой, но и потому, что можно стало – отдавать! Мы как все!

С Венгрии пошел раскол. "Эдак все полетит!" – говорили они. – "Вот и хорошо. Зачем нам колониальная империя!" – "Но ведь страшно!" – "Не страшно – хорошо!" – "Вы что – нельзя раскачивать! Для интеллигенции это самое опасное! Нельзя подрубать сук, на котором сидишь!"

Танки решили споры. Югославы продали Имре Надя. (О Югославии тоже спорили: надо ли Хрущеву им кланяться? "Может, и надо было, но не так низко!" Другие рас-

сказывали, захлебываясь, про югославский социализм: совершенно не такой, рабочие участвуют в прибылях, и нет колхозов; "с человеческим лицом" еще тогда не говорили.) "Это ужасно, но иначе нельзя", – говорили защитники империи. Другие замолчали, перестали читать газеты, выключали радио сразу после утренней зарядки.

И тут грянул Суэц. Английская империя тоже не хотела распадаться до конца; французы с ней столкнулись. Но все громы метались против израильских агрессоров. Они – агрессоры – решили захватить канал. Бен-Гурион объяснял, что арабы нападают на еврейских земледельцев: в "Известиях" напечатали "землевладельцев". В тех же "Известиях" напечатали списки добровольцев, которые хоть сейчас готовы были дать уму агрессору, и в первом же списке была фамилия Жидоморов.

Нет-нет, это Израиль, мы не они, они не мы... Это совсем другие люди (блондины и полубоги?), это те наши родственники, которые уехали когда-то, о которых мы не пишем ни в каких анкетах, потому что – какие же это родственники, ведь не прямые. О нет, о нет, это совсем другие люди, все говорят, что другие, вон даже та женщина в пересыльной тюрьме. Что мы знаем про ту землю? Только то, что там посадили эвкалипты – шесть миллионов деревьев.

Земля моих отцов, земля чужая,
Сожженная неумолимым солнцем,
Иссохшая и красная земля!
У моря там сажают эвкалипты,
И каждый саженец напомнить должен
О тех, чьи имена нам неизвестны,
Но чья известна страшная судьба...

Так ли? Неизвестны? А моя бабушка, что оставалась в Харькове?

Спасались юмором. Кто-то сложил песню (не Алешковский ли?):

На Синайском том полуострове,
Где лежит государство Израиль,

Положение очень острое,
Потому что воинственный край...

И дальше – про любовь:

А она была египтяночка,
А он был израильский солдат.

Песня заканчивалась мажорно:

Мы хотим любить египтяночек,
А агрессии мы не хотим!

Нет, мы все еще хотели быть как все. Только этого, про израильского агрессора, мы не хотели понимать.

– Знаете, – говорит сефард, – я тоже много ездил. По делам мне приходилось бывать даже в скандинавских странах. И скажу вам правду: нигде бы я не хотел жить, кроме Франции.

– Да, во Франции евреям хорошо. Может быть, слишком хорошо. Так не может продолжаться.

– Ну, что вы! Евреи столько сделали для Франции!

– Евреи и арабы создали Испанию – и чем это кончилось?

– Ну разве можно сравнивать! Когда-а это было!

– Вы думаете, для Германии они мало сделали? Или для Польши? Для России?

* * *

Я плохо помню тот барак, хотя и прожила в нем около года. Где была печка, около которой мы в ту ночь сидели с Таней? Мы разговаривали очень тихо, чтобы не мешать другим, – но все-таки мы не шептались, мы разговаривали, значит, печка была как-то удалена... Не могу вспомнить!

Мы разговаривали в первый и в последний раз в жизни и так и понимали этот разговор. На утро был назначен этап; обычно это делалось совсекретно, но почему-то на этот раз было допущено исключение. Как учили нас старые лагерники: не ищите логики. В этап была назначена и Таня: у нее был "срок" двадцать пять лет. В этом не было бы ничего примечательного – у нас двадцатипятилетников

была целая бригада, – но Таня получила свой срок не в сорок девятом, когда все, а гораздо раньше – чуть ли не в сорок пятом, когда давали десятку или расстрел. Родом она была из города Сальска. В лагере считалась монашкой. Монашки не работали по воскресеньям (за это считались отказчицами и сидели в карцере), молились (отдельно от них – и обязательно на коленях – молились еще "почекайки", западные украинки), занимались рукоделием, читали украдкой Евангелие (как-то оно приплывало в зону, сквозь запреты и запретки), не зубоскалили, соблюдали посты (!), носили длинные юбки, платочки, не смешивались с остальными.

А Таня и вовсе ни с кем не смешивалась; ее нельзя было не заметить. В толпе она выделялась ростом – ну, ладно, рост, это понятно. Но вот мы все сидим на земле за зоной, ждем, когда придет за нами машина везти на дальнее поле, – и опять я смотрю на Таню: сидит, длинные ноги подогнула, натянула на них юбку, склонила голову к плечу, руки на коленях сложены, глаза опущены. Или сидит у себя на верхних нарах, ковыряет что-то иголкой, лица почти не видно, ситцевый платочек под подбородком подвязан... Или чешет гребнем волосы...

Художница, которая ее украдкой рисовала, объяснила, в чем дело:

– В ней есть покой.

Потом сказала:

– Знаете, когда она приехала, не такая была. Мазала губы, ходила в короткой юбке, кокетничала... Это потом она стала монашкой. Уверовала, должно быть.

Даже в ту ночь перед этапом она не казалась удрученной, или суетливой, или хоть озабоченной.

Я ей сказала, что всегда на нее смотрю и удивляюсь, откуда в ней этот покой. Она ответила:

– Я тоже на вас смотрю иногда. И думаю: а когда же она бывает спокойна, эта женщина? Хоть во сне она успокаивается ли?

В ту ночь она рассказала мне свое "дело". В лагере о "делах" говорят не часто: выговорились в общих камерах, на пересылках.

Она работала в газете в этом своем Сальске. И был там журналист, еврей, по фамилии, кажется, Зальцман. Таня не была журналисткой – "далеко мне было до этого", – просто перепечатывала приказы, статьи. Зальцман этот только ей свои статьи давал печатать: "Он вообще ко мне хорошо относился. Добрый такой, скромный был человек, семья у него была, жена, девочка". Так все и шло до войны.

Осенью сорок второго в Сальск вошли немцы. "И вот накануне того дня, как немцам войти, этот Зальцман ко мне пришел. Он редко ко мне приходил, я ему всегда прямо там, на работе печатала; у меня дома и машинки не было. Я ведь до газеты учительницей была, потом пошла на курсы машинописи.

Он был такой растерянный, Зальцман. Говорил, что не знает, как ему быть, уезжать, не уезжать. Жену и дочь он раньше отправил, а сам не то не успел уехать, не то сомневался. Потом сказал мне, что, наверное, все-таки уедет сегодня вечером: какая-то машина должна прийти...

Но вот что я вам говорю – правда: не просил он меня его спрятать, да и в голову мне такое прийти не могло. Я помню только растерянность его... Больше я его не видела.

При немцах я статью написала, в газете нашей напечатали. Про то, как все у нас было. Тогда многие писали.

А потом, когда опять наши в Сальск вошли, меня посадили. За статью. Хотя и не своей фамилией подписалась, но готова была, что они узнают. У них ведь своя агентура оставалась. Свои люди.

Следователь когда меня спросил про статью, я даже отказываться не стала, потому что была готова.

Почему я не ушла? Как раньше с нашими не ушла, так потом и с немцами: мать у меня была больная, куда же я от нее пойду?

Следователь мой был еврей. Он на меня все смотрел, с такой, знаете, ненавистью... Ну, я его понимала: конечно, мы тогда еще не знали всего, что немцы с евреями делали, но и того, что знали, хватало. Конечно, его можно было понять. И вдруг он говорит:

– Расскажите-ка лучше, как вы Зальцмана немцам выдали!

А я даже сначала не поняла, про что он говорит:

– Какого Залыцмана? – спрашиваю.

А он тут стукнул по столу и:

– Не притворяйтесь!

Ну вот. Я говорила ему все, что вам. Рассказала, как Залыцман пришел ко мне, не скрyla. Но он откуда-то и свидетелей раздобыл. Дали мне сначала расстрел. Я в камере смертников сидела. Потом заменили двадцатью пятью годами.

Вот такое мое дело. Никогда я этого Залыцмана не выдавала. Статью писала, это правда, я и не скрывала. Но Залыцмана я больше не видала никогда. И что его немцы убили – только от этого самого следователя и слышала.

Я никогда против евреев ничего не имела. Но вот скажите мне: почему у них такая судьба? Я ведь немного историю знаю. Как их гоняли из страны в страну. Из Испании как их гнали. Почему это так, есть у вас объяснение? Вот они и делают много хорошего – врачей сколько евреев, профессоров... И в Испании так было. Не все же они были банкиры, тогда тоже были еврей-врачи и ремесленники всякие, говорят, даже писатели.

Но вот – изгнали их. Вы знаете, вы читали, извините, конечно, но так называется, "Вечный Жид"? Как вы это понимаете?

Я не помню, что отвечала – ведь своих слов никогда не помнишь. Но рассказ ее, но вопросы запомнила крепко – и не раз отвечала ей потом, мысленно.

Кстати, на этот этап она не попала. Почему – неизвестно. Опять-таки – не ищите логики. Вместо нее уехала девочка-корейка, которая имела десятилетний срок за участие в антисоветской организации "Союз Друзей Свободы".

По-прежнему мы жили в одном бараке, по-прежнему я видела, как она читает, как ходит босиком. Но больше мы никогда не разговаривали.

После смерти Сталина начались внезапные освобождения. Я оказалась пятая по счету – это было в июле пятидесят четвертого. А еще через год вернулась в Ленинград та самая художница, которая объясняла мне про "покой".

– Помните Таню? Вы бы ее сейчас не узнали. Она свя-

залась с сектантами, все волнуется, спорит, даже ходит по-другому, как-то лбом вперед...

Но такой я ее уже не видела.

Правда ли то, что она рассказала мне про Залыцмана, или окаменевшая легенда, рассказанная следователю, в которую она, в конце концов, поверила сама? Не знаю. Теперь не знаю, а тогда мне хотелось понимать и верить. Ведь у нас была одна судьба.

— Как вообще живется евреям в России? — спрашивает сефард. — Ужасно, да? Дело Щаранского — это... это...

— А как вам жилось? — спрашивает голландец. — Вы, вероятно, были хорошо устроены?

— Пожалуй — да.

— Но все-таки уехали.

— Да, все-таки уехали.

В глазах его — понимание. В глазах сефарда — вопрос: почему?

("Вечный Жид", извините, — говорила Таня. — Как вы это понимаете?")

— И квартира у вас была? — спрашивает Малка, которая родилась в Ираке. — И телевизия? И все-таки уехали?

Последние слова Пушкина были:

— Кончена жизнь. Тяжело дышать, давит...

Мы все знали это чувство, потому что наша жизнь в России кончалась.

Внезапно наступившее удушье почувствовали многие, среди них прекрасно устроенные. О нем то и дело говорят в интервью для радио и газет новые эмигранты и репатрианты.

Вероятно, в этом чувстве сказала та самая пресловутая народная память.

Не это ли чувство испытывали наши пращуры в Испании пятнадцатого века, когда все заколебалось, и реальность перестала быть реальностью; и те, в Египте, у которых горшки с мясом так и остались томиться на огне. Пришло время, пора! Одних выгнали, другие ушли сами, одни были рабами, другие — банкирами. Ни те, ни другие не хотели уходить, но — ушли. Не могли не уйти.

Потому что историческая роль была сыграна. Мавр сделал свое дело. Мы говорим: ради детей! Значит, чувствуем сами, не говоря словами или называя это по-другому, что – пора, дело сделано, роль сыграна. Мы говорим самодовольно: Египту мы дали Иосифа, Польше Мицкевича, Испании... ну, скажем, литературу "новых христиан".

Только надо помнить, что не было бы Иосифа без Египта, и Мицкевича без Польши, и Дон-Кихота без Испании.

Потому что сами по себе дрожжи теста не дадут.

Поклонимся России за двухсотлетний приют. Она дала нам лучшее, что у нее было: русский язык. И мы расплатились с ней, как могли. Мы дали ей своих "острых и беспокойных" бунтовщиков, угрюмых фанатиков и веселых праведников – от Троцкого до Фриды Вигдоровой. Больше перечислять нечего, все заключено между этими крайностями. И все, нам пора, не стоит нас удерживать, нам пора, пора, пора...

Как твердили (или, может быть, пели) те, кого еще удерживали в Испании:

Да смягчит [Господь] сердце фараона Испанского,
Вопреки ему, путь нам проложит средь моря...

В Киеве, в Лавре, старуха-богомолка сказала задумчиво:

– А скоро и конец света.

– Почему, бабушка?

– А как же? Евреи-то все в Иерусалиме собираются!

Ну, положим, не все. Немало их еще несут молодым нациям свой старый, свой вечный заквас.

Пригодится ли он здесь, дома?

Вот мы и подъезжаем. Следующая остановка – Пуатье. Жан обещал нас встретить. Надо же – Пуатье! Никогда не думала, что увижу Пуатье.

– Осматривать замки Луары? – улыбается голландец.

– Да, и Пуатье, и, может быть, даже Ла Рошель.

– Прекрасно. Было очень приятно.

– Очень приятно. До свидания. До свидания.

Поезд останавливается. Он стоит тут недолго. Нам пора.

Февраль 1979